

13-14-15

СОЧИНЕНІЯ
Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

ТОМЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ.

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ, ПОСМЕРТНОЕ,
ИЗЪ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХЪ ТОМАХЪ,
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА.

Приложеніе къ журналу „Лива“ на 1901 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1901.
<http://rcin.org.pl>

СОПНЕНІЯ

Т. П. ДАНИЛЕНКО



Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

ЧЕРНЫЙ ГОДЪ.

(ПУГАЧЕВЩИНА.)

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

РАЗОРЁННЫЙ УЛЕЙ.

— «Преданья русскаго семейства,
Да правы нашей старины...»

Пушкинъ.

— «Черный годъ,—что туча,—не
ждешь, набъжить!..»

Народная поговорка.

ОТЪ АВТОРА.

Нѣсколько лѣтъ назадъ я случайно узналъ, что въ одномъ старомъ домѣ въ Москвѣ, въ переулкѣ, у Чистыхъ-прудовъ, хранится много любопытныхъ бумагъ о двѣнадцатомъ годѣ.

При помощи мѣстныхъ рекомендацій, мнѣ удалось, проѣздомъ черезъ Москву, побывать у владѣлицы названнаго дома, вдовы сенатскаго секретаря NN. Деревянный, въ два этажа, обшитый потемнѣлымъ тесомъ, съ покосившимися окнами и фронтонами, этотъ домъ былъ огороженъ съ переулка высокимъ заборомъ и окруженъ обширнымъ, стариннымъ садомъ. Деревянные, желтые львы, съ открытыми пастями, стояли на его запертыхъ воротахъ. Пройдя въ калитку, я былъ введенъ въ стеклянныя сѣни, оттуда въ большую, съ зеркалами, въ бронзовыхъ рамахъ и съ семейными портретами, залу и, черезъ коридоръ, загроможденный шкалами, перинами и другою рухлядью, въ отдаленную комнату хозяйки. Я увидѣлъ передъ собою худенькую, лѣтъ подъ семьдесятъ, но еще бодрую старушку, въ черномъ шерстяномъ капотѣ и въ бѣломъ, съ оборками, чепцѣ. Она приняла меня, сидя на кровати, покрытой зеленымъ, шелковымъ, стеганымъ на ватѣ, одѣяломъ. Съ подюжины мосекъ бросились на меня съ лаемъ.

Предупрежденная о щли моего заѣзда, владѣлица ласково привѣтствовала меня, усадила противъ себя и, потирая въ рукахъ серебряную табакерку, сказала: «Знаю, батюшка, знаю, — ты пасчеть нашествiя двѣнадцатаго года... Охъ, старые мои годы! И что тебѣ разсказать о томъ времени? Оно, точно, не токмо французовъ, и ихниго Бонапарта я видѣла тутъ своими глазами. Только что же сазать тебѣ? Памятью совсѣмъ я ослабла... Не мало у меня всякихъ бумагъ, въ комодахъ, баулахъ, и по шкапамъ; не знаю, для чего покойный мужъ копилъ. А безъ него трудно рѣшиться, да врядъ ли и что путное найдется. Больше, почитай, служебныя; онъ отъ французовъ много спасъ; нужное сдалъ, кое-что оставилъ. Развѣ вотъ что, — подумавъ, заключила старушка: — внуки давно все какого-то вводнаго листа искали; я намедни изъ Горрокъ выписала вонъ этотъ сундукъ: кажись, тутъ тоже были какія-то бумаги, да гдѣ мнѣ искать? Я и печатное плохо уже разбираю. Не сможешь ли, развѣ, ты?»

Сундукъ открыли. Онъ былъ полонъ всякою всячиной — мужскими и женскими, старинными платьями, конца XVIII и пачала XIX вѣка, париками, башмаками, обрѣзками цвѣтныхъ суконъ и холста, связками музыкальных нотъ и счетныхъ, хозяйственныхъ тетрадей, ревизскихъ сказокъ и другихъ частныхъ документовъ и писемъ. Просматривая эти бумаги, я, между прочимъ, предлагалъ хозяйкѣ вопросы о старинѣ. Она оказалась очень словоохотливою и передала мнѣ нѣсколько нелишнихъ любопытства подробностей о нашествiи Наполеона, о пожарѣ Москвы и о бѣдствiяхъ плѣнныхъ. Желааннаго листа въ сундукѣ, однако, не оказалось. Я сталъ откланиваться. — «Да ты, родной, не стѣсняйся, — сказала, отпуская меня, старушка: — заѣзжай на свободѣ еще; просмотришь и другіе мои спряты и укладки; можетъ, пособишь мнѣ найти и тотъ листъ! Ой, трудно намъ (безъ него, трудно; заклюютъ внуковъ лихоуди». — Я обѣщаль еще навѣдаться къ старухѣ и сдержаль слово. Ящики съ бумагами, во второй мой заѣздъ, для удобства ихъ просмотра, переносили мнѣ въ сосѣднюю съ хозяйскою, особую комнату, окнами въ садъ. Здѣсь было свѣтло и особенно привѣтливо. Французскiя и англійскiя гранюры XVIII вѣка украшали стѣны. Надъ письменнымъ, съ никрустаціей, бюро висѣлъ потускнѣлый портретъ пожилой, но еще красивой, голубоглазой женщины, въ монашескомъ одѣянiи, съ четками въ рукахъ. На капанѣ лежала, искусно вышитая шелками и бисеромъ, подушка. На полукругломъ, отдѣланномъ бронзой, комодѣ стояло овальное зеркало, въ фарфоровой рамѣ, изъ блѣдно-розовыхъ, съ зеленою, цвѣтовъ. Въ комнатѣ было жарко. Я открыль окно въ садъ, изъ котораго повѣяло запахомъ цвѣтущихъ розъ и липъ. Усѣвшись въ кресло, я принялся за разборку принесенныхъ бумагъ. Хозяйка дома, не желая мнѣ мѣшать, не покидала своей комнаты. Прислуга ходила мимо моей, притворенной, двери не иначе, какъ на цыпочкахъ. Мосекъ куда-то заперли.

Разсмотрѣвъ принесенныя бумаги, я принялся за послѣднюю связку, вынутую изъ ящика какого-то платиново шкапа. Здѣсь, между планами, тщетно отыскивалъ вводный листъ, я нашель обернутую въ обрѣзокъ желтаго атласа, объемистую, кое-гдѣ обгрызанную мышами, тетрадь синей, плотной бумаги, съ золотымъ обрѣзомъ, исписанную по-французски мелкимъ, но четкимъ, очевидно, женскимъ почеркомъ, конца прошлаго вѣка. На обрывкѣ заглавной, полустлѣвней страницы была

надпись: «А ma postérité», — а ниже, другимъ, позднѣйшимъ почеркомъ, было приписано карандашомъ, по-русски: «Совѣты и поученія потомкамъ покойной благодѣтельницы, Марьи Родіоновны Дугановой. Житія ея было шестьдесятъ лѣтъ, дни тревожные, а кончина тихая и праведная, въ саратовской женской пустыни, сего 2 февраля, 1809 года». — «Предисловіе» къ этой тетради было въ двухъ спискахъ. Къ французскому оригиналу кто-то приложилъ, на особомъ почтовомъ листѣ, русскій переводъ.

Вотъ это предисловіе:

«Мои внуки и правнучки и всѣ тѣ, кому попадутся эти страницы! Давно я собиралась изложить, въ поученіе и на память вамъ, видѣнное мною лично и слышанное въ жизни отъ другихъ. Я бралась за перо, приводила въ порядокъ свои мысли и пыталась набрасывать нить необычайныхъ, претерпѣнныхъ мною событій. Воля судьбы, невѣдомымъ путемъ ведущая смертныхъ, всякій разъ устраивала все это, противъ моей воли, иначе. Я оставляла начатое, разрывала или жгла написанные листы.

«Слушая устные мои рассказы, примѣчательные и почтенные люди стараго забытаго нынѣ времени, — мыслители, сановники и свѣтскіе остроумцы, — говорили обо мнѣ: «Какъ жаль! эта милая Дуганова такъ много испытала на своемъ вѣку, видѣла, напримѣръ, лично Пугачова и такъ занято, случается, все рассказываетъ, — а не ведетъ своихъ мемуаровъ».

«Сердце женщины, даже пожилой, друзья мои, не камень. Честь, оказанная мнѣ столь уважаемыми людьми, сильно повліяла на мое самолюбіе. А тутъ стали одождать болѣзни и скука одинокой старости, — предѣлы человѣческой жизни. Девять лѣтъ назадъ, именно въ 1800 г., — на границѣ двухъ вѣковъ, — въ унылый, дождливый, осенній день, въ тихой сельской обители, я впервые взялась за бумагу и перо, потому продолжала въ городѣ, а нынѣ, когда судьбой привелось доживать вѣкъ гъ иной, еще болѣе уединенной и пустынной обители и я, ослабѣвъ отъ слезъ глазами, плохо вижу, даже въ очкахъ, — я диктую дополненія и нужныя вставки крестницѣ, дочери моей пріятельницы, неспособнѣйшей Фимочкѣ. Ей семнадцать, мнѣ скорѣй шестьдесятъ лѣтъ, но память моя еще не ослабѣла, и я, грѣшная, люблю, среди молитвъ и приготовленій къ недалеишей кончинѣ, переноситься мыслями въ прошлое. О, это прошлое! о, золотые, недолгіе годы молодости, улетѣвшаго счастья!

«Мои дорогія внучки и правнучки! Къ вамъ, въ эти часы, взываю, въ особенности. Ваше сердце мягче, думы отзывчивѣе.

«Склоненіе къ близкой могилѣ сильнѣе всего понудило вашу бабуку и прабабуку оглянуться на свое прожитое и, безъ утайки, какъ передъ вѣковѣчнымъ Судіей, передать вамъ, сходя въ эту могилу, исповѣдь о своей жизни, о ея въ началѣ тихихъ и свѣтлыхъ радостяхъ и о грозныхъ потомъ испытаніяхъ, когда надъ нами пронесся страшный, кровавый метеоръ, чуть не пресѣкшіи бѣдной, давно-истерзанной жизни.

«Кончу ли, пѣть ли, свои записки, прочтите, мои дорогія, этотъ рассказъ о нашемъ *черномъ годѣ*, эту семейную драму, среди которой я нежданно, когда-то, была унесена по иному, гибельному руслу повлеченіемъ безпощаднаго чудовища, алчнаго тигра, внезапно вставшаго передъ нами. Вы увидите, что я, передавая бумагѣ эти отрывочныя замѣтки и признанія о вашихъ дѣдахъ и прадедахъ, старалась обт

одномъ — быть правдивой, а иногда, какъ можетъ вамъ показаться, даже, въ ущербъ себѣ, и черезчуръ откровенной...»

Занятый въ то время другою эпохой, я не обратилъ-было должнаго вниманія на эту находку. Страхнувъ съ тетради пыль, я прочелъ сперва ея предисловіе, а потомъ и всю рукопись. Безыскусственный разказъ Дугановой объ испытанномъ ею семейномъ горѣ и другихъ тревожащихъ невольно перенесъ меня въ далекіе, семидесятые годы прошлаго столѣтія. ознаменованные рядомъ, по-истинѣ, тяжелыхъ общественныхъ бѣдствій.

Солнце, ярко свѣтившее въ комнату черезъ верхи слабыхъ липъ, давно спряталось за уголъ дома. Въ окно повѣяло прохладой вечера. Стала надвигаться сумерки. Раздался звонъ къ вечернѣ. Я продолжалъ перелистывать тетрадь. Владыца дома прислала мнѣ варенья, потому фруктовыхъ, собственного издѣлія, водянокъ; все это осталось нетронутымъ. — «Барыня возвратились отъ вечерни и просятъ кушать чай», — послышалось наконецъ за дверью. — «Сейчасъ, сейчасъ», — отвѣтилъ я, закрывъ дочитанную рукопись. Я всталъ и оглянулся по комнатѣ. Эта мебель, зеркало въ фарфоровой рамѣ, шитая шелкомъ подушка и портретъ монахини стали мнѣ поинты. Я, по стемнѣвшему коридору, возвратился въ комнату старушки. — «Что, батюшка, все еще не нашель моего листа?» — спросила NN. — «Нѣтъ, не нашель...» — «Что дѣлать! — сказала она со вздохомъ: — а намъ всёмъ оцъ такъ нужень...» — «Зато мнѣ удалось вотъ что найти», — произнесъ я, указывая на завернутую въ желтый атласъ тетрадь: — «знаете ли вы это?» — Глаза старухи, при взглядѣ на этотъ атласъ и на давно, очевидно, забытую тетрадь, покрылись слезами. — «Богъ мой! гдѣ ты это выкопалъ? — вскрикнула она, крестясь и разглядывая тетрадь: — столько лѣтъ считала ее пропавшею, когда еще мы перѣехали изъ Горокъ... Знаю ли? да въдъ Фимочка, о коей тутъ говорится, — коли ты читалъ, — это я сама... Подлинна этого мнѣ и диктована!» — «Не позволите ли воспользоваться, списать это хотя для себя?» — спросилъ я: — «не теперь, ну позднѣе. Тутъ не мало любопытнаго, и все это, притомъ, очевидно, рассказывалось для потомства, а ужъ столько времени прошло; никому не будетъ неприятно, а многихъ, пожалуй, и займетъ!» — «Эхъ, батюшка, да что же тутъ занятнаго?» — отвѣтила старуха, завернувъ тетрадь въ тотъ же атласный лоскутъ и заковывая ее подъ подушки, на кровати: — «во-первыхъ, въ тѣ поры, хотя все, положимъ, говорили такъ же просто, какъ и теперь, но писали всерьезно, подчасъ и витѣвато. — еще смѣяться надъ нами будутъ, — а во-вторыхъ — тутъ одни домашнія, никому не нужныя и давно забытыя розказни!» — «Но здѣсь не одни семейныя событія, здѣсь столько, между прочимъ, и вообще о томъ вѣкъ приведено!» — Старуха покачала головой. — «Все это, родной, давно и всёмъ извѣстно и переизвѣстно... А, впрочемъ, коли ужъ хочешь, — заключила она, помолчавъ и какъ-то особенно глянувъ въ сторону: — какъ цомру, изволь, — за твое вниманіе ко мнѣ, — бери... я надѣюсь, не осмѣню дорогой мнѣ старинны...» — «Но отъ кого же я это получу?» — спросилъ я. — «Душениказчикомъ по мнѣ будетъ здѣшней церкви, коли знаешь, священникъ: я ему безпремѣнно накажу, и онъ все тебѣ, если пожелаешь, отдасть.» — «Позволите ли взять, какъ автографъ, хотя приложенный къ рукописи переводъ предисловія?» — «Его, пожалуй, возьми.» —

«А кто эта монахиня, на портретѣ, въ той комнатѣ?»—«Благодѣтельница наша, моя крестная, Марья Родіоновна Дуганова; здѣшній домъ, много хорошихъ вещей и все у насъ, какъ есть, отъ нея...»

Прошло послѣ того около года. Я снова павѣстиль Москву, гдѣ знакомые старушки мнѣ передали, что она умерла.—Заѣхавъ къ священнику ея приходской церкви, я отъ него узналъ, что всѣ бумаги покойной,—какъ въ сундукѣ, такъ и въ шкапахъ, и баулахъ,—вскорѣ послѣ ея смерти,—сгорѣли, вмѣстѣ съ ея домомъ, на пожарѣ, истребившемъ чуть не половину переулка, гдѣ она жила.

Въ нижеслѣдующемъ разсказѣ я постараюсь возстановить все то, что могъ припомнить изъ записокъ Дугановой—какъ о московскихъ, такъ и о иныхъ событіяхъ, за 115 лѣтъ назадъ.

I.

Было лѣто 1772-го года.

Марья Родіоновна Дуганова, урожденная Камынина, за три года передъ тѣмъ обвѣнчалась, по любви, съ адъютантомъ московскаго главнокомандующаго, графа Салтыкова, Глѣбомъ Андреевичемъ Дугановымъ.

Первую зиму послѣ брака, въ началѣ 1769 года, молодожены провели въ Москвѣ. Марья Родіоновнѣ тогда исполнилось девятнадцать лѣтъ. Нѣсколько задумчиваго, сосредоточеннаго нрава, она со всѣми была привѣтлива и общительна. Всѣ любовались ея статнымъ ростомъ, граціозною походкой, тонкою таліей и цѣлыми волнами свѣтлопелельныхъ волосъ, надавшихъ на плечи.

Чувствительная сердцемъ, она до безумія любила умнаго, дѣльнаго и добраго мужа. Онъ также въ ней души не чаялъ,—дома не отходилъ отъ нея, а въ гостяхъ, на званныхъ обѣдахъ, вечеринкахъ и во время танцевъ не спускалъ съ нея глазъ. Да и какъ было не любоваться ею? Стройна, съ свѣтло-голубыми, нѣсколько близорукими глазами, она обворожала всѣхъ своимъ обхожденіемъ, ласковою, умною рѣчью и искусствомъ одѣваться къ лицу. Парикмахеры сооружали изъ ея пышной шевелюры цѣлые замки и фортеціи. Знакомые трунили надъ Дугановымъ, говоря, что онъ ревнуетъ жену чуть не къ каждому, кто съ нею заговорить. Въ избыткѣ радостей, Марья Родіоновна, разумѣется, не обращала на эти толки никакого вниманія.

Зима перваго года послѣ брака прошла для Дугановыхъ въ непрерывныхъ развлеченіяхъ, выѣздахъ, вечерахъ. Веселье, въ ту пору, въ Москвѣ било ключомъ. Воспитанная въ небогатой семьѣ служилыхъ самарскихъ дворянъ, Камы-

пныхъ, Марья Родіоновна хотя отъ души веселилась въ пышной и шумной Москвѣ, куда перенесла ее судьба, но втайнѣ съ любовью вспоминала родную Самару, тихую, широкую Волгу, и думала: «Выѣзжать, развлекаться надо, такъ принято... но когда бы уже скорѣе все это прошло!.. Поѣдемъ на югъ, въ Ракитное, къ матери Глѣба». Увеселенія, само собою, вскорѣ кончились. Весной и лѣтомъ 1771 года въ Москвѣ нежданно разыгралось страшное бѣдствіе: чума и бунтъ черни, убившей архіепископа Амвросія. Дугановъ успѣлъ, до этихъ смуть, заблаговременно отправить жену, уже бывшую въ тѣлѣ, въ Малороссію, въ изюмское помѣстье своей матери. Оттуда, въ началѣ весны того года, Марья Родіоновна извѣстила его, что у нихъ родился сынъ, Вася. Тамъ она оправилась, окрѣпла на сельскомъ покоѣ и, съ началомъ весны, опять расцвѣла, благодаря совѣтамъ и наблюденію опытнаго врача, котораго ея свекровь вызывала къ ея родамъ въ Ракитное изъ Москвы. Чума въ Москвѣ прекратилась. Новый начальникъ Дуганова, князь Волкопскій, какъ и прежній главнокомандующій, также оцѣнилъ и полюбилъ Глѣба, за его усердіе къ службѣ, и обѣщаль ему отъпускъ къ семьѣ. Въ маѣ 1772 года Глѣба Андреевича стали ожидать въ деревню.

Въ трехъ верстахъ отъ Ракитнаго, помѣстья его матери, было многолюдное село изюмскихъ слободскихъ казаковъ, Кабанье. Черезъ него, въ то время, шла большая, почтовая и торговая, харьковская дорога на Изюмъ и Славянскъ. Марья Родіоновна часто, въ экипажѣ и верхомъ, одна или съ племянницей свекрови, Нинетъ Ладыженцевой, выѣзжала на этотъ путь, въ надеждѣ увидѣть пылъ завитной тройки, услышать почтовый колокольчикъ и встрѣтить тамъ дорогаго гостя. Нинетъ была некрасивая собой и уже немолодая, но умная и начитанная дѣвушка. Худая, съ длинною, какъ у осы, таліей, она и правомъ своимъ напоминала осу; любя спорить и противорѣчить, она, въ сущности добрая, язвительно цѣплялась за всякое возраженіе и носила между своими провансіе квакерки, чудачки и пуританки. Увезенная съ дѣтства богатыми родными въ чужіе края, она долго жила въ Швейцаріи, Англіи и Голландіи, откуда, между другими причудами, вывезла благоговѣніе къ простому народу,—храпителю, по ея мнѣнію, истинной правдивости и вѣры, и смѣло ставила его въ образецъ высшимъ классамъ. Когда

она, въ спорѣ на эту тему, сердито опускала вѣки и, то краснѣя, то блѣднѣя до синевы губъ, сыпала возраженіями, старуха Дуганова обыкновенно говорила: «Ну, завела, кватерка, проповѣдь! Открой, Нина, свои шторы, а то въ комнатѣ темно!» Ладыженцева, улыбаясь, поднимала глаза — и въ комнатѣ дѣйствительно стаповилось какъ бы свѣтлѣе, — такъ, при общей ея некрасивости, были ласковы и привѣтливы ея большіе, сѣрые глаза.

Дни шли за днями. Глѣба Андреевича не было. Коротая свои досуги, Марі съ Пинетъ любила останавливаться у молодого рослаго дуба, при вѣздѣ въ Кабанье. Здѣсь онѣ давали лошадамъ отдохнуть, а сами садились на землю или рвали цѣлебныя травы и цвѣты. Степи тогдашняго харьковскаго намѣстничества были почти сплошною, вѣковѣчною цѣлинной. Свекровь научила невѣстку собирать и сушить цвѣты. Цѣлые вороха сушеныхъ зелей висѣли у нея въ особой, пахучей свѣтлѣкѣ, куда допускали не всѣхъ, но гдѣ, съ нѣкотораго времени, невѣстка стала полною хозяйкой. Добрая ворчунья и хлопотунья свекровь, день - денской суетясь по хозяйству и звеня связкою ключей у пояса, по вечерамъ, когда всѣ собирались съ работой къ чайному столу, съ доверчивою важностью преподавала невѣсткѣ зановѣдныя способы лѣченія собранными травами, но настрого запретила ей самой ходить за недужными.

— Можешь, другъ Марьюшка, — говорила она: — пользо- вать всякаго, кого допускаю къ себѣ въ хоромы и кого сама тебѣ укажу; черезъ это дашь помощь и мѣѣ. Но, Боже тебя упаси и помилуй, не вздумай сама посѣщать больныхъ. Ты, ма шеръ Марі, неопытна и подчасъ прытка; изъ-подъ пятокъ твоихъ иногда чуть не искры сыплются, когда ходишь. А мало ли какіе бываютъ больные изъ этого чернаго, бѣднаго мужичья? Они, какъ поросята, неопрытны; падо умѣючи. Берегись, Марі! еще заразишься ихъ болячками и въ копецъ погубишь себя...

Однажды Марі пришлось особенно долго замедлиться на большой дорогѣ. Она въ то время выѣхала туда верхомъ одна. Пинетъ осталась дома, допивать гарусомъ по канвѣ подушку, сюрпризь Марі Глѣбу. Привязавъ коня къ стволу знакомаго дуба, у крайнихъ дворовъ Кабаньяго, Марі усѣлась на землѣ, въ тѣни дерева, и задумалась.

Ея мысли были все о той же большой дорогѣ. Вѣтви дуба тихоенько шелестѣли надъ ея головой. Каждый листикъ, каждая свѣтовая, между вѣтвями, прогалина точно говорили ей: «счастье! счастье! вотъ оно, смотри»... Она смотрѣла; но по дорогѣ тянулись обозы, шли пѣшеходы, — милого гости не было видно. Изъ-за сосѣдняго плетня къ ней незамѣтно подошла старая казачка, съ ближняго хутора.

— Пяньочка, голубочка! — сказала она ей, низко кланясь: — вы собираете травы, Богъ вамъ помощи, и, мы знаемъ, лѣчите ими бѣдный народъ. Не прогнѣвайтесь, зайдите; у насъ въ хатѣ, сколько времени, гибнетъ, лежитъ безъ ногъ знакомый мужъ, добрый человекъ.

— Кто, бабуся, твой мужъ и гдѣ живете?

— Осипъ Коровка; онъ вамъ рыбу съ Дона не разъ привозилъ. Вонъ нашъ хуторъ, у огородовъ.

— А кто этотъ знакомый твоего мужа?

— Бѣдный бурлакъ; помогаль мужу, когда былъ на ногахъ, ѣздилъ съ нимъ весной за рыбой, да захворалъ и съ Пасхи лежитъ, какъ пласть, а мужа дома нѣтъ.

— Что же у него?

— Были рапы отъ болячки, на груди и на лицѣ, теперь па ногахъ... не ходитъ.

Маріа вспомнились слова свекрови о заразѣ. Она испугалась, не рѣшалась идти. Но мысль, что бѣдному рабочему человекъ — лишиться ногъ значило то же, что умереть съ голоду, тронула ее. Она подумала, предложила казачкѣ указать ея дворъ и поѣхала за нею. Казачка привязала лошадь Маріа у забора, возлѣ своего крыльца, и ввела гостью въ чистую, прохладную, глиняную горенку, съ завѣшанными отъ мухъ окнами. Маріа взглянула вокругъ себя и въ первый мгновеніа, со свѣта, ничего здѣсь не видѣла.

Въ просторной, съ землянымъ поломъ, избѣ, налѣво отъ входа, обозначилась бѣлая, съ красными и синими разводами, опрятная печь; рядомъ съ нею — поставецъ съ посудю и окованный желѣзомъ, разрисованный сундукъ; въ переднемъ углу — множество старинныхъ, темныхъ образовъ, съ лампадками передъ ними. Большинство казаковъ села Кабаньяго придерживались, какъ всѣ въ окрестности знали, раскола. На скамьѣ, подъ образами, лежало что-то блѣдно, прикрытое сѣрымъ, рванымъ зипуномъ. На Маріа, изъ-подъ

зипуна, устремились черные, блестящіе, жалобно-молившіе глаза. Старуха приподняла оконную занавѣску.

— Помогн, ласковая боярышня, Богъ тебѣ поможетъ! — сказала сиповатымъ, глухимъ голосомъ и безъ украинскаго выговора, больной, очевидно, не здѣшній человекъ.

Онъ съ трудомъ приподнялся на скамьѣ, свѣсилъ и сталъ развизывать обвернутыя жалкимъ тряпьемъ, исхудалыя, костлявыя ноги. Съ виду ему было лѣтъ тридцать.

— Какъ это? гдѣ ты, голубчикъ, такъ заболѣлъ? — спросила Маріи, подойдя къ больному и съ содроганіемъ осматривая его глубокія, зіяющія рапы.

— Батракъ-сирота, бѣдолага! — съ безнадежнымъ вздохомъ отвѣтилъ больной, перебирая ветхія тряпицы на изможденныхъ голенихъ: — что такому? мучиться въ потѣ лица и въ неволѣ добывать хлѣбъ святой. Волка, барышня, ноги кормятъ.

«Бродяга!» — невольно подумала Маріи.

— Какъ тебя звать? — спросила она.

— Ивановъ... по имени Емельянь...

— Здѣшній?

— Нѣтъ, сударышка, съ Дону... казакъ.

— Что же, случайно сюда зашелъ?

— Гдѣ только не хожено, не ѣжено, какого только землепроходнаго вѣтра не пробовано! да вотъ, притулился у добраго человека, захворалъ, и аки псу, видно, приходится тутъ задаромъ пропадать. Спаси, будь ласкова, трудно такъ-то. Лежачъ камень мохомъ обростаетъ, стояча вода и та киснетъ...

— Ну, Ивановъ, — сказала Маріи, подумавъ: — хотя и трудно, а постараюсь тебѣ, сколько могу, пособить. Все твоей хозяйкѣ передамъ...

Выйдя изъ избы, она приказала казачкѣ, промывъ больному раны, обвязать ихъ чистыми холщевыми лоскутьями и обѣщала доставить лѣкарство. На другой день, въ Кабанье съѣздила Нинетъ; она, по просьбѣ Маріи, завезла казачкѣ травъ, объяснила ей, какъ ихъ готовить и прикладывать, и сказала, что вскорѣ навѣдается опять. Черезъ лѣдлю, Маріи снова вспомнила о больномъ, и Нинетъ, вторично съѣздивъ въ Кабанье, отвезла туда украдкой новый запасъ травъ и узнала, что больному стало замѣтно легче.

II.

Изъ Москвы, между тѣмъ, пришло письмо Глѣба. Онъ

извѣщала жену, что его путь замедлился, вслѣдствіе его поѣздки куда-то съ главнокомандующимъ, и что онъ будетъ въ Ракитное — не ближе двухъ недѣль. Какъ прошли эти двѣ недѣли, Маріи уже и не помнила. Она не могла ничѣмъ заняться, какъ тѣнь, бродила изъ угла въ уголокъ по дому и въ саду, ночи проводила безъ сна и съ истеричнѣемъ считала не только дни, но часы и минуты.

Въ день, когда, по ея расчету, окончательно долженъ былъ въ Ракитное пріѣхать Глѣбъ, она съ Пинетъ, чуть не на зарѣ, когда въ домѣ все еще спали, выѣхала въ коляскѣ на большую дорогу и, не утерпѣвъ, велѣла кучеру проѣхать далѣе, за Кабанье.

Коляска остановилась на возвышенномъ пригоркѣ. Было чудное, теплое, душистое утро. Съ пригорка, вереть на пять и болѣе, была видна лента той же харьковской дороги, съ уходящими въ даль, зелеными холмами и перелѣсками, но и тамъ не было видно завѣтной, мчащейся тройки. Слезы душили Марію. Видя ея разстройство, Пинетъ уговорила ее ѣхать обратно. — «Ахъ, вѣдь, нельзя же! — увѣщевала она Марію, по пути: — и какая ты, право, странная! ну, онъ не пріѣхалъ утромъ, можетъ пріѣхать послѣ обѣда, къ вечеру... Успокойся!» — А ужъ до покоя ли тутъ? — Марію не отрывала платка отъ глазъ, не слышала того, что ей говорила подруга. Вдругъ коляска остановилась. Путницы оглянулись. Онѣ были среди улицы Кабаньяго.

У передняго колеса экипажа, почему-то пригнувшись къ нему, стоялъ въ бѣлой, посконной рубахѣ, въ синихъ, набойчатыхъ шароварахъ и въ сѣрой дерюгѣ, поверхъ широкихъ, исхудалыхъ плечъ, средняго роста, босой человѣкъ, съ черною бородой. Марію по глазамъ узнала въ немъ недавняго своего пациента, Иванова. Его ноги, выше ступней, были еще обвязаны, но онъ на нихъ держался уже свободно, слегка только опираясь на суковатую палку.

— Что это? почему стали? — спросила кучера Марію.

— Постромку лѣвая заступила, я и кликнулъ его помочь, — отвѣтилъ кучеръ, указывая на мужика.

Мужикъ кланялся, держа шанку въ рукѣ.

— Спасибо вамъ, сударыньки, — сказалъ онъ: — за то, что помогли мнѣ, бѣдному, Богъ вамъ пособить! только вотъ, лихо, — прибавилъ онъ, шара за пазухой: — собираюсь въ дорогу, а отблагодарить вамъ нечѣмъ...

— Полно, полно,—отвѣтила, вспыхнувъ, Нинѣтъ:—выздоравливай, Господь съ тобой... ничего намъ не нужно... счастливаго пути...

— Не гоже, сударыня, не гоже,—сказалъ мужикъ, протягивая Нинѣтъ что-то въ грубой, заскорузлой рукѣ:—не обезсудь,—изъ Почаевской лавры... самъ принесъ!

Онъ подалъ мѣдный, на простой, плетеной тесемкѣ, лаврскій крестикъ. Крестъ былъ раскольничій. Нинѣтъ хотѣла его принять.

— Не бери,—сказала ей, по-французски, Марі.

— Почему же? —спросила ее, на томъ же языкѣ, Нинѣтъ:—это все твое отвращеніе къ бѣдному простонародью? какъ глупо!

— Да нашъ пациентъ не вселяетъ мнѣ довѣрія, —отвѣтила Марі:—съ виду—ну, сущій разбойникъ; не желала бы я встрѣтиться съ нимъ въ дорогѣ, особенно ночью.

— Вотъ вздоръ какой,—отвѣтила Нинѣтъ:—по виду онъ какъ всѣ, и я его не боюсь.

Казакъ, очевидно, чутьемъ понялъ смыслъ разговора путницъ. Шевельнувъ плечомъ, онъ исподлобья вдругъ съ такою глубокою ненавистью взглянулъ на нихъ, что онѣ невольно смутились.

— Изъ Почаева, ты говоришь? —спросила Нинѣтъ, желая загладить произведенное на него впечатлѣніе;—ты былъ и въ Польшѣ?

Казакъ отвѣтилъ не сразу. Онъ тяжело дышалъ.

— Ходилъ на богомолье, —проговорилъ онъ, переминаясь:—и гдѣ послѣ того не былъ, а вотъ живъ! не своя воля,—безъ смерти не померешь,—заклучилъ онъ:—въ могилу, и въ ту, видно, надо допроситься.

Нинѣтъ приняла отъ него крестикъ, надѣла его, и путницы поѣхали, рассуждая, не безъ удовольствія, что все-таки вылѣчили бѣднаго больного.

Вечеромъ того же дня, Марі слышала изъ цвѣтника звонъ колокольчика. Надъ вербами, за садомъ, у пруда, поднялась стая галокъ и воронъ. Выше и выше вздымались крылатая полчища, горластымъ карканьемъ привѣтствуя кого-то, подлѣзжавшаго, въ облакахъ пыли, изъ околицы. Марі замерла. Что съ нею затѣмъ случилось, она уже и не помнила. Бросившись опретью въ домъ, какъ буря, она промчалась чрезъ рядъ комнатъ, выскочила, уронивъ съ

себя косынку и шляпу, въ переднюю и на крыльцо, и через секунду, обезумѣвъ отъ восторга, повисла на груди подлѣхавшаго мужа.

Въ Ракитномъ настали дни радостей и веселья. Дугановы непрерывно принимали родныхъ и знакомыхъ и ѣздили къ нимъ. Тучи галокъ и воронъ то-и-дѣло кружились надъ садомъ и дворомъ, громкимъ крикомъ, точно торжественнымъ ура, встрѣчая и провожая ракитинскихъ гостей. Глѣба разспрашивали о чумѣ, бывшей въ Москвѣ, о столичныхъ новостяхъ. Среди пріемовъ, званыхъ обѣдовъ и выѣздовъ, Марі, разумѣется, забыла поѣздки къ завитному дубу, жену казака Коровки и ихъ постояльца Иванова, котораго ей привелось лѣчить, вопреки предостереженіямъ свекрови. Но какъ часто потомъ, при другомъ, наставшемъ стрѣѣ жизни, она вспоминала и этотъ дубъ, и больного казака, и свое тогдашнее, ничѣмъ невозмущаемое, молодое счастье!

Свекровь отъ кого-то, однако, провѣдала-таки о лѣчебныхъ экскурсіяхъ Марі и Нинетъ. Спустя недѣлю послѣ пріѣзда сына, она какъ-то, варя въ саду варенье, сказала Марі,—при мужѣ: «Ну, лакомка, казачій фершалъ, попробуй пѣнку,—готовы ли ягоды?»—Марі, не ожидавшая этого разоблаченія, вспыхнула и, отвѣдавъ варенья, объявила, что, по ея мнѣнію, ягоды готовы. А старуха Дуганова, лукаво грозя и улыбаясь на ея растерянность, прибавила: «Впрѣчемъ, главный гофъ-медикъ, на этотъ разъ, не ты, а вотъ она!»—и указала на Нинетъ.

Глѣбъ Андреевичъ, во время смуть въ Москвѣ, такъ усталъ, а въ родной деревнѣ ему было такъ привольно и хорошо, что онъ написалъ къ главнокомандующему въ Москву, куда везти жену еще не рѣшался, и выхлопоталъ себѣ у князя новый, болѣе продолжительный отпускъ. Онъ съ Марі прогостилъ тогда у матери—вилоть до половины октября.

Настала чудная украинская осень. Марѣ Родіоновѣ долго были памятны эти тихіе и сухіе, то теплые, какъ въ маѣ, то слегка прохладные, хотя и солнечные дни, съ желтѣющими садами и дубравами и летящими, въ свѣтломъ воздухѣ опустѣлыхъ полей, прядями бѣлой паутины. Хлѣбныя нивы были убраны. Крестьяне праздновали сватацня и свадьбы. Окрестные богатые помѣщики, — Шидловскіе,

Донцы-Захаржевскіе и Квитки, — охотились, съ нарядными егерями и безчисленными сворами гончихъ и борзыхъ собакъ, въ лѣсахъ гористаго Донца. Въ дубовыхъ и липовыхъ труппахъ раздавались звуки охотничьихъ роговъ, а надъ скачущими всадниками плыли, съ звонкими криками, стаи отлетающихъ за море гусей и журавлей. Мари также верхомъ выѣзжала на охоту. По вечерамъ усталые путники собирались у охотниковъ-сосѣдей. Подавался украинскій пуншъ, — душистая, съ пряностями, вишневая варенуха. Молодежь, подъ клавикуды, устраивала танцы. Мари очень не хотѣлось покидать этого простора, этихъ степей и особенно сада, съ полчищами кружившихся, надъ безлистыми уже деревьями, галокъ и воронъ: въ каждой аллеѣ и въ каждомъ тайникѣ этого сада столько переживала она съ Глѣбомъ счастливыхъ мгновений, тихихъ бесѣдъ, надеждъ и ожиданій.

Съ начала октября Глѣбъ сталъ думать о возвращеніи въ Москву. Видя, что жена медлитъ со сборами, онъ началъ ее торопить.

— Да куда же, помилуй, ты такъ сѣдшишь отъ этихъ прелестей? — спросила его Мари, обжившись въ Ракитномъ и съ смущеніемъ видя, что вскорѣ надо ѣхать: — здѣсь такъ еще хорошо?

— Развѣ ты забыла? — отвѣтилъ мужъ: — я же тебѣ говорилъ, что братъ Алексѣй рѣшилъ, наконецъ, начало этой зимы провести съ нами въ Москвѣ. У него важное дѣло по жениному имѣнію, и онъ, вѣроятно, прійдетъ не одинъ, а съ женой. Болѣе трехъ лѣтъ мы не видѣлись; надо все приготовить къ ихъ приѣму, а главное — кое-что передѣлать въ домѣ, приспособить для нихъ мезонинъ... Вѣдь они, разумѣется, останутся у насъ.

Алексѣй Андреевичъ Дугановъ былъ старшій, единокровный братъ Глѣба, отъ перваго брака ихъ отца. Четыре года назадъ онъ женился въ Москвѣ на круглой сиротѣ, единственной дочери нѣкогда богатаго, но разореннаго передъ кончиной, симбирскаго помѣщика, Серафимѣ Львовнѣ Туровцовоѣ, съ которою Мари вмѣстѣ воспитывалась, съ дѣтства, въ самарскомъ пансіонѣ и была съ тѣхъ поръ очень дружна. По выходѣ изъ пансіона, подружки на нѣкоторое время разстались. Мари въ то время уѣхала къ женатому брату, служившему въ одномъ изъ кавалерійскихъ

полковъ, близъ Самары, а Серафиму взяла къ себѣ въ Москву ея тетка, вдова генераль-аншефа, Варвара Ивановна Туровцова, бывшая ея опекуницей. Варвара Ивановна терпѣть не могла городской жизни и только на время поселилась въ Москвѣ, въ собственномъ домѣ, съ цѣлью вывезти племянницу и въ надеждѣ, что красивая и обаятельная своею веселостью, находчивая и живая Серафима долго не засидится въ невѣстахъ. Такъ и случилось. Выдавъ, въ 1768 году, племянницу за Алексѣя Дуганова, Туровцова немедленно возвратилась въ свое богатое помѣстье, возлѣ Казани. Да и понятно,—это роскошное, снабженное всякими удобствами, имѣніе, по общимъ отзывамъ, было сущимъ раемъ, въ которомъ старая Туровцова жила, какъ властительная королева.

Вслѣдъ за помолвкой съ Алексѣемъ Андреевичемъ Дугановымъ, Серафима извѣстила подругу о данномъ ею словѣ и пригласила ее на свою свадьбу, въ Москву. Здѣсь-то Маріи впервые увидѣла своего будущаго суженаго, младшаго Дуганова, служившаго въ то время на границѣ Польши. Послѣ свадьбы, Алексѣй и Серафима уѣхали изъ Москвы на постоянное жительство въ наследственное, саратовское имѣніе Серафимы, село Горки. Маріи, проводивъ ихъ, возвратилась къ брату, въ окрестности Самары.

Дальнѣйшая ея жизнь у брата омрачилась неожиданнымъ горемъ. Простудившись на одномъ изъ смотровъ, братъ ея опасно заболѣлъ и вскорѣ послѣ того умеръ. Маріи была сражена этою смертью. Искренняя скорбь о преждевременной потерѣ близкаго родного, впрочемъ, смягчалась,—Маріи изъ Москвы унесла съ собою ободряющую, свѣтлую мечту... Въ ея душу запаль образъ Глѣба. Хотя, въ бытность на свадьбѣ въ Москвѣ, Глѣбъ не сдѣлалъ ей ни малѣйшаго намека на свои чувства, тайный голосъ шепталъ Маріи, что она встрѣтилась съ нимъ не даромъ. Привлекательный и зрѣлый, не по лѣтамъ, умъ младшаго Дуганова, его изящная наружность, красивые, большіе, темно-каріе глаза и робкое, невольное предпочтеніе, вездѣ имъ оказываемое Маріи, не покидали ея смущенныхъ мыслей.

III.

Единокровныя братья, Алексѣй и Глѣбъ Дугановы, представляли совершенную противоположность другъ другу. Рожденный отъ перваго брака родителя, Алексѣй былъ выли-

тѣй отецъ: огромнаго роста, сильно-близорукой, съ крупными руками и полными, красиво-очерченными губами, тучный, но молодцоватый, и небрежный въ одеждѣ и прическѣ русыхъ, вьющихся волосъ. Онъ ходилъ твердо, всею тяжелою ступней, лѣнливо переваливаясь, говорилъ внушительнымъ, пѣвучимъ басомъ, любилъ деревню, отдыхъ и тихую бесѣду; въ душевномъ волненіи обыкновенно что-либо напѣвалъ, хотя сильно при этомъ фальшивилъ, а слыша что-нибудь смѣшное, заливался гомерическимъ хохотомъ и, обладая громадною физическою силою, былъ нѣженъ и до смѣшного робокъ съ женщинами. Рожденный отъ второго брака отца и всего двумя-тремя годами моложе Алексѣя, Глѣбъ былъ портретомъ матери,—такъ же, какъ и она, невысокъ ростомъ, худощавъ, черноволосъ и съ женоподобными, маленькими руками и ногами. Вертлявый и подвижной съ дѣтства, Глѣбъ ходилъ мягкою, легкою поступью, держался прямо и стройно, всегда щегольски, съ иголки, одѣтый, и любилъ службу и вообще трудъ. Вспыльчивый отъ природы, онъ, при чемъ-либо неприятномъ, только блѣднѣлъ; что же до женщинъ, то, хотя онъ и нравился имъ болѣе брата, — относился къ нимъ обыкновенно сдержанно и сухо. Усмѣшка рѣдко видѣлась на его худощавомъ, смугломъ лицѣ, съ тонкими нѣжными губами, изъ которыхъ нижняя нѣсколько, какъ бы презрительно, выдавалась впередъ; а когда онъ улыбался, черты его лица оставались неподвижны, и усмѣхались одни его большіе, ласковые, черные глаза. За эту-то улыбку его глазъ, добродушную и подчасъ дѣтски-кроткую, Маріи втайнѣ такъ и полюбила Глѣба. Оба брата были питомцами кадетскаго корпуса, но, по окончаніи ученія, разошлись по разнымъ путямъ. Пробывъ нѣкоторое время, какъ и Глѣбъ, въ военной службѣ, Алексѣй вышелъ въ отставку, для помощи отцу въ хозяйствѣ, и поселился у него на югѣ, въ имѣніи второй жены отца, гдѣ старикъ Дугановъ вскорѣ умеръ. Глѣбъ, по желанію матери, не оставлялъ службы. Болѣе, чѣмъ Алексѣй, снабженный средствами къ жизни, Глѣбъ, въ началѣ, служилъ въ гвардіи и первый годъ службы ознаменовалъ шумными кутежами съ товарищами, карточною и бильярдною игрою. Особенно онъ въ то время увлекался нѣкимъ родомъ азартной игры на бильярдѣ въ три шара. Проводя дни и ночи, напролетъ, въ излюбленныхъ моло-

дежью притонахъ бильярдныхъ схватокъ, онъ однажды, въ какомъ-то загородномъ трактирѣ, проигрался до того, что рѣшилъ поставить на конъ свои часы. Между партіями пили обильныя возліянія. Какъ ни былъ на-веселѣ Глѣбъ, онъ вдругъ случайно замѣтилъ, что его противникъ, очевидно, подкупили маркера и плутоваль, путая счеты. Глѣбъ тутъ же торжественно уличилъ его и заявилъ о томъ другимъ посѣтителемъ. Вышла бурная сцена. Противникъ, весь красный отъ вина и смущенія, вышелъ изъ себя и, думая напугать Глѣба, вызвалъ его на дуэль, которая тутъ же и должна была состояться, во второмъ этажѣ высокаго, деревяннаго, покосившагося трактира.

— Вы требуете драться? — сильно поблѣднѣвъ, спокойно отвѣтилъ Глѣбъ: — извольте, съ однимъ только условіемъ, — стрѣлять не иначе, какъ по жребію: кто вынетъ записку, со словомъ — мишень, становится въ открытое окно, — а тотъ, у кого на запискѣ окажется слово — пистолеть, стрѣляетъ въ него. Если пуля попадетъ въ цѣль, раненый падаетъ за окно — и дуэли конецъ; а если промахъ, или вообще ожидающій выстрѣла устоитъ въ окнѣ, онъ ставитъ туда другого, беретъ самъ пистолеть и стрѣляетъ, по командѣ!

Присутствовавшіе возстали-было противъ такихъ дикихъ условій; но охмелѣвшіе противники не уступили. Принесли чей-то пистолеть, написали бумажки, вынули жребій, и Глѣбу пришлось изображать мишень. Онъ сбросилъ мундиръ, бодрѣ сталъ на подоконникъ, спиной къ раскрытому въ садъ окну, и безъ смущенія выдержалъ выстрѣлъ. Продолжалъ промахъ. Глѣбъ еще болѣе поблѣднѣлъ, подошелъ къ окончательно-растерявшемуся противнику и въ то время, когда тотъ, снявъ кафтанъ, также готовился взобраться на окно, бросилъ въ сторону пистолеть и объявилъ, что онъ удовлетворенъ и стрѣлять болѣе не будетъ. Эта исторія огласилась, — молодежь прославляла Глѣба; но вмѣшались власти, и Глѣбъ долженъ былъ оставить Петербургъ и перейти въ армію. Прослуживъ тамъ около года, онъ получилъ переводъ на должность адъютанта къ главнокомандующему въ Москву, и послѣ того вскорѣ, на свадьбѣ брата, встрѣтилъ Марію.

Ближайшую зиму послѣ свадьбы Алексѣи и Серафима

проехали въ Москвѣ. Переѣхавъ туда, Серафима стала настоятельно приглашать къ себѣ и подругу; но Марі въ то время только что лишилась брата и своимъ настроеніемъ, разумѣется, далеко не подходила подъ пару женѣ Алексѣя Андреевича, страстно любившей свѣтскій блескъ, выѣзды, театры и танцы. Нося трауръ по брату, Марі равнодушно читала письма пріятельницы, которая расхваливала то балы благороднаго клуба, то театры, съ Дмитревскимъ и Шупериннымъ, то концерты, съ завѣжными знаменитостями, Компасси и Сакки.

«Ахъ, дорогая Машенька,—писала подругѣ Серафима:— развѣ сомнѣваешься? твое горе—горе и для меня! Но вѣрь мнѣ, никто тебя у насъ не потревожитъ и не смутитъ; будешь жить по своему желанію, не только уединенно, а хоть полной отшельницей. У насъ обширная квартира, въ томъ же домѣ, у ma tante, на Пятницкой, гдѣ мы праздновали свадьбу. Не откажи любящему другу въ неотступной просьбѣ; навѣсти меня, хоть на мѣсяць, ну, на самое короткое время. Дай расцѣловать твои чудные глазки и твои дивные, пышные локоны. Помнишь, какъ мы всѣ убирали ихъ въ пансіонѣ?»— Сама черноглазая брюнетка, Серафима потому, вѣроятно, особенно такъ и цѣнила пышные, бѣлокурые волосы подруги.

Марі въ слезахъ разсталась со вдовой брата и снова отправилась въ Москву, въ надеждѣ пробыть тамъ не болѣе недѣли. Судьба рѣшила иначе.

Въ глубокомъ траурѣ, съ бѣлыми плерёзами, Марі сидѣла въ особой комнатѣ у Серафимы, раздумывая, что надвяхъ, — какъ бы ни просили ее остаться, — она должна возвратиться въ Самару. Къ ней вбѣжала Серафима, вся раскраснѣвшаяся, ликующая, и, схвативъ ее за руку, стала увлекать за собой.

— Что такое?—спросила та, поблѣднѣвъ.

— Иди, иди! — говорила Серафима, таща ее по комнатамъ:—смотри, кто у насъ.

Въ залѣ стоялъ пріѣхавшій изъ арміи Глѣбъ Дугановъ. Онъ тутъ же, при Серафимѣ, сдѣлалъ формальное предложеніе Марі. Залившись слезами, она молча упала на грудь Серафимы.

— Ты мнѣ всегда была родная по сердцу, — сказала ей Серафима:— неужели откажешься быть моею сестрой?

Мари дала слово, но свадьбу, до окончанія траура, онѣ отложили. Послѣ сговора и обрученія Мари уѣхала, съ Дугановыми, въ Горки, имѣніе Серафимы. Полгода прошло въ мучительныхъ ожиданіяхъ. Марі переписывалась съ Глѣбомъ чуть не ежедневно, хотя почту въ Горки изъ Саратова привозили не болѣе раза въ недѣлю, а иногда и того рѣже, и коротала время за клавесиномъ. Она страстно любила произведенія Баха и Генделя, заигрываясь ими иногда до разсвѣта.

Горки были расположены на правомъ, возвышенномъ берегу Волги. Видъ отъ усадьбы на рѣку и ея противоположный, низменный берегъ былъ восхитительный. Вообще дикіе и пустынные берега Волги въ то время здѣсь, ниже Саратова, были уже достаточно населены.

Алексѣй Андреевичъ, отъ природы склонный къ простой, деревенской жизни, усердно принялся за хозяйство. Отецъ Дугановыхъ происходилъ изъ небогатыхъ, мелкопомѣстныхъ дворянъ. Ракитное принадлежало его второй женѣ, матери Глѣба. Алексѣй у нея провелъ свою молодость, помогая ей по хозяйству. Теперь, получивъ за женою большое и разстроенное имѣніе, онъ съ увлеченіемъ отдался сельской, трудовой жизни и постоянно былъ то въ полѣ, то на гумнѣ, то при грузкѣ барокъ хлѣбомъ и лѣсомъ. Серафима видимо тяготилась деревенскою скукой; Марі же, съ своими сердечными волненіями и тоскою по женихѣ, мало ее развлекала.

Видя пріятельницу въ задумчивости и слезахъ, у клавесина, либо склоненною къ окну, выходившему на Волгу, или гдѣ-нибудь въ уединенной аллеѣ сада, съ книгой, которой та не читала, Серафима старалась утѣшить ее.

— Помилуй, Машенька,—говорила она:—не плачь, ободришь; подумай, вѣдь ты, — подожди только, — будешь много счастливѣе меня.

— Чѣмъ же?—спрашивала та, съ удивленіемъ.

— Какъ чѣмъ? Твой женихъ переводится адъютантомъ въ Москву. Ты станешь жить въ свѣтѣ, съ людьми; а здѣсь, въ этомъ глухомъ, медвѣжьемъ углу, — развѣ люди? Только и слышно,—бревна, барки да кули. Это не жизнь, а ссылка... Господи! хоть бы Алексѣю выпало тоже какос-либо мѣсто, хоть бы провалилось это имѣніе! — прибавляла она, прини-

малъ плакать: — но нѣтъ, Алексѣй не хочетъ и слышать о службѣ; говоритъ: надо прежде устроить, спасти отцовское наслѣдіе, тогда думать и объ иномъ. А когда же я опять увижу театръ? Даютъ оперу *Альцесту*, и ее всѣ такъ хвалятъ... А балетъ *Діана и Эндиміонъ*? Въ немъ танцуетъ Анджоинни! Открываются маскарады Локателли... И все это, все не для меня!

Глѣбъ явился. Въ началѣ осени 1769 года отпраздновали его свадьбу съ Маріею. Онъ навѣститилъ съ нею Ракитное, принявъ отъ счастливой, растроганной матери благословеніе и поселился съ женою въ Москвѣ. Старая Дуганова была въ такомъ восторгѣ отъ красивой, приводившей всѣхъ въ умиленіе Маріи, что, въ знакъ особаго своего благоволенія къ сыну, тутъ же укрѣпила за нимъ свой московскій весьма изрядный и помѣстительный домъ на Чистыхъ-прудахъ. Два года незамѣтно пролетѣли для Глѣба и Маріи, въ полномъ, ничѣмъ невозмущаемомъ счастьѣ.

Одно кидалось нѣкоторымъ въ глаза: Глѣбъ не выносилъ, когда его жену кто-либо хвалилъ за миловидность и красоту. — «Красива? вотъ какъ! — говорилъ онъ, блѣднѣя: — ужъ извините... не ожидалъ! это лестъ, и вы лучше обратили бы ваши похвалы на другіе предметы!» — Одного юнаго, свѣтскаго селадона, расточавшаго мадригалы всѣмъ хорошенькимъ женщинамъ, въ томъ числѣ и его женѣ, онъ отвелъ въ сторону, при развѣздѣ съ какого-то бала, и сказалъ ему: «Вы ухаживаете за чужими женами? отлично! — учитесь же заранѣе владѣть шпагой или пистолетомъ... пригодится!..»

Серафима радовалась за Марію и чистосердечно высказывала ей невольную зависть. — «Ты молода, какъ и я, — писала ей она изъ Горокъ: — но ты веселишься, а я прямо въ заточеніи. У насъ обѣихъ — добрые и любящіе мужья; но твой служить въ столицѣ, на виду и, какъ слышно, у всѣхъ въ лестномъ почетѣ, а мой — въ этой вѣчной вознѣ съ мужиками, ссыщниками и барочниками, скоро обрастетъ, кажется, мохомъ. И что изъ того, что у насъ земель, лѣсовъ и всякихъ угодій чуть не съ нѣмецкое герцогство? Дѣла наши такъ плохи. Ахъ, Мама, за что такая напасть? И чѣмъ бы я, кажется, не пожертвовала, чтобы съ какимъ-нибудь бродячимъ, попутнымъ Эоломъ, или на коврѣ-самолетѣ, хоть на недѣльку, передетѣть къ тебѣ, взглянуть на

вась, побывать въ театрѣ—у Шереметевыхъ—или на балу, въ дворянскомъ клубѣ, забывшись, пронестись въ экосезъ или котильонѣ! Голова кружится при одной этой мысли. Недосягаемая радости! Пожалѣй меня, Машенька! И хотѣла бы въ рай, да грѣхи не пускаютъ. У тетки, въ дѣвичествѣ моемъ, собирався все важный, по сухой народъ,— старики играли въ ломберъ и квинтичъ, молодые рѣзались въ фѣро и въ кѣнтру, а на мою страсть къ драмамъ, операмъ и баламъ никто тогда и вниманія не обращалъ».

Въ началѣ второго года замужества Серафимы, Богъ далъ ей дочь, черезъ годъ сына, а еще черезъ годъ и другого. Радуюсь дѣтямъ, она не удерживалась отъ горькихъ жалобъ, что труды мужа нисколько не улучшаютъ ихъ дѣлъ и хозяйства. Рядъ неурожаевъ ввелъ обитателей Горокъ въ чрезмѣрные убытки; повальные падежи уничтожили рабочій скотъ у нихъ и у крестьянъ. Долги росли, а съ ними куча новыхъ неприятностей и хлопотъ.

«Кто всему этому, въ Блокаменной, по слухамъ, чума,— писала золовкѣ Серафима: — а дома — твой бѣдный другъ, что ни годъ, какъ и теперь опять, въ интересномъ положеніи... Нечего сказать, интересно! Дорогая Маша! посуди о моемъ горѣ-злосчастіи и рѣши, выносимо ли все это для человѣческой души?»

Чума наконецъ прекратилась, Маріи снова переѣхала, съ Глѣбомъ, на жительство въ Москву, а къ концу осени 1772 года туда пріѣхали и давно жданные гости изъ Горокъ, — какъ выразился Алексѣй Андреевичъ, — «людей посмотреть и себя показать».

Памятна навсегда Глѣбу и Маріи осталась эта роковая зима.

IV.

Передъ отъѣздомъ изъ Ракитнаго, Маріи еще два раза привелось увидѣть влюбченнаго ею и Пинетъ казака Иванова. Однажды, — случилось это въ ихъ усадьбѣ, — Маріи услышала необычный шумъ и говоръ возлѣ флигеля, гдѣ жилъ приказчикъ и куда въ ту пору, какъ она знала, заѣхалъ, по какому-то дѣлу, становой комиссаръ. Выглянувъ на шумъ въ окно, Маріи увидѣла на крыльцѣ флигеля красноносую и толстую фигуру комиссара, а передъ нимъ двухъ мужиковъ. Комиссаръ, размахивая руками, что-то имъ съ сердцемъ выговаривалъ, а они, безъ шапокъ, низко

ему кланялись, но въ чемъ-то, повидимому, упорно ему не уступали. — «Попомню вамъ, треклятые, все перечту!» — крикнулъ комиссаръ, уходя въ дверь флигеля. Мужики, не надѣвая шапокъ, медленно прошли мимо оконъ дома въ ворота. Одинъ изъ нихъ, пожилой и плотный, шелъ молча, въ раздумьѣ опустивъ длинноусую, коротко-стриженную голову на грудь. Другой, моложе и подвижной, порывисто продолжая что-то доказывать, такъ и метался на ходу и въ горячности билъ себя въ грудь рукою. Марі въ послѣднемъ узнала постояльца Коровки, Иванова.

— Зачѣмъ это мужики приходили къ комиссару?—спросила она приказчика, когда тотъ вечеромъ возвращался съ обычнаго приказа отъ старой барыни.

— Все насчетъ соли,—отвѣтилъ неохотно приказчикъ:— Богъ ихъ разберетъ.

— Да что же это за дѣло?

— Казакъ Коровка, — проговорилъ, озираясь, приказчикъ: — привезъ соль изъ Крыма и намъ вчера часть свалилъ; я расплачивался, а комиссаръ на нихъ и напалъ... Вамъ, говоритъ, Кабанье не уважаетъ начальства; все вы раскольники и воръ на ворѣ, да и ты, говоритъ Коровкѣ, давно у меня въ подозрѣніи, всякихъ бѣглыхъ передерживаешь. — «Какихъ бѣглыхъ?» — спрашиваетъ Коровка. — «А этотъ твой царскій крестникъ!»

— Это онъ о комъ?—спросила Марі.

— Да о постояльцѣ Коровки, Ивановѣ, что ли; онъ выдавалъ себя за крестника, что ли, Петра Перваго. Комиссаръ потребовалъ полъ-воза соли, а тѣ уперлись, особенно ѣздившій съ ними за солью этотъ царскій крестникъ. Ну, извѣстное дѣло, власть; комиссаръ такъ осерчалъ, что чуть ихъ не побилъ.

Марі покачала на это головой и хотѣла передать про этотъ случай свекрови, но забыла.

Недѣли черезъ двѣ послѣ того, въ Кабаньемъ была большая ярмарка. Сюда, по пути въ Бѣлгородъ и Харьковъ, изъ Крыма, съ Дона и Кубани—пригоняли въ то время много рогатаго скота и цѣлые табуны дикихъ, вскормленныхъ на степной волѣ, коней. Глѣбъ, большой охотникъ до лошадей, уговорилъ всѣхъ прокатиться на ярмарку. Онъ, Марі и приказчикъ поѣхали въ коляскѣ, а старуха Дуганова, съ Нинетъ—на любимой своей широкобокой, спокойной долгунѣ.

Пестрая ярмарочная толпа, съ загорѣлыми и оборванными цыганами, узкоглазыми ногайцами и нарядными черкесами, въ разноцвѣтныхъ кафтанахъ, съ кинжалами у пояса, очень заняла Марі. Холщевыя палатки, рогожные навѣсы и ряды воевъ съ разною рухлядью покрывали площадь, близъ церкви. Скотская и конная ярмарки расположились невдали отъ знакомаго Марі одинокаго дуба, у окраины села. Цыгане и татары, продавая коней, всыргивали на нихъ и били ихъ босыми ногами по бокамъ, скача по полю. Старуха Дуганова, Марі и Нинеть накупили разныхъ разностей, шитыхъ яркими узорами полотенець и платковъ, дукатовъ, шерстяныхъ плахтъ и коралловъ, и уже собирались обратно домой. Глѣбъ тѣмъ временемъ сторговалъ и купилъ нѣсколько лошадей, но еще медлил, расхаживая по конскому торгу. Онъ высмотрѣлъ и уже рѣшилъ-было купить еще одного коня. Рыжій, рослый и сухой, съ тонкими ногами и широкою грудью, кабардинскій жеребець приковалъ къ себѣ вниманіе Глѣба. Жеребца продавалъ какой-то приземистый, криволапый ногаецъ съ Молочныхъ-водъ. Глѣбъ подошелъ къ нему и уже взялся было за кошелекъ. Но продавецъ отрицательно покачалъ головою. Дуганова предупредилъ комиссаръ, отсылавшій передъ тѣмъ ногайцу за коня полсотни карббванцевъ.

— Ахъ, Марі, знаешь ли, — сказалъ Глѣбъ женѣ, подходя къ лавкамъ и садясь въ коляску:—поѣдемъ, я покажу тебѣ одну прелесть. Меня предупредили,—я ее утерять; но чтѣ это за диво! Съ виду не казистъ, а увѣряютъ, представъ, скачетъ въ сутки, безъ корму и воды, по сто верстъ. Вотъ бы для охоты...

Дугановы вернулись къ конской ярмаркѣ. Уже вечерѣло. Торгъ кончался. Глѣбъ изъ коляски указалъ Марі на осѣдланнаго старымъ потертымъ сѣдломъ, кровнаго скакуна, котораго ногаецъ держалъ передъ комиссаромъ подъ уздцы. Цыгане, крупные и мелкіе барышники, и куча мужиковъ, окруживъ покушника и продавца, слѣдили за исходомъ состоявшейся сдѣлки. Между ними Марі узнала казака Иванова. Послѣдній подошелъ къ коляскѣ.

— Не упускайте, валье благородіе, перебейте коня,—сказалъ Глѣбу Ивановъ:—жалко,—ваша сударыня мнѣ помогла, такая добрая...

— «Кто это?»—спросилъ жену по-французски Глѣбъ.

— «Послѣ скажу»,—отвѣтила ему, смутясь, Марі.

— Будешь, бачка, помнѣть, будешь! птица, не конь!—твердилъ, между тѣмъ, ногаецъ, глядя то на Глѣба, то на комиссара и пересыпая похвалы коню непонятными, гор-танними возгласами.

— Такъ и объѣзженный? — спросилъ комиссаръ, берясь за конелекъ:—не врешь?

— Убей Богъ, князь! изъ руки ѣсть, не конь, малое дитя!—клялся, бросая шапку ђ-земь, ногаецъ.

— А дай-ка я испробую... были когда-то сами въ гу-сарахъ...

— Садись, князь, садись.

Ногаецъ, поглаживая и холя фыркавшаго жеребца, при-держалъ его. Комиссаръ, подтянувшись и подбодрясь, по-дошелъ къ коню, ухватился за его гриву, вложилъ ногу въ стремя и навалился на сѣдло. Жеребецъ шарахнулся, подъ необычною тяжестью, взвился на дыбы, и всадникъ, съ розмаха, шлепнулся, по другой бокъ его, ђ-земь. Толпа не выдержала и громко расхохоталась. Въ числѣ смѣяв-шихся, комиссару бросилось въ глаза лицо постояльца Коровки.

— А, царскій крестникъ! и ты тутъ?—сказалъ, прихра-мывая и со злобой озираясь, комиссаръ:—привяжи-ка своего коня,—объявилъ онъ ногайцу:—а я вотъ съ нимъ поговорю.

Ногаецъ отвелъ жеребца въ сторону, привязалъ его къ дубу и, чую грозу, спрятался за толпой.

— Теперь очередь за тобой, — обратился комиссаръ къ Иванову:—ну-ка, бродяга, подойди, сказывай, какіе цари тебя крестили?

— Напрасно обижаете бѣднаго человѣка,—отвѣтилъ, съ поклономъ, Ивановъ, не двигаясь съ мѣста и надѣвая, тѣмъ временемъ, въ рукава зипунъ, бывший на немъ въ накидку:—извѣстно, чѣмъ мы тебѣ не любы стали...

— Чтѣ-о?—произнесъ, напирая на него, комиссаръ:—о чемъ намекаешь? говори!

— Соли тебѣ не дали, вотъ чтѣ! — громко проговорилъ побѣлѣвшими губами казакъ:—ваше благородіе, господинъ Дугановъ! вы здѣшній, хотя не живете здѣсь, помѣщикъ... защитите...

Комиссаръ побагровѣлъ и нѣсколько мгновеній не могъ выговорить ни слова.

— Слышали?—спросилъ онъ, не глядя на Глѣба и обращаясь къ толпѣ.

Всѣ молчали.

— Сотскіе, сторожа! вяжи его!—крикнулъ комиссаръ.

Народъ дрогнулъ, но не двинулся. Смѣлый казакъ спокойно и свободно стоялъ противъ растерявшагося комиссара; только уголь его виска, съ небольшимъ шрамомъ у лѣваго глаза, судорожно вздрагивалъ.

— Да что же вы, разбойники, стоите? — еще громче крикнулъ комиссаръ:—оскорбленіе власти и чина! кто мнѣ воспретитъ? крути ему руки, бей его, въ мою голову!

Изъ толпы выдвинулось нѣсколько человѣкъ, за ними другіе. Нѣкоторые уже коснулись—было казака. Онъ быстро нагнулся, отскочилъ, какъ кошка, и, какъ бы ища чего-то на землѣ, присѣлъ на корточки. Теперь, казалось, легко было окружить его и связать. Глѣбу и Марію изъ коляски было видно, какъ дѣйствительно передніе изъ народа навалились на него и смяли его. — «Пропалъ бѣдный», — мыслила Марія. — «Задастъ ему, однако, комиссаръ», — подумалъ Глѣбъ. И вдругъ казакъ высвободился изъ толпы. Его зипунъ былъ разорванъ, шапка свалилась съ головы. Въ рукахъ у него что-то сверкнуло... Выхвативъ ножъ изъ-за голенища, онъ взмахнулъ имъ направо и налево, разчистилъ передъ собою дорогу и бросился въ сторону.

Не успѣли нападавшіе на него опомниться, онъ подбѣжалъ къ дубу, обрубилъ поводъ купленнаго комиссаромъ коня, вспрыгнулъ на него и, продолжая размахивать ножомъ, безъ шапки, со включенными волосами, поскакалъ въ поле, къ ближайшему лѣсу.

— Лови, держи его! сто карбѣванцевъ тому, кто поймаетъ! — кричалъ комиссаръ, слѣша за толпою, гнавшуюся за бѣглецомъ.

Въ чайникъ заработка, поскакали въ поле и нѣкоторые всадники изъ ногайцевъ и цыганъ. Но было уже поздно. Окрестность стемнѣла. Рыжаго жеребца не догнали; бѣглець безслѣдно исчезъ. На утро въ Кабаньемъ не нашли и казака Коровки. Онъ также куда-то скрылся.

— Да кто вашъ постоялецъ?—допрашивали власти его жену.

— А Богъ его знаетъ! — звался казакъ Емельянъ Ивановъ, съ Дону, возилъ съ мужемъ соль, а куда дѣлся, развѣ я знаю?

Пріѣхавъ въ Москву, Серафима съ мужемъ, по приглашенію Глѣба и Маріи, охотно поселились у нихъ въ мезонинѣ, гдѣ Глѣбомъ очень уютно и мило было отдѣлано для нихъ нѣсколько просторныхъ комнатъ. — «Напѣть дорогой, домашній улей имъ понравился! — говорилъ Глѣбъ женѣ о гостяхъ: — какіе они оба милые!»

Маріи, впрочемъ, не узнала Серафимы, — такъ послѣдняя измѣнилась за время ихъ разлуки, сильно какъ-то опустилась, похудѣла и, лишившись своей прежней оживленности и подвижности, даже какъ будто постарѣла. Маріи удивлялась, что Серафима постоянно сидѣла у оконъ, какъ чистая провинціалка, никогда не видѣвшая столицы, глядя на улицу, на движеніе экипажей и пѣшеходовъ и безконечную городскую толкотню. Отставшій ли отъ своенравной моды нарядъ такъ измѣнилъ Серафиму, или она одичала отъ долгой разлуки съ обществомъ равныхъ ей по рожденію и воспитанію людей, только она, съ первой же встрѣчи съ золовкой, показалась ей до того жалкою и убитою, что Маріи, глядя на нее, едва удерживалась отъ слезъ. На ея замѣчанія объ этомъ мужу, онъ, цѣлуя ее, только улыбался.

— Пустое, — говорилъ онъ: — ты ее знаешь; она добрая, но у нея все легко и не глубоко. Это дитя минуты. Снова повѣсть на нее вѣтерокъ нашихъ увеселеній, и она оправится, оживетъ. Вотъ ихъ финансы — другое дѣло; тѣмъ уже врядъ ли когда-нибудь поправиться, — совсѣмъ испорчены... Кстати, въ Головинскомъ театрѣ идутъ *Бригадиръ* и балетъ *Китайцы въ Европѣ*, у Титовыхъ — комедія *Indiscret*, у Брамбиллы — забавныя арлекниады. Похлопочи вездѣ записаться впередъ и достать мѣста. У Мамоновыхъ, на той недѣлѣ, балъ; Вязмитиновы о томъ же извѣщаютъ. Увидишь, излѣчишь гостью такъ, что и не спохватишься... Одно неладно, у нихъ вообще на Волгѣ не совсѣмъ спокойно.

— Что же такое? — спросила Маріи.

— Ничего пока серьезнаго. Но князь получилъ извѣстія и держитъ ихъ въ секретѣ... На Янкѣ взбунтовались казаки, убили начальника-генерала, и туда послали войско и новаго командира. Несомнѣнно, будутъ экзекуціи, — но что скверно, — пушено много нехорошихъ и злыхъ толковъ... Среди волжской слѣпой черни нашелся самозванецъ, какой-то казакъ Богомолвъ. Онъ объявилъ себя императоромъ, Петромъ Третьимъ, и, хотя его поймали въ Царицынѣ,

наказали и сослали, но вообще, повторяю, на Волгѣ, въ ихъ краяхъ, очень неспокойно и ожидаются новыя смуты.

Алексѣй уже зналъ отъ брата объ этихъ вѣстияхъ, но не обратилъ на нихъ особеннаго вниманія. Его сильно заботило устройство денежныхъ дѣлъ по Горкамъ, изъ-за которыхъ онъ, съ женою, собственно и пріѣхалъ въ Москву. Для спасенія Горокъ отъ продажи за долги съ публичныхъ торговъ, братья стали искать, подъ залогъ этого имѣнія, большой суммы денегъ. Сперва они думали прибѣгнуть къ займу, въ такъ-называвшемся, тогдашнемъ «двадцатилѣтнемъ банкѣ», гдѣ долги взносами погашались въ двадцать лѣтъ, но потомъ рѣшили обратиться къ частному кредиту. Съ утра до вечера, у нихъ внизу и наверху появлялись разнаго рода комиссіонеры и повѣренные столичныхъ капиталистовъ, банкировъ и купцовъ. Алексѣй и Глѣбъ записались съ ними, по часамъ, судили-рядили, но, въ виду предлагаемыхъ тяжелыхъ условій, какъ примѣчала Марі, долгое время теряли всякую надежду устроить не только выгодный, а хотя бы мало-мальски подходящій и сносный заемъ. Крутыя въ ту пору, послѣ недавней чумы, были времена для баръ, навѣщавшихъ Москву. Алексѣй, еще пропитанный запахомъ деревни и ея заботъ, почти не сходилъ съ мезонина, провѣрялъ деревенскіе счета, писалъ приказанія управляющему, составлялъ и самъ рисовалъ планы построекъ, клеилъ дѣтямъ изъ картона игрушки и дѣлалъ модель какого-то новаго, особенно удобнаго улья для пчель. — «Дѣлаю улей, пишу образцовъ, — сказалъ какъ-то при этомъ Алексѣй Глѣбу и Марі: — а что лучше? взять бы примѣръ, прямо съ вашего дома; ужъ вотъ настоящій, благодатный улей, — всѣ заняты, всѣ счастливы и полны довольствомъ».

V.

Поразмысливъ, Марі, съ согласія Глѣба, рѣшила заняться, между тѣмъ, костюмомъ Серафимы. Она и ея мужъ пріѣхали, какъ говорится, безъ гроша. Марі изъ щедраго подарка свекрови на зубокъ Васи (старой объемистой братины, полной червонцевъ), отдѣлила значительную долю и предложила свои услуги дорогой гостьѣ. Серафима обрадовалась этому до слезъ. Марі съ нею объѣхала Гостиный дворъ и лавки Кузнецкаго-моста, накупила разныхъ восхитительныхъ матерій и отдѣлки къ нимъ и отправилась въ

швейный магазинъ знаменитой французской мастерицы, Коллѣнъ. И когда, спустя недѣлю, къ Дугановымъ на Чистые-пруды, съ кучею коробокъ и бауловъ, явилась сама сѣдовласая, румяная и съ усиками, мадамъ Коллѣнъ, когда ее провели на вышку къ Серафимѣ и оттуда, черезъ часъ, она торжественно сошла, со своею заказчицей, — Марі не узнала Серафимы.

Темно-пунцовое, перувѣневое, шелковое платье, съ бусовыми прошивами, такъ шло къ ея чернымъ волосамъ и чернымъ глазамъ, а крохотные банмачки, на высокихъ выгибныхъ каблукахъ, съ розовыми чулками, такъ мило выказывали красоту ея стройныхъ, маленькихъ ножекъ, что Марі бросилась цѣловать ее отъ души, а гордая своимъ успѣхомъ мадамъ Коллѣнъ даже прослезилась. Послѣ платьевъ, Марі занялась прической Серафимы. Небрежно, безъ пудры, по-деревенски, зачесанныя на гребень кѣсы замѣнились модною куафюрой. Мосье Шарль, съ Кузнецкаго-моста, въ первый же выѣздъ Серафимы на вечеръ, соорудилъ изъ ея волосъ и цвѣтовъ какъ бы корзину, или роскошный букетъ, среди котораго, на тонкихъ стебляхъ, качались крохотные колибри и мотыльки.

Марі съ Серафимой поѣхала къ Вязмитиновымъ, Архаровымъ, Смирновымъ и къ другимъ знакомымъ. Вездѣ Серафиму принимали радушно. Не прошло и мѣсяца, она, вновь освоясь съ столичными забавами, такъ оживилась, что уже плавала въ нихъ, какъ рѣзвая, золотопѣрая рыбка въ привольной и свѣтлой водѣ, а затѣмъ, убѣдивъ также пріодѣться по модѣ и своего мужа, окончательно преобразилась. Алексѣй Андреевичъ, тѣмъ временемъ, кстати, у нѣкоего куша Прядышева успѣлъ достать, на короткій срокъ, изрядную сумму денегъ, причемъ этотъ же самый купецъ велъ съ нимъ послѣдніе переговоры и о ссудѣ, подъ залогъ Горокъ, болѣе крупнаго куша.

Серафима, день-денской, и безъ Марі, стала разъѣзжать съ визитами, бывать съ мужемъ, а въ виду его занятій— и одна, въ оперѣ, комедіяхъ, концертахъ и у общихъ знакомыхъ. Марі сперва даже нѣсколько смутилась этими чрезмѣрными увлеченіями, но потомъ подумала: «Богъ съ нею; пусть веселится, пока молода! уѣдетъ къ веснѣ въ имѣніе, снова запрется и затоскуетъ въ глуши. Ея дѣти— въ деревнѣ, съ разумною, опытною няней; ихъ навѣщаютъ

преданный имъ, давній ихъ сосѣдь-помѣщикъ и, дастъ Богъ, все у нихъ будетъ благополучно». Вышло, однако, иначе.

Въ числѣ московскихъ гостей, наѣзжавшихъ издавна Глѣба и Маріи, былъ тоже ихъ давній знакомецъ, московскій медикъ, Семенъ Захаровичъ Спесивцевъ. Это былъ оригинальный и во многомъ забавный человѣкъ. Онъ, собственно, только по званію, числился врачомъ и, хотя успѣшно прослушалъ курсъ медицины въ московскомъ университетѣ, у профессоровъ Эразмуса и Зыбслена, но съ выхода изъ университета не только почти не занимался практикой, а даже открыто высказывался противъ всѣхъ на свѣтѣ докторовъ и ихъ, какъ обыкновенно выражался, вреднаго ремесла.

Спесивцевъ былъ искренній и отъявленный врагъ медицины. Онъ всѣхъ врачей, чуть не въ глаза, называлъ шарлатанами и, сплошь отвергая все аптечныя средства, вѣрилъ въ одно,—въ силу природы—*vis medicatrix naturae*, и, какъ исключеніе, какъ нѣкоторое, всѣмъ доступное ей пособіе, допускалъ только старинныя, простонародныя средства,—травы, растиранія и баню.

— Идите не ко мнѣ, не къ медикамъ, — говорилъ онъ удивлявшимся больнымъ: — зовите простую бабу, знахарку какую-нибудь, или шептуна. Они, если васъ и не вылѣчатъ, зато ужъ никакого ущерба вамъ не причинятъ.

Старуха Дуганова, сама занимавшаяся простою и немудрою сельскою медициной, особенно высоко цѣнила достоинства этого чудака. Онъ посѣщалъ ее въ ся пріѣзды въ Москву, черезъ нее познакомился съ Глѣбомъ и, когда пришло время родовъ Маріи, былъ вызванъ въ Ракитное, гдѣ и пробылъ мѣсяца полтора, балагуря съ утра до ночи и всѣхъ потѣшая своими выходками, пока все «само-собою», какъ онъ это объяснялъ, кончилось благополучно. Никто не зналъ ни прошлаго, ни средствъ Спесивцева. Считали его за человѣка обезпеченнаго; говорили, что онъ, нѣсколько лѣтъ назадъ, много путешествовалъ по Европѣ и былъ въ Иерусалимѣ. Самъ онъ, съ виду лѣнивый и мѣшковатый, въ веснушкахъ и дѣтски-румяный, любилъ подчасъ разсказывать о своихъ странствованіяхъ, мало изъ видѣннаго хвалилъ и болѣе всего порицалъ пресловутую, по его мнѣнію, европейскую медицину, причемъ отдавалъ нѣкоторое уваженіе только немногимъ врачамъ, изъ такъ называемыхъ «виталистовъ», подобно ему, возлагавшихъ спасеніе больныхъ

на однѣ ихъ собственные, жизненные силы.—«Я никуда не похужу, отжилъ свое!» — твердилъ онъ, увѣряя, что нигдѣ не бываетъ, и между тѣмъ не могъ жить безъ общества. Перешагнувъ уже за тридцать лѣтъ, онъ, по его словамъ, рѣшился остаться холостякомъ, единственно будто бы потому, что отъ одной изъ красивыхъ и милыхъ невѣстъ, за которыхъ онъ было, въ молодости, думалъ свататься, пахло вѣнскими каплями, а отъ другой—жизненнымъ элексиромъ Парацельза.

— Но, можетъ-быть, у вашихъ красавицъ болѣли зубы или давило подъ ложечкой? — спросила, подсмѣиваясь надъ нимъ, старая Дуганова.

— То ли было, или другое, — отвѣчалъ Спесивцевъ:— только я бѣжалъ отъ нихъ и съ тѣхъ поръ, какъ видите, холостъ и одинокъ.

Злые языки иначе объясняли холостую жизнь доктора и его нападки на медицину. Увѣряли, будто по выходѣ изъ университета, гдѣ-то путешествуя, онъ страстно полюбилъ одну замужнюю женщину и, когда она чѣмъ-то сильно заболѣла, онъ сталъ ее лѣчить, но сдѣлалъ роковой промахъ: больная, послѣ пріема его лѣкарствъ, скоропостижно скончалась. Этихъ слуховъ никто, впрочемъ, не провѣрялъ.

Глѣбъ и Алексѣй охотно вели знакомство съ Спесивцевымъ. Онъ являлся къ нимъ всегда такимъ добродушнымъ и безъ затѣй. замѣчали его — онъ, пыхтя, разговаривалъ, не замѣчали — по цѣлымъ часамъ сидѣлъ, съ трубкой, въ кабинетѣ, читая книгу, либо устремивъ разсѣянные, полусонные глаза въ пространство и въ раздумьѣ ероша свою курчавую, перѣдко совершенно растрепанную голову. Братья любили вызвать его на разговоръ и поспорить съ нимъ вечеромъ за чаемъ. Марі съ Серафимой также охотно слушали его рѣзказни о новостяхъ и объ общихъ своихъ знакомыхъ. Не выносила его одна Нинетъ Ладыженцева, тоже тогда гостившая у Марі. Ея споры съ Спесивцевымъ усилились особенно съ того времени, какъ въ Москвѣ распространились слухи о бунтѣ и о наказаніи мятежниковъ въ Яицкомъ-городкѣ. Всегда чувствительная и склонная къ гонимымъ и несчастнымъ, Нинетъ всѣхъ увѣряла, что виноваты не яицкіе, смиренные и добрые по природѣ казаки, а ихъ начальство; докторъ же, осуждая злодѣяства изверговъ-бунтовщиковъ, убившихъ ни въ чемъ неповиннаго го-

нерала, своего командира, доказывалъ, что казаки просто злые и кровожадные звѣри и что, если ихъ не укротятъ, далѣе будетъ хуже.—«Вѣдь, отрѣзываютъ же ваши медики члены, пораженные гангреной, — говорилъ онъ:— и медики тутъ, пожалуй, правы; а это развѣ не гангрена?»

Однажды, какъ впоследствии вспоминала Марі, вскорѣ по пріѣздѣ въ Москву Алексѣя и его жены, Серафима была съ Соймоновыми, въ ихъ ложѣ, въ оперѣ *Семира и Азоръ*. Оставшіеся дома Глѣбъ и Алексѣй, послѣ дневныхъ разѣздовъ и хлопотъ, сидѣли въ столовой. Марі, разливая имъ чай, работала здѣсь же въ палъцахъ. Подъѣхалъ Спѣсивцевъ. Усѣвшись, по обыкновенію, своею плотною, мѣшкова-тою фигурой поглубже въ кресло, онъ сообщилъ, что смуты отъ Яицка перешли и на Волгу и что, хотя казакъ Богомоловъ, объявившій себя въ Поволжѣ императоромъ Петромъ Третьимъ, пойманъ и, сосланный въ Сибирь, на дорогѣ умеръ, народъ не вѣритъ этому и снова ждетъ его появленія.

— Не доставало еще этого!—сказалъ Спесивцевъ:—былъ у насъ самозванецъ-царь изъ шляхтичей, теперь пророчать царя-мужика.

— Ну, вы уже слишкомъ, — замѣтилъ, поморщившись, Глѣбъ, вообще не любившій у себя политическихъ разговоровъ:—не хотите ли чаю? вы устали?

— Вы желаете замять разговоръ? — вздохнулъ Спесивцевъ: — извольте; не будемъ вывѣдывать вашихъ тайнъ! Спрашиваете, не усталъ ли я? Неужели вы думаете, что врачи безъ практики только и дѣлаютъ, что лежать на боку, да созерцаютъ собственное достоинство?

— А чѣмъ же имъ еще заниматься? — спросилъ, ближе придвигаясь къ столу, Алексѣй.

Марі налила и подала доктору стаканъ чаю.

— Помилуйте, господа, — произнесъ съ важностью Спесивцевъ:—да у насъ, могу васъ увѣрить, болѣе дѣла, чѣмъ у любой вашей врачебной знаменитости, прописывающей рецепты для облегченія смертнымъ отправиться на тотъ свѣтъ. Я, напримѣръ, сегодня хоть и былъ огорченъ слухами о Волгѣ, бѣгалъ по всему городу для вразумленія одной сердечно-больной...

— Это любопытно, — произнесъ Глѣбъ: — въ чемъ же ея болѣзнь? утолщеніе сердечной перепонки, что ли?

— Ничуть,—отвѣтили Снесивцевъ:—милая бабенка просто вздумала тониться.

— По какой причинѣ?

— Предметъ ея страсти — женатый человекъ, а у его жены,—какъ бы вамъ точнѣе выразиться?—морское, семи-мильное зрѣніе. Она все выслѣдила, разгадала и теперь не спускаетъ своего шалуна ни на минуту съ глазъ.

— Ну, и что же съ этою вашею пациенткой?—спросилъ Глѣбъ.

— Сегодня утромъ, извѣщенный ея сестрой, я захватилъ ее у проруби, на Музѣ, а вотъ только-что вечеромъ едва догналъ ее, на извозчикѣ, у Дорогомиловскаго моста и буквально всю измокшую вытащилъ изъ тамошней портомойни. Опоздай я на минуту, пошла бы ко дну.

— Какъ же вы узнали о второмъ покушеніи?

— Извѣстилъ сердобольный мужъ утопленницы, спокойно, между тѣмъ, измѣнившій своей женѣ.

— Да вы, извините, сочиняете,—сказалъ Глѣбъ:—что-то невѣроятно; вы ужъ очень великодушно и такъ все кстатъ посылаете для спасенія своей героини.

— Ничуть, Глѣбъ Андреевичъ, ей-ей! —отвѣтилъ Снесивцевъ:—и потому собственно и поспѣваю, что, въ качествѣ врача безъ практики, занимаюсь настоящимъ дѣломъ, то-есть бью баклуши... И ничего тутъ великодушнаго нѣтъ; вѣдь я, въ нѣкоторомъ родѣ, даже зло поступилъ,—возвратилъ несчастную жертву измѣннику-мужу... Великодушіе, доброта! А знаете ли, Нина Александровна, — обратился докторъ къ Нинѣтъ:—ваши добрые яцкіе казаки, по послѣднимъ слухамъ, предавалъ смерти своихъ начальниковъ, не только вѣшали ихъ внизъ головой и вбивали имъ въ голову гвозди, но еще рубили имъ ноги и руки и, въ такомъ видѣ, истекающихъ кровью, пускали ползать, для забавы толпы... это ли не доброта? Да здравствуетъ великодушный русскій народъ!

Нинѣтъ молча встала со стула и, уходя, такъ сердито двинула имъ, что пудра посыпалась съ ея волосъ и съ покрывшагося румянцемъ лица.

VI.

Всѣ размѣялись. Разговоръ коснулся вообще женщинъ, ихъ характеровъ и любви къ мужчинамъ, и перешелъ къ такъ называемой супружеской измѣнѣ. Снесивцевъ попро-

силъ еще стаканъ чаю, налилъ въ него сливокъ и, съ позволенія Маріи, закурилъ трубку. Глѣбъ и Алексѣй курили рѣдко.

— А въ самомъ дѣлѣ, господа, — сказали докторъ, обратясь къ Глѣбу и къ Алексѣю: — какъ вы смотрите на измѣну?

— Кого? — спросилъ Алексѣй.

— Разумѣется, жены, — отвѣтилъ Спесивцевъ: — это для вашихъ братій, женатыхъ, интереснѣе, ближе.

— Вопросъ щекотливый, — произнесъ Алексѣй.

— Пустое толченіе воды, — прибавилъ, нахмурился, Глѣбъ.

— Однакоже, скажите вамъ мнѣніе, — обратился докторъ къ Глѣбу: — хотя бы для подтвержденія того, что это, по-вашему, пустяки.

— Разумѣется, — отвѣтилъ Глѣбъ: — кто же изъ-за этого полѣзетъ на стѣну? Дѣло пустое, хоть и ужасное, и вотъ почему...

Онъ помолчалъ съ секунду и, не глядя на жену, спокойно облокотился о столъ. Сердце Маріи невольно забилося.

«Что-то онъ скажетъ?» — мыслила она.

— Если бы моя жена мнѣ измѣнила, — произнесъ съ разстановкою Глѣбъ: — я, безъ сомнѣнія...

— Ну, ужъ увольъ меня-то хоть слушать ваши признанія, — перебила Маріи, вспыхнувъ и съ сердцемъ отодвигая пальцы.

— Нѣтъ, ради Бога, оставайтесь, — обратился къ невѣсткѣ Алексѣй.

Глѣбъ, съ улыбкой, придержалъ Марію за руку.

— Если бы мнѣ измѣнила моя жена, — сказалъ онъ спокойно: — я объ этомъ, разумѣется, никогда не помышлялъ... но, если бы это случилось, — полагаю и даже убѣжденъ, — что я на это взглянулъ бы какъ на Божью кару, и безропотно покорился бы ей.

Слезы негодованія кипѣли въ горлѣ Маріи. Она готова была осыпать мужа укоризнами, жестокою бранью, и молчала, слѣдя за его, какъ ей показалось, не искреннимъ и лукавымъ лицомъ.

— И мнѣ думается, — продолжалъ Глѣбъ, не глядя на жену: — что тутъ, въ такой бѣдѣ, не правда ли, все уже непоправимо. Чужой души не осилишь. Чувства и совѣсть свободны. Полагаю, что я простилъ бы виновницъ и, неся тяжкій крестъ, желалъ бы ей одного — счастья съ другимъ.

— Ну, ужъ это... ну, ужъ извини, — сорвавшимся, злымъ

голосомъ, крикнулъ Алексѣй: — все это, братецъ, вздоръ, оскорбительный бредъ у тебя—и только!

Всѣ удивленно взглянули на Алексѣя. Онъ сидѣлъ блѣдный, судорожно постукивая по столу костянымъ десертнымъ ножикомъ, и, сердито отдуваясь, растерянно смотрѣлъ на всѣхъ широко-раскрытыми глазами.

— Не согласны?—проговорилъ онъ, привставъ и какъ-то криво улыбаясь:—о, разумеется, я не пѣлъ бы оцианальнымъ соловьемъ! Не пошелъ бы на такія нѣжныя и унизительныя тонкости! Скажу прямо... Убѣдись въ измѣнѣ, я выслѣдилъ бы виновныхъ и спряталъ бы въ рукахъ увѣсистый желѣзный ломъ.

— И затѣмъ?—спросилъ, глядя на него, Глѣбъ.

— А ужъ извѣстно, чтò... уложилъ бы на мѣстѣ измѣнницу и ея счастливаго соблазнителя! — глухо выговорилъ Алексѣй, такъ сказавъ при этомъ въ рукахъ ножикъ, что тотъ хрустнулъ пополамъ.

— Да какой же вы азіать, право, трехбунчужный паша!—сказалъ, съ усмѣшкой, Слесивцевъ:—и вамъ не жаль? Двойное убійство!

— А ужъ какъ тамъ хотите! — рѣзко отвѣтилъ, все еще волнуясь, Алексѣй:—нашъ родъ не изъ податливыхъ; одинъ нашъ предокъ, слыхалъ я въ дѣтствѣ, подъ пьяную руку, не то засѣкъ, не то замуровалъ въ стѣну живую, невѣрную жену.

Глѣбъ также нахмурился.

— Не помню я что-то такой легенды о нашихъ предкахъ, — сухо сказалъ онъ: — впрочемъ, ты старше меня и всегда отличался сильною памятью... или это, можетъ-быть, предокъ со стороны твоей матери?

Алексѣй, ничего не отвѣтивъ на это, прошелся по комнатѣ. Его лицо омрачилось, губы судорожно вздрагивали.

Съ искреннимъ сочувствіемъ взглянувъ на него, Марія незамѣтно оставила столовую, добрела до спальни и, горячо рыдая, упала въ подушку лицомъ. Кто-то тихо вошелъ въ комнату, нагнулся надъ нею. Она почувствовала нѣжное прикосновеніе Глѣба. Онъ цѣловалъ ей голову, плечи.

— Прости меня, Маша, я обидѣлъ тебя,—говорилъ онъ, ставъ у ея изголовья на колѣни:—то была шутка, вздорная, дружеская болтовня... ну, сорвалось! Я хотѣлъ просто подзадорить ревнивца-брата...

— Ахъ, оставь меня, недобрый, оставь!—отвѣтила Марі, въ слезахъ, отстраняя его:—развѣ шутятъ такъ безошадно и зло? и развѣ я... твоя жена... могла бы когда-нибудь...

Размолвка Марі съ мужемъ длилась недолго. Марі старалась забыть о ней, хотя происшедшее оставило въ ея душѣ какое-то смутное, ей самой непонятное ощущеніе, родъ гнетущаго предчувствія.

Близилась масляная недѣля, а съ нею увеличивались городскія удовольствія. Сдѣлка о лѣсѣ съ купцомъ Прядышевымъ также подходила къ счастливому концу. Въ началѣ поста, Алексѣй и Серафима располагали возвратиться въ деревню. Слухи изъ-за Волги стали спокойнѣе. Посланный на Яикъ новый начальникъ, по свѣдѣніямъ канцеляріи главнокомандующаго, окончательно усмирилъ бунтовщиковъ. — «Яицкая чума вырвана съ корнемъ, какъ и наша въ Москвѣ!» — сказалъ на одномъ изъ своихъ раутовъ князь Волконскій, укротитель московской чумы. Всѣ повторяли эти слова. Москва веселилась въ эту зиму, какъ никогда. Въ ней тогда считалось до пятнадцати театровъ и до десяти тысячъ музыкантовъ.

На масляной у Сѣмоновыхъ ожидались маскарадъ и домашній спектакль. Говорили, что здѣсь готовятъ новую парижскую оперетту *Rosière de Salency* и веселый водевиль *Les moeurs du temps*. У Сѣмоновыхъ, въ то время, собиралось разнообразное и веселое общество, высшій свѣтъ и нѣкоторая доля средняго, богатаго московскаго круга, а главное — много молодежи. Хозяева незадолго передъ тѣмъ возвратились изъ-за границы, упоенные Парижемъ и его модами. То и дѣло въ Москвѣ говорили о ихъ вечерахъ, многочисленныхъ кавалькадахъ, катаньяхъ и шумныхъ пикникахъ. Серафима давно мечтала объ этихъ удовольствіяхъ и вотъ — ее не только пригласили на этотъ вечеръ, но и предложили ей взять на себя роль въ опереттѣ. У нея, еще въ пансіонѣ, былъ хорошій голосъ, и она очень мило и бойко могла сгѣть предложенную ей каватину и участвовать въ дуэтѣ.

Въ числѣ другихъ любителей-артистовъ сѣмоновскаго спектакля были: гостившій въ Москвѣ, какой-то раненый морякъ и Федоръ Прядышевъ, молодой сынъ купца, съ которымъ Алексѣй велъ переговоры о займѣ. Серафима при-

пяла предложенную ей роль и трепетала, въ ожиданіи назначеннаго вечера. Благодаря Марі, уприсившей мужа, знакомый Глѣбу поставщикъ Шереметевскаго театра, Имберхъ, подрядился снабдить Серафиму костюмами для роли, а каватину и свою роль въ дуэтѣ она стала репетировать у знаменитаго Комиасси.

Дамскій кругъ Дугановыхъ только и говорилъ объ этомъ, предстоящемъ вечерѣ, со всѣхъ сторонъ разбирая приглашенныхъ пѣвцовъ. Раненый морякъ пѣлъ весьма хорошо, но былъ мѣшковатъ и въ обществѣ застѣнчивъ. Теодоръ Прядышевъ или Теодоръ, какъ его вездѣ звали, хотя былъ слабъ въ пѣніи, но зато представлялъ изъ себя, какъ говорятъ, вполне интереснаго и милаго молодого человѣка. Его отецъ, имѣвшій на Уралѣ золотые пріиски, а подь Москвою, за Рогожскою заставой, мѣдно-котельный заводъ, гдѣ изстари отливались колокола, былъ крутого права купецъ, изъ старообрядцевъ. Все его состояніе принадлежало женѣ, у отца которой онъ въ молодые годы служилъ простымъ приказчикомъ. Разбогатѣвъ женитьбой и увеличивъ заводское производство, онъ ни въ чемъ не прекословилъ женѣ, а та души не чаяла въ ихъ единственномъ сынѣ. Благодаря ея капризу и совѣтамъ Соймоновыхъ, съ которыми Прядышевъ имѣлъ денежные дѣла, Теодоръ, крестникъ Соймонова, учился нѣкоторое время у гувернера-француза, потомъ проходилъ науки въ одномъ изъ модныхъ московскихъ пансіоновъ и, наконецъ, съ семействомъ крестнаго отца, провелъ два года за границей, откуда, къ изумленію старика Прядышева и къ неописанной радости его жены, возвратился истиннымъ петі-мѣтромъ: во французскомъ, бархатномъ кафтанѣ, въ балмакахъ, съ серебряными пряжками и съ напудренною косою. Любуясь нарядомъ и цвѣтущею наружностью Феи, старуха Прядышева, тайно отъ мужа, щедро снабжала сына деньгами и, довольная тѣмъ, что Фея, возвратившись изъ заморскихъ краёвъ, водился не только съ сыновьями первыхъ богачей изъ купцовъ, но и съ высшею, знатною молодежью столицы, сквозь пальцы смотрѣла на его удалыя похождения и подчасъ громкіе кутежи. — «Смотри, Аграфена, попадется Федька, — говорилъ ей иногда мужъ: — не поглядитъ тогда начальство, что мы съ тобой первой гильдіи, живемъ въ эдакихъ хоромахъ и ходимъ въ соболяхъ, забрѣютъ окаянному лобъ!» — «Э,

Савва Ильичъ, — отвѣчала на это, позѣвывая и крестясь, жена:—молодо вино, перебродить; не киснуть ему этакъ-то, на печи»...

У Сѳймоновыхъ и въ домахъ другихъ баръ Теодоръ былъ принятъ, какъ толковали, не столько изъ приязни къ нему самому, сколько изъ почтенія къ сундуку его папани. Старый крѣпышъ Прядышевъ, пуская подъ шумокъ крупную часть доходовъ за большіе проценты, охотно ссужалъ деньгами разныхъ баръ. Но въ то время, какъ дикообразный и стриженный въ скобку старикъ Прядышевъ ходилъ въ длиннополомъ кафтанѣ и въ сапогахъ выше колѣнъ, румяный и стройный Теодоръ постоянно одѣвался, какъ куколка, — то въ синемъ демократическомъ сюртукѣ, то во фракѣ, съ круглою шляпой, тростью и часами, завитой, какъ пасхальный барашекъ, и съ огромнымъ золотымъ лорнетомъ. Въ театрѣ и маскарадахъ Ліона онъ обращалъ на себя вниманіе молодежи. Онъ по модѣ душился, румянилъ себѣ и безъ того румяныя губы, посыпалъ свои булки пудрою *grise* и пудрою *blonde* и, хотя не нюхалъ табаку, носилъ, однако, въ карманахъ табакерки, съ портретами красавицъ, или изображеніями въ родѣ сердца, пронзеннаго стрѣлой, причемъ также, ради моды, помышлялъ и о метрессѣ.

VII.

Теодоръ страстно любилъ цыганское пѣніе и нѣкоторое время, по слухамъ, до того увлекался красотой и пѣснями цыганки Луши, что, если бы хоръ удалого Пантѳюшки, въ которомъ она состояла, не уѣхалъ неожиданно куда-то изъ Москвы, онъ, вѣроятно, женился бы на ней. Это было до его поѣздки за границу. Съ тѣхъ поръ, какъ увѣрили, онъ нѣсколько остепенился. Увлеченіе цыганами вызвало въ юномъ Прядышевѣ склонность къ музыкѣ. Посѣщая концерты и оперу, онъ началъ брать уроки пѣнія у Добервиля, а спустя нѣкоторое время, рѣшился кое-гдѣ пѣть и самъ. Въ виду затѣяннаго у Сѳймоновыхъ театра, знакомыя дамы гурьбой пристали къ Теодору и, какъ онъ ни упирался, уѳдрили его также принять участіе въ опереттѣ.

Съ тѣхъ поръ, для репетицій отдѣльныхъ арій и дуэтовъ, онъ не разъ посѣщалъ и Дугановыхъ. Серафима сперва безъ смѣха не могла смотрѣть на него, когда онъ, въ видѣ кудряваго, пасхальнаго куцидона, разряженный и надушен-

ный, робко появлялся у нихъ, входилъ на цыпочкахъ, по знаку становился среди залы и, подъ аккомпаниментъ клавикордовъ, уморительно раскачиваясь и размахивая руками, вытягивалъ передъ зеркаломъ свои ноты.

— Ахъ, какой онъ забавный, смѣшной! — хохоча до слезъ, говорила Серафима, выскакивая въ гостиную, гдѣ Марі сидѣла за шитьемъ для Васи, и принимался тормошить ее и цѣловать:—ну, видѣла ли ты, Маша, другое подобное чудовище?

Марі серьезно отвѣчала, что не видѣла. Теодоръ служилъ безконечною темой для насмѣшекъ Серафимы.

До спектакля оставалось нѣсколько дней. Спѣвки и всякія приспособленія къ нему кончились. Послѣ театра, всему обществу, — артистамъ и зрителямъ, — Соймоновы готовили сюрпризъ, — поѣздку, на двадцати ямскихъ тройкахъ, за Серпуховскую заставу, на ихъ лѣтнюю красивую мызу, гдѣ гостей ожидалъ пышный ужинъ и танцы, подъ музыку рогового архаровскаго хора.

Былъ вечеръ субботы, канунъ масляной. Алексѣй повезъ Серафиму на послѣднюю спѣвку къ Соймоновымъ. Глѣбъ въ тотъ день дежурилъ у князя и еще не возвращался. Нинѣтъ также гдѣ-то была въ гостяхъ. Марі осталась дома одна, за неотложнымъ дѣломъ. По субботамъ она обыкновенно собственноручно мыла своего Васю. Пройдя въ его горенку, гдѣ уже была готова грѣтая вода и гдѣ няня, сѣдая Сысоевна, держала на рукахъ распеленатаго и истеричливо-кричавшаго ребенка, — Марі переодѣлась въ ночной капоть, завѣсилась передникомъ и только-что принялась мыть сына, какъ въ дверяхъ показался мужъ.

— Ты будешь на соймоновскомъ спектаклѣ? — спросилъ онъ, садясь поодаль, у окна.

— Разумѣется! — отвѣтила Марі, намыливая безволосую головку и пухлую спинку пріятно-замолкшаго Васи: — столько было приготовленій, хлопотъ; притомъ Серафима... а взгляни-ка на этого розоваго жука, какъ онъ шевелитъ щупальцами...

Глѣбъ посмотрѣлъ на сына, потомъ на Сысоевну, сердито и молча, съ готовыми пелѣнками, стоявшую въ сторонѣ. Старуха Сысоевна, хотя нянчила когда-то самого Глѣба, терпѣть не могла, когда баринъ, въ неуточное время, вхо-

диль въ оберегаемое ею, заповѣдное царство ея новаго питомца.

— О Серафимѣ и рѣчь,—сказаль по-французски, съ необычнымъ раздраженіемъ въ голосѣ, Глѣбъ:—твоя пріятельница, а теперь и сестра, начинаетъ, наконецъ, выводить меня изъ терѣбнѣя...

«Ну, тебѣ не нравится ея бѣготня съ визитами, а особенно это появленіе на театральныхъ подмосткахъ,—подумала Марі, продолжая въ теплой, мыльной водѣ мыть Васю: — вотъ ты и злишься; да что же, не вѣдѣшь сидѣть взаперти! воображаю, что было бы, — прибавила мысленно Марі, — если бѣ и я вздумала участвовать въ спектаклѣ! вотъ поднялся бы ураганъ!»

— Что, же, однако, сдѣлала моя пріятельница и сестра? — спросила по-французски Марі, въ послѣдній разъ окачивая ребенка теплою, настоянною на травахъ водою, и готовясь вынуть его изъ корыта: — чѣмъ она предъ тобою провинилась?

— Она становится сказкой города,—произнесъ медленно Глѣбъ:—этотъ матушкинъ сыночекъ, этотъ молокососъ Прядышевъ такъ откровенно и такъ нагло за нею ухаживаетъ.

— У мужчинъ всегда виноваты женщины, иной разъ не только правыя, но и совершенно-безупречныя! — небрежно отвѣтила Марі, подавая Васю въ нагрѣтыя, раскрытыя пелѣнки Сысоевиѣ.

— Послушай, Маша, — сказалъ серьезно и съ особымъ удареніемъ Глѣбъ: — ты не ребенокъ, поймешь! Что этого недоросля вездѣ принимаютъ и что онъ за тою или другою изъ дамъ смѣетъ ухаживать, это возмутительно, но еще не особая бѣда, но толкуютъ о худшемъ, — будто Серафима... Ну, ты этому не повѣришь,—а говорятъ, что она къ нему перавнодушна и даже... раздѣляетъ его страсть...

Марі уже собралась-было расхохотаться на эти слова, но взглянула на мужа и остановилась. Его обыкновенно доброе и спокойное лицо было на этотъ разъ строго-озабоченно и печально.

— Пустая сплетня, пошлая выдумка! — сказала Марі, взявъ мужа за руку:—Серафима! да возможно ли это? мать троихъ дѣтей!

— Къ сожалѣнію, не сплетня, — съ тою же внушительностью и строгостью отвѣтилъ Глѣбъ: — и я прошу тебя,

Маша, ради брата Алексѣи, а особенно тѣхъ крошекъ, о которыхъ ты упомянула,—переговори объ этомъ, да прямо и безъ обиняковъ, съ Серафимой, вразуми ее и дай ей добрый, родственныи совѣтъ...

— Какой?

— Немедленно бросить эту сѣймоновскую дребедень, а вслѣдъ затѣмъ и Москву.

— Но неужели это такъ важно? — спросила Марі, все еще не вѣря слухамъ о Серафимѣ.

— Настоялько важно, — продолжалъ Глѣбъ: — что пока злыи вѣсти не дошли до Алѣши, настой, чтобы она сегодня же, подъ предлогомъ боли горла, что ли, отказалась отъ участія въ спектаклѣ, а завтра — съ Богомъ — и въ Горки! Имъ помогъ, кстати, отецъ Придышева, прямо купилъ у нихъ лѣсъ; Алѣина получилъ деньги и будетъ радѣшенскъ скорѣе уѣхать изъ Москвы. У нихъ въ деревнѣ многое еще не устроено и главное — сильно распущены крестьяне. При жизни отца Серафимы они состояли на оброкѣ, Алексѣй же, видя ихъ обѣднѣніе и желая имъ добра, возвратилъ ихъ на барщину. Не нравятся мнѣ вообще эти приволжскіе своевольцы; дерзки, отзывчивы на всякіе дикіе слухи, а въ Горкахъ притомъ половина села — старовѣры...

Утромъ слѣдующаго дня, Марі, съ невольнымъ смущеніемъ, прошла наверхъ къ невѣсткѣ. Серафима готовилась ѣхать на генеральную, въ полныхъ костюмахъ, репетицію спектакля, который долженъ былъ состояться черезъ два дня, и была въ красивомъ, такъ шедшемъ къ ней, нарядѣ ардѣнской пастушки.

Она сидѣла передъ овальнымъ, въ фарфоровой рамѣ, зеркаломъ, полученнымъ Марі въ подарокъ отъ свекрови. Горничная кончала уборку головы Серафимы.

— Вышли свою дуэнью, — сказала Марі по-французски: — у меня къ тебѣ важное дѣло.

Серафима отпустила горничную, приколола къ волосамъ послѣдній цвѣтокъ и спокойно встала.

— Вотъ я и готова, — сказала она, цѣлуя Марі: — что тамъ за важныя у тебя дѣла?

— *Ma belle espagnole*, — начала Марі, по возможности сдержанно: — ты не поѣдешь на эту репетицію и вообще на этотъ спектакль.

Серафима, съ удивленіемъ, подняла на нее глаза. Въ нихъ свѣтилась веселая, недоувѣрчивая усмѣшка.

— Что за вздоръ?—сказала она:—ты шутишь... Москва, что ли, провалилась, или сгорѣлъ театръ?

— То и другое цѣло; по выслушай, ради Бога, и разсуди... вотъ что случилось.

Торопясь и обрываясь, Марі, на сколько могла, въ точности передала ей сообщенное Глѣбомъ. Серафима измѣнилась въ лицѣ, сильно поблѣднѣла.

— Это сказалъ тебѣ, выдумалъ Алексѣй! — произнесла она: — понимаю... какая злость! вѣчныя подозрѣнія, снаружи—кротость, а внутри—адъ.

— Да не онъ, помилуй, вовсе не твой мужъ! — снѣшила Марі успокоить ее:—во всякомъ же случаѣ—дѣло серьезное, надо принять мѣры.

— Такъ кто же, говори, кто это сообщилъ?

— Объ этомъ трубятъ всѣ.

Серафима замолчала.

— Какая низость!—проговорила она, ломая руки:—и съ какой стороны ударъ?.. здѣсь такъ трудно оправдываться...

— Такъ ты невиновна, правда?—обрадовалась Марі:—о, скажи, ты равнодушна къ Теодору? все это клевета?

Серафима тихо обняла Марі. Въ ея глазахъ стояли слезы; они горѣли оскорбленнымъ достоинствомъ.

— Чуть намъ кто-либо понравится, — сказала она: — ну, едва отведешь душу, забудешься въ невинномъ и простомъ разговорѣ,—сейчасъ кричатъ: измѣна, разбой...

— И онъ, не правда ли, чуждъ твоей душѣ?—спросила Марі, стараясь побороть въ себѣ и тѣнь подозрѣнія:—еще недавно ты такъ надъ нимъ смѣялась!

— Ахъ, Машенька, да вѣдь это — сама жизнь! — произнесла Серафима, полузажмурясь, точно види передъ собой нѣкое чудное видѣніе и сторонясь отъ его ослѣпительныхъ лучей:—и какъ чувствителенъ, пылокъ, какъ добръ!

Марі похолодѣла отъ ужаса.

— Такъ ты, слѣдовательно, влюблена?—вскрикнула она.

— О, нѣтъ, пустяки! но что это за наивный, милый мальчикъ, ну, чисто дѣвичья непорочность! — стискивая руки Марі, шептала, какъ во снѣ, Серафима: — что за самоотверженіе, преданность; а глаза — глаза... Прежде я этого не замѣчала.

— И онъ знаетъ твоё мнѣніе о немъ?—съ ужасомъ спросила Марі, почти не сознавая, что говорить:—а твой мужъ? тебѣ его не жаль?

Серафима очнулась, прошла по комнатѣ.

— Ахъ, да... про какія, однако, чувства ты говоришь? ужъ вотъ вздоръ! — небрежно сказала она, оборотась къ зеркалу и смотря въ него:—ничего этого не было и нѣтъ, нѣтъ! Все это я сочинила, а мужчины такіе гнусные и недобрые ревнивы!

— Такъ, честное слово, ничего между вами не было?

— Разумѣется... я надъ тобой просто подтрунила, прочла тебѣ свою роль изъ оперетки... Кромѣ шутокъ, это изъ нея... сама ты увидишь!

Марі отгадно вздохнула.

— А если ничего не было,—сказала она, вспомнивъ со- вѣтъ Глѣба и хватаясь за него, какъ за соломинку: — то тѣмъ лучше. Тебѣ стѣдуетъ только послать къ Соймоновымъ отказъ отъ ихъ спектакля, напиши, что заболѣла горломъ, и все разсѣется, какъ дымъ.

При этомъ, въ видѣ собственной мысли, Марі предложила Серафимѣ, для избѣжанія дальнѣйшихъ и возможныхъ пересудовъ, немедленно уѣхать изъ Москвы. Она высказала это рѣшительно и напрямикъ.

— Ну, выдумай что-нибудь иное, — прибавила она: — скажи Алексѣю Андреевичу, что ты видѣла сонъ, безпокоишься за него и за здоровье дѣтей.

— Ни за что, слышишь ли, ни за что!—отвѣтила ей съ сердцемъ Серафима: —какъ? чтобы я уступила городскимъ, гнуснымъ сплетнямъ? чтобы струсила, выставила себя смѣшною передъ всякими безмозглыми болтунами? никогда!

VIII.

Проговоривъ это, она сѣла, но не надолго, и опять стала ходить. Ея лицо раскраснѣлось, глаза горѣли. Во всей ея фигурѣ выражалась твердая и спокойная увѣренность въ себѣ.

— Повторяю тебѣ, ничего не было, нѣтъ и не будетъ!—заклчила она, остановясь передъ Марі: —довольно тебѣ этого? вѣришь теперь, убѣждена?

— Вѣрю,—тихо отвѣтила Марі.

«И въ самомъ дѣлѣ,—думала она, глядя на Серафиму:—пу, съ чего ей такъ вдругъ обезумѣть, забыться въ конецъ

и еще съ кѣмъ? съ Теодоромъ Прядышевымъ! Да онъ ея мужу, этому превосходному человѣку, не годился бы въ лакеи... и она такъ недавно еще искренно и весело осмѣивала его...»

— А если вѣришь,—сказала, помолчавъ, Серафима,—то отнынѣ не говори пустяковъ; не мѣшай мнѣ, въ послѣдній разъ, повеселиться. Вѣдь ты знаешь, въ какую тишу мнѣ предстоитъ снова окунуться.

Серафима дружески обняла Мари и, надѣвъ шляпку и мѣховый плащъ, прибавила.

— Нашъ театръ, на зло сплетникамъ и подозрительнымъ ревнивцамъ, непременно состоится, и на немъ будешь, не правда ли, и ты? а за это заранѣе — вотъ тебѣ, вотъ и вотъ.

Она порывисто расцѣловала Мари, сбѣжала внизъ, съла въ экипажъ и уѣхала.

Мари, по возможности, откровенно передала Глѣбу свой разговоръ съ Серафимой, обойдя только и нѣсколько смягчивъ ея отзывъ о Теодорѣ.—«Уѣдутъ,—разсуждала Мари:—она снова увидитъ дѣтей, забудетъ мимолетную встрѣчу, и все обойдется благополучно». Глѣбъ остался недоволенъ ея сообщеніемъ.

— Бѣдный Алѣша!—прошепталъ онъ:—добрякъ, очевидно, ничего и не подозрѣваетъ.

Онъ сердито теръ себѣ лобъ.

— Впрочемъ, братъ уже укладывается, — сказали онъ, оживясь:—взялъ сегодня наши чемоданы,—столько у нихъ накопилось всякихъ покупокъ; часть вещей отправляетъ завтра по почтѣ впередъ. Нечего дѣлать, — утромъ, послѣ этого театра и пикника, я самъ помягче намекну ему на необходимость прекратить скорѣе нелѣпыя толки, а когда они уѣдутъ,—дастъ Богъ, все уладится, Серафима одумается въ деревенской тиши.

Съ невольнымъ, гнетущимъ чувствомъ Мари ожидала назначеннаго вечера. Дугановы отправились къ Сѣймоновымъ. Спектакль прошелъ очень удачно. Мари еще кормила сына, и потому, едва кончилась оперетта, въ которой пѣла Серафима, она подала знакъ мужу. Они незамѣтно оставили зрительную залу, пробрались къ выходу, подъ громомъ вызововъ и рукоплесканій, которыми публика искренно при-

вѣтствовала на спенѣ сіяющую торжествомъ успѣха и счастья Серафиму, и уѣхали.

Алексѣй Андреевичъ, неловко оглядываясь и растерянно принимая привѣтствія и поздравленія съ успѣхомъ жены, подозвалъ брата и шепнулъ ему, что онъ рѣшился остаться до конца вечера. — «Потянуть бѣднаго и на пикникъ!» — думала Марі, скользя по морозу на улетающихъ саняхъ. Потомъ она съ Глѣбомъ узнала, что у Алексѣя, отъ волненія за игру жены, сильно разболѣлась голова и что онъ возвратился, когда кончился водевилъ, поручивъ жену хозяйкѣ дома, которая, встрѣтивъ его у выхода, молила, до конца этого послѣдняго вечера, не лишать ихъ общества такой милой и очаровательной гостыи. — «Вѣдь скоро постъ!» — говорила она, обмахиваясь вѣеромъ и молящими глазами глядя на Алексѣя.

«Ну, будетъ утромъ исторія! — размышляла Марі дома, накормивъ сына и, до невозможности усталая, собираясь спать: — Глѣбъ, пожалуй, сразу все скажетъ брату, тотъ Серафимъ, она вспылитъ... и въ отвѣтъ за все передъ нею буду, разумеется, я!»

Глѣбъ всталъ довольно рано. Ему надо было ѣхать къ обычному приему у главнокомандующаго, и онъ, выпивъ наскоро, безъ жены, стаканъ чаю, поспѣшилъ къ князю. Марі спала очень долго. Ее разбудила Сысоевна. — «Поми-луйте, барыня, — говорила она, теребя подъ ея головой подушку: — Василій Глѣбычъ голодны... пора имъ завтракать». — «Какой Василій Глѣбычъ? кто это?» — соображала Марі сквозь сонъ, не понимая, гдѣ она и что съ нею.

Она открыла глаза. Сѣреный день уныло глядѣлъ въ замороженныя окна. Падалъ снѣгъ и по крышамъ сосѣднихъ домовъ срывалась метель. Очнувшись и перекрестясь, Марі присѣла на кровати, приняла отъ няни дитя и стала его кормить. Сысоевна молча стояла возлѣ нея. Видно было, что старуха ею недовольна. Глядя на ребенка, въ полномъ блаженствѣ сопѣвшаго на ея рукахъ, Марі невольно думала о себѣ: «и по дѣломъ тебѣ, матушка, сама заслужила, забывъ свое дитя!»

— Который часъ? — спросила она няню.

— Двѣнадцатый.

Не поднимая глазъ, Марі переложила Васю на другой бочокъ.

— Глѣбушка гдѣ?—спросила она, помолчавъ.

— Извѣстно, гдѣ,—на службѣ,—отвѣтила Сысоевна.

— А наши, Серафима, Алексѣй?

— Чтò имъ? нешто и у нихъ служба?

— Такъ еще спягъ?

— Не знаю,—серdito отвѣтила Сысоевна:—я къ нимъ не приставница, у нихъ не была.

«Побурчить и утихнеть!» — утѣшалась Мари, отдавая нянѣ дитя. Наскоро одѣвшись, она прошла въ столовую, въ надеждѣ застать тамъ Алексѣя и Серафиму; но столовая оказалась пустою. Она вошла въ лакейскую. Слуга Сергѣй сидѣлъ тамъ съ книжкой.

— Что же это ты за чтеніемъ, а чай не готовъ?—сказала Мари:—Алексѣй Андренчъ всталъ?

— Встали.

— А барыня?

Сергѣй замялся.

— Спитъ, что ли?—спросила Мари.

— Онѣ-съ... ихъ нѣтъ дома... не ночевали.

«Вотъ закутила, — подумала Мари, — а впрочемъ, и хорошо сдѣлала, что послѣ танцевъ, по такому холоду и въ темнотѣ, не поѣхала, а осталась ночевать у Соймоновыхъ».

— Гдѣ Алексѣй Андреевичъ?—спросила она слугу:—подавай самоваръ и скажи брату, что я жду его къ чаю.

— Ихъ тоже нѣтъ; ѣздили въ городъ и воротились, а теперь опять уѣхали,—отвѣтилъ какъ-то странно Сергѣй.

Мари, черезъ гостиную, медленно прошла въ дѣтскую. Сысоевна, укачавъ Васю и завѣсивъ его колыбель, стояла, пагнувшись, у окна во дворъ.

— Что ты, няня, смотришь?—спросила Мари.

— Климъ утромъ рано возилъ куда-то Алексѣя Андреевича и опять повезъ.

— За барыней?

— Вѣстимо.

— Она, вѣроятно, у Соймоновыхъ?

— Въ городѣ нѣту-ти ихъ...

— Ну, значитъ, осталась на мызѣ,—сказала Мари.

«Къ завтраку, очевидно, не возвратится,—подумала она,—успѣю, слѣдовательно, слѣздить въ ряды». Ей надо было еще кое-что кунить, въ подарокъ дѣтямъ Алексѣя и Серафимы, и она на извозчикѣ уѣхала въ лавку, соображая,

что и Глѣбу сегодня, изъ-за развѣздовъ брата, придется возвратиться со службѣ не на своихъ лошадяхъ.

Едва Марі, справясь съ покупками, пріѣхала обратно, обогрѣлась и, войдя въ спальню, зажгла свѣчи, въ дверяхъ показался Глѣбъ.

— Скверное, невозможное дѣло! — сказалъ онъ, бросая шляпу на столъ и потирая руки отъ холода: — нажгли, нечего сказать... дождались.

— Чтѣ случилось?

— Неужели не знаешь?

— Почему мнѣ знать!

— И не догадываешься?

— Да говори же...

Глѣбъ помолчалъ.

— Серафима не ночевала дома, — сказалъ онъ.

— Я это слышала, — отвѣтила спокойно Марі: — она, за позднимъ временемъ, по-всей вѣроятности, осталась у Сѣи-моновыхъ, — и хорошо сдѣлала...

— Алена былъ въ ихъ городскомъ домѣ, — сказалъ Глѣбъ: — они возвратились, но ея тамъ нѣтъ. Онъ навѣдался сюда, потому завернулъ на дежурство ко мнѣ и теперь поскакалъ на мызу. Чтѣ скажешь на это?

— Да о чемъ ты безпокоишься? — спросила Марі: — Серафима, безъ всякаго сомнѣнія, на мызѣ.

Глѣбъ горько улыбнулся.

— Полно, Машенька, — произнесъ онъ: — это могъ бы еще подумать такой простакъ и слѣпецъ, какъ Алексѣй, а не мы съ тобой.

— Такъ гдѣ же она?

Глѣбъ присѣлъ на софу, взялъ жену за руку.

— Поклянись, она тебѣ ничего по этому не говорила? — спросилъ онъ.

— Ничего... вотъ передъ образомъ.

— Такъ знай же, — объявилъ Глѣбъ: — Серафима, прямо съ пикника... бѣжала съ Ѳедоромъ Прѣдышевымъ.

Марі всплеснула руками.

— Не можетъ быть! кто тебѣ сказалъ?

— Справляться по полиціи, — отвѣтилъ Глѣбъ: — мнѣ, ты понимаешь, было бы не къ лицу. Я обратился къ обычному источнику въ подобныхъ дѣлахъ, — ты догадываешься, безъ сомнѣнія, — къ Спасивцеву. Онъ, какъ и слѣдовало

ожидать, все уже, разумеется, знать. Сперва, по обычаю, кроткимъ, невиннымъ голосомъ, отвѣчалъ:—«дѣло щекотливое, — я, молъ, полагалъ, что вы сами давно подозреваете, и даже, если помните, слегка намекалъ, хотя ни за что еще нельзя поручиться! — а потомъ прибавилъ: — не я одинъ, и другіе замѣчали, что это готовилось уже давно». — «Что готовилось?» — спросилъ я его: — не томите, ради Бога, скажите прямо и откровенно, если вы истинно къ намъ расположены». — Но тонкій дипломатъ уперся и сталъ твердить одно: — «неудобно и отвѣтственно; извините, — спросите у другихъ». Тогда я самъ заѣхалъ къ Соймоновымъ.

— Такъ ты былъ у нихъ? — спросила Марі.

— Да... не входя въ домъ, я вызвалъ ихъ кучера и спросилъ, съ кѣмъ отъ нихъ уѣхала жена брата? Тотъ, ничего не подозревая, спокойно отвѣтилъ, что, когда стали разъѣзжаться съ ммызы, Серафима Львовна сѣла въ санн Ѳедора Саввича Прядышева и уѣхала съ нимъ, приказавъ сказать хозяйкѣ дома, что у нея болитъ голова. Теперь ясно тебѣ? Герой въ пьесѣ похищалъ героиню, ну, они, очевидно, и рѣшили, какъ видишь, разыграть эту пьесу наяву.

IX.

Какъ громомъ пораженная, Марі не находила ни мыслей, ни словъ. Глѣбъ ей еще что-то говорилъ, упоминалъ объ Алексѣѣ и о его положеніи, высказывалъ опасенія за здоровье брата, даже за его жизнь. Марі сидѣла, какъ въ туманѣ. Близилось время обѣда. Всѣ въ домѣ съ смущеніемъ ожидали возврата Алексѣя. Обѣдъ прошелъ безъ него; къ вечернему чаю онъ также не пріѣхалъ. Вечеромъ Глѣбу надо было снова отлучиться, для исполненія какого-то порученія главнокомандующаго, и онъ уѣхалъ.

Разбитая волненіями и нѣсколько недомогая, Марі легла спать ранѣе обыкновеннаго. Принеся ей кормить дитя, Сысоевна, вопреки своей обычной говорливости, опять не проронила ни слова и была туча-тучей. Марі понимала, что старая, преданная няня, простымъ чутьемъ, угадывала близость грозы и позора въ семьѣ своихъ господъ и, при всей своей наружной суровости, глубоко имъ сочувствовала. Она обыкновенно думала вслухъ: «туда-то надо вотъ пойти, то-то сдѣлать» — «охъ, затеряла иголку и не найду, — чулочки барчука надо выгладить!» Теперь же, подавая и затѣмъ унося дитя, она молчала и, только возвратясь изъ дѣтской

къ барынѣ, чтобы потушить у нея свѣчи, проговорила про себя: «Охъ-охъ! сѣчь бы нашу сестру, да приговаривать,— не бунтуй, слушай мужа... не было бы такого окалнства и грѣха».

Марі долго не могла заснуть. Вспомнивъ слова Алексѣя о желѣзномъ ломѣ, она съ содроганіемъ прислушивалась, возвратился ли онъ. Глѣбъ потомъ ей сообщилъ, что и онъ, пріѣхавъ около полуночи домой и заставъ ее спящею, все думалъ о томъ же ломѣ и о неминуемости кровавой развязки.

Передъ утромъ, когда за окнами, въ морозной мглѣ, уже стало бѣлѣть, Марі сквозь дремоту померещилось, что къ наружному крыльцу быстро подкатили сани, кто-то вошелъ въ переднюю и медленно сталъ подниматься наверхъ. Ступени деревянной, витой лѣстницы скрипѣли подъ тяжелыми шагами всходившаго. Въ спальнѣ за печкой уныло звенѣлъ сверчокъ. Но вотъ шаги затихли. Позваниванья сверчка охватили Марі нѣжною, музыкальною волной. Она забылась тихимъ, спокойнымъ сномъ.

Быль восьмой часъ утра. Очнувшись и увидѣвъ, что Глѣба уже нѣтъ въ спальнѣ, Марі вскочила съ постели, приодѣлась и прошла къ мужу въ кабинетъ.

— Ну, что? — спросила она, прісѣвъ у стола, за которымъ мужъ брился.

— Заперся, — отвѣтилъ Глѣбъ, указывая бритвою наверхъ:—никого не звалъ,—вѣроятно, еще спитъ.

Подали чай. Прислуга ходила въ смущеніи, на цыпочкахъ. Глѣбъ и Марі тоже говорили виолголоса, полунамѣками, боясь и думать объ исходѣ начавшейся драмы.

— Нѣтъ, я пойду къ нему,—сказалъ, наконецъ, вставая, Глѣбъ:—какъ бы онъ еще чего не натворилъ съ собой?

Онъ поднялся по лѣстницѣ. Марі возвратилась въ спальню и упала передъ кіотомъ на колѣни. Она горячо молила Бога вразумить Серафиму и дать ей снова миръ и тишину.

Нерѣшительно и въ раздумьѣ Глѣбъ взошелъ наверхъ, постоялъ у двери брата и постучалъ въ пѣс.

— Войдите, — отвѣтилъ ему изъ-за двери странный и грубый голосъ, котораго Глѣбъ сперва не узналъ.

Онъ вопиелъ, думая, что Алексѣй еще въ постели. Последній стоялъ, не оборачиваясь, у окна, уже одѣтый, въ какомъ-то старенькомъ, отреманномъ мѣховомъ бешметѣ,

какого Глѣбъ еще не видѣлъ у него. Надъ его широкими, плотными плечами, точно чужая, торчала его большая, исключенная голова.

— Здравствуй, Алѣша,—сказалъ Глѣбъ, подойдя къ нему.

— Здравствуй,— отвѣтилъ Алексѣй, продолжая смотрѣть на улицу.

— Я думалъ, что ты еще спишь.

— Гдѣ спать! Знаешь развязку, конецъ?

— Собственно, вѣрно не знаю, а догадываюсь, — через силу отвѣтилъ Глѣбъ.

— Какія догадки! ну, прямо, открыто, взяла да и бросила, какъ старый, негодный башмакъ... надоѣлъ, видно,— вотъ и все...

— Полно, дѣло еще поправимо,—сказалъ Глѣбъ, ласково тронувъ брата за плечо.

Алексѣй, съ блуждающимъ взоромъ, обернулся къ нему. По его опавшимъ, вздрагивавшимъ щекамъ текли слезы.

— И за чтò, за чтò?—вскрикнулъ онъ, кидаясь въ объятія брата.

Послышались судорожныя, глухія рыданія.

— Тебя ли слышу? — старался утѣшить его Глѣбъ:— стоитъ ли теперь эта особа твоего сожалѣнія, слезъ?

— О, какъ я мало зналъ себя, какъ я былъ самопадѣяль и слѣпъ! — всхлиывая по-дѣтски, плакалъ на груди Глѣба этотъ большой и сильный, какъ казалось, человѣкъ:— чтò я буду теперь безъ нея? а дѣти? я погибъ... погибъ!

— Опомнись, братъ! обидчицѣ отнынѣ одно наказаніе— презрѣніе и забвеніе навсегда.

— Глѣбушка, родной мой! — вопилъ Алексѣй, хватая руки брата и цѣлуя ихъ:— спаси меня, помоги.

— Но чѣмъ же тутъ можно помочь?

— Найди ее, уговори! Ничего не жалѣй, слышишь ли, ничего!.. дѣти... О, теперь безъ нея, мнѣ одна участь—смерть.

— Да полно же, голубчикъ, полно.

Глѣбъ усиливался успокоить брата, позвалъ слугу, приказалъ подать стаканъ воды и напоилъ его.

— Не ты ли,—сказалъ онъ, усадивъ Алексѣя:— говорилъ еще недавно иначе? Вспомни, по поводу подобнаго же случая, ты высказывалъ такую твердость и рѣшимость... Ты готовъ былъ преслѣдовать виновныхъ, мстить. Не месть, хотя бы, а мужество въ твоёмъ положеніи, разсудительный отпоръ!

— Ахъ, оставь меня, ради Бога... уйди! дай хоть забыть! — крикнулъ, въ отчаяніи, Алексѣй:— эти муки, эта пытка— выше силъ.

Онъ вырвался отъ брата и, упавъ на постель, обхватилъ руками подушку. Его плечи вздрагивали отъ рыданій. Глѣбъ постоялъ надъ нимъ, помедлилъ и вышелъ. Передъ обѣдомъ и въ теченіе вечера Глѣбъ снова заходилъ къ брату: Алексѣй лежалъ неподвижно, лицомъ къ стѣнѣ.

— Послать бы за докторомъ,—сказала мужу Марі.

— Ему не того надо,—отвѣтилъ Глѣбъ, въ раздумьѣ:— нужно мягкое, женское слово; сходи,—не утѣшишь ли ты его?

Марі налила стаканъ чаю, велѣла отнести его наверхъ, зажечь свѣчи и сама пошла туда.

Услышавъ ея шаги, Алексѣй всталъ.

— Ахъ, это вы, сестра!—сказалъ онъ, цѣлуя ей руки:— что вы беспокоитесь? мнѣ, право, совѣстно... что-то болитъ голова.

— Полноте, присядьте, вотъ тутъ,—сказала ему Марі:— нанейтесь горяченькаго чайку, да съ ромомъ.

Она усадила Алексѣя, придвинула ему стаканъ, налила рому и отложила ему любимыхъ печеній.

— Какъ вы добры,—сказалъ Алексѣй, взглянувъ на себя и оправляя свой измятый нарядъ:—стою ли я вашего вниманія?

— Стоите, добрый, милый, все перемелется,—будете еще счастливы.

Алексѣй отпилъ чаю и задумался.

— Сестра,—сказалъ онъ:—не скрываете, гдѣ Серафима? Марі молчала.

— Она пріѣхала? не рѣшается сюда взойти?

— Пріѣдетъ, возвратится,—отвѣтила Марі:— вы только успокойтесь; вотъ вы какъ разстроены,—у васъ дѣти. Какая мать можетъ забыть дѣтей?

— Да, да,—радостно проговорилъ Алексѣй:—вы знаете... вотъ, если бы Глѣбушка тутъ вступился и отыскалъ бы ее... Онъ такой разумный, сразу усовѣстилъ бы ее... Вѣдь, увѣряю васъ, здѣсь просто какое-то навожденіе. Ее околдовали, можетъ-быть, опоили. Серафима! да развѣ возможно? Я такъ любилъ ее; ну, убѣжденъ, увидите, если только она встрѣтится съ кѣмъ-либо изъ своихъ, сейчасъ одумается, — пелена съ глазъ спадетъ. Ревновать хорошо безсердечному, крѣпышу,—мнѣ, вижу, не подъ силу... не могу.

«Вотъ она, истинная-то любовь!—подумала Мари,— бѣд-ный! куда дѣвались угрозы и похвалы объ отместкѣ, даже о кровавой расправѣ?»

— Вѣдь я самъ бы поѣхалъ,—продолжалъ Алексѣй:— и, вѣрите ли, въ это время, клянусь, все думалъ,—гдѣ бы скры-ваться бѣглецамъ? но, сестра, вы посудите, здѣсь, въ Мо-сквѣ, изъ этого такое поднимуть и наметутъ... невозможно! это только повредитъ Серафимѣ.

— Да вамъ, дорогой мой, добрый, и не приходится са-мому!—сказала Мари:— а вотъ Глѣба мы, пожалуй, попро-симъ и, я надѣюсь, уговоримъ.

Въ это время вошелъ слуга. Онъ доложилъ, что пріѣхалъ Спасивцевъ и что баринъ проситъ барыню и Алексѣя Ан-дреевича сойти внизъ.

— Вѣрно, какія-нибудь новости, — съ тревогой сказалъ Алексѣй:— вы, сестра, идите впередъ; а мнѣ вотъ надо прі-одѣться, — неловко въ такомъ видѣ, — я тоже сошелъ бы внизъ... нѣтъ, останусь, не могу!

— Гдѣ баринъ?—спросила Мари слугу.

— Были, съ няней и съ барчукомъ, въ гостиной, теперь пошли за чѣмъ-то въ кабинетъ.

— А докторъ?

— Остались въ гостиной.

Мари вошла въ кабинетъ. Глѣбъ доставалъ гостю свѣ-жаго табаку.

— Ну, что? какъ Алѣша? — спросилъ онъ: — успокоился ли онъ?

Мари передала ему свой разговоръ съ Алексѣемъ.

— Бѣдная, жалкая тряпка,—проворчалъ Глѣбъ:— и ничто его не проймаетъ, даже такія испытанія.

— А что новаго привезъ докторъ?—спросила Мари.

— Серафимы и си похитителя въ Москвѣ, оказывается, нѣтъ; докторъ былъ у родныхъ Придышева,—Федора вчера и нынче искали, но безуспѣшно. И хороши, однако, этотъ докторъ,—всегда словоохотливый, а здѣсь едва цѣдитъ слова сквозь зубы, точно дарить какими-то таинственными откро-веніями.

X.

Изъ кабинета въ гостиную Глѣбъ и Мари прошли че-резъ залу, гдѣ еще не успѣли зажечь кенкетовъ, мимо боль-шого, простѣночнаго зеркала. Въ зеркалѣ наискось отража-

лась освѣщенная гостиная и въ ней—сидѣвшій на диванѣ Спесивцевъ, передъ нимъ Сысоевна и на его рукахъ Вася.

— И зачѣмъ этотъ пролазъ беретъ на руки дитя?— съ досадою проговорилъ Глѣбъ:— вотъ ужъ терпѣть этого не могу.

— Чего ты серднись! — прошептала Мари: — развѣ не знаешь, онъ вообще такъ любитъ дѣтей; и у Соймоновыхъ— съ ихъ Сашей, и у Смирновыхъ— съ ихъ внучкой— все возится.

— Вездѣ пострѣлъ поспѣетъ,— раздражительно прибавилъ Глѣбъ, замедляясь, какъ бы оправляя свертокъ съ табакомъ:— не люблю я этихъ трутней; бьютъ баклуши, такъ резонёрствуютъ о семейномъ счастьѣ, а втихомолку, чай, сами волокитствуютъ на сторонѣ.

Дугановы вошли въ гостиную.

— А у малаго-то вашего уже и зубъ прорѣзывается,— замѣтили Спесивцевъ, отдавая нянѣ дитя:— изъ молодыхъ, да ранній.

— Вотъ вамъ свѣжій табакъ,— сказалъ ему Глѣбъ, стараясь придать своему лицу и голосу спокойное выраженіе:— теперь потолкуемъ о нашей печальной авантюрѣ.

Онъ далъ знакъ нянѣ. Та унесла ребенка. Всѣ сѣли къ столу.

— Вамъ, Марья Родіоновна, мнѣніе?— спросилъ Спесивцевъ:— извините, Глѣбъ Андреевичъ, начнемъ съ милой барыни; у барыни всегда лучше и тоньше, въ подобныхъ случаяхъ, соображеніе.

Глѣбъ опять поморщился. Ему не понравилось это небрежное обращеніе гостя къ его женѣ.

— Начинай,— сухо сказалъ Глѣбъ женѣ.

— Я думаю...— отвѣтила она и остановилась:— мнѣ кажется, вопросъ слишкомъ серьезный и въ немъ, прежде всего, необходимо твое участіе и содѣйствіе, — обратилась Мари къ мужу.

— Вѣрно, сударыня, вѣрно! — произнесъ, раскуривая трубку, Спесивцевъ:— и такихъ женъ, — простите, Глѣбъ Андреевичъ, за мою откровенность,— я вездѣ и всегда отъ души превозношу. Дѣйствительно, нельзя не согласиться, что въ настоящемъ дѣлѣ вы одинъ могли бы пособить.

— Но чѣмъ же я-то могу здѣсь быть полезенъ, не понимаю?— нѣсколько смягчившись, отвѣтилъ Глѣбъ:— эта купеческая среда, ихъ обычай, приемы... я вовсе съ ними не

знакомъ,—притомъ никогда не видѣлъ этого старика Придышева... Братъ велъ съ нимъ переговоры о займѣ черезъ постороннее лицо.

— Да вѣдь это совершенно просто! ну, вамъ стѣбитъ только заѣхать къ нему, — сказалъ Спесивцевъ: — ваше положеніе при князѣ, ужь одинъ вашъ офицерскій мундиръ, помилуйте...

— Мундиръ, мундиръ, — съ неудовольствіемъ оиять нахмурился Глѣбъ: — слышался и объ этихъ сиволаныхъ гордецахъ! много имъ дѣла до насъ...

— Струсить, — произнесъ Спесивцевъ: — положительно струсить и, если знаетъ, гдѣ его сынокъ, немедленно выдастъ.

Глѣбъ посмотрѣлъ на жену. Та умоляющимъ взоромъ слѣдила за нимъ.

— Гдѣ они живутъ?—спросилъ Дугановъ:—гдѣ ихъ заводъ?

— За Рогожскою заставой.

— Подумаю, — если братнина бѣглянка не объявится сама.

Прошло нѣсколько дней послѣ исчезновенія Серафимы. Она не появлялась. Алексѣй сталъ самъ не свой; писалъ и рвалъ наверху какія-то письма или былъ въ непрерывныхъ развѣздахъ и рѣдко обѣдалъ дома. Къ нему наверхъ, то и дѣло, ходили подозрительныя личности, въ чуйкахъ и армякахъ. Мари думала, что онъ собирается уже въ дорогу и что приходившіе къ нему люди—рядчики изъ ямщиковъ. Оказалось потомъ, что это были сыщики. Алексѣй уговорилъ-таки брата, и тотъ, съ разрѣшенія князя, предпринялъ черезъ полицію тайные розыски о Серафимѣ. Самъ Алексѣй, тѣмъ временемъ, посѣщалъ церкви и монастыри. Сысоевна, разговорясь, наконецъ, внушительно сообщила Мари, что Алексѣй Андреевичъ наемни ѣздитъ къ Неоналимой-Кушинѣ, вчера утромъ былъ у Федора Студита, а сегодня, послѣ ранней обѣдни, служилъ молебенъ у Никиты-мученика, и что теперь Господь, уже навѣрно, вразумитъ Серафиму Львовну и она, не нынче-завтра, «безпремѣнно объявится во-свояси». Слѣдовъ Серафимы, однако, нигдѣ не оказывалось, и она не возвращалась домой.

Шла первая недѣля поста.

— Ну, Машенька, займись съ братомъ, развлеки, успокой его!—сказалъ однажды вечеромъ Глѣбъ женѣ:—завтра я ѣду къ Придышевымъ.

— Такъ ты рѣшился?

— Да, поиски полиціи оказались вполнѣ безуспѣшны.

Марі, съ мольбой и надеждой, взглянула на образъ.

Быль полдень. Стояла морозная, тихая погода. Глѣбъ, на городскихъ санкахъ, миновалъ Рогожскую заставу и, обогнувъ безконечные огороды, подъѣхалъ къ воротамъ прядышевскаго завода. Хозяинъ оказался дома. Тяжелыя ворота со скрипомъ отворились; Глѣбъ въѣхалъ въ обширный дворъ. Въ рабочихъ деревянныхъ службахъ направо и налево слышались звуки молотовъ; густой дымъ валитъ изъ трубы надъ закопѣлымъ, каменнымъ горномъ, гдѣ плавилась руда. Огромныя сторожевыя собаки злобно лаяли, на цѣпяхъ, у воротъ и у подъѣзда хозяйскихъ хоромъ.

Глѣбъ взомель на крыльцо. Изъ сѣней, черезъ переднюю, его ввели въ контору, оттуда, черезъ длинный, узкій проходъ, въ небольшую, сильно нагрѣтую комнату, съ горшками гераней на окнахъ, съ кроватью, подъ стеганнымъ, изъ разноцвѣтныхъ доскутковъ, одѣяломъ и горою подушекъ, и съ огромнымъ, окованнымъ сундукомъ, возлѣ кіота. Въ комнатѣ пахло мятой; на столѣ выхлѣлъ самоваръ.

У самовара сидѣлъ самъ хозяинъ, толстый, румяный и лысый, въ мѣховой шубейкѣ и съ повязанной головой, очевидно, только-что пришедшій изъ бани; а передъ нимъ — тощій и длинный, старообрядческій причѣтникъ, съ клинообразною бородкой, въ черной, бархатной скуфейкѣ и тоже съ краснымъ и лоспящимся лицомъ. Они пили чай. Глѣбъ, изъ-за двери, услышалъ сдержанный, наставительный басъ причѣтника: «Нонѣ всюду грѣхъ и царство сатаны,—и аще бы чинъ, — даже болѣе ангельскій»... При видѣ офицера, хозяинъ и его собесѣдникъ встали.

— Савва Ильичъ?—спросилъ Глѣбъ, обращаясь къ Прядышеву.

— Такъ точно-съ,—отвѣтилъ тотъ, подвигая Глѣбу стулъ:— что угодно вашей чести?

— Есть дѣло.

Прядышевъ далъ знакъ своему собесѣднику. Тотъ вышелъ, крикнувъ и сердито поглаживая бороду. Прядышевъ не сѣлся и молчалъ. Глѣбъ, опустивъ на стулъ, тоже нѣкоторое время молча смотрѣлъ на него. Отецъ Теодора показался ему моложе, чѣмъ онъ ожидалъ. Сильно, ранѣе времени растолстѣвшій, Савва Ильичъ, несмотря на свой ко-

роткій ростъ и пухлые, точно обрубленные пальцы, съ перваго раза даже понравился Глѣбу. Его нѣжное и, очевидно, нѣкогда красивое лицо было обрамлено шелковистою, темно-русою бородкой, а сѣрые, задумчивые глаза такъ покорно и кротко смотрѣли на гостя, что Глѣбъ даже подумалъ: «И за что я его такъ винилъ и такъ злился на этого добряка?»

— Вы, разумѣется, догадываетесь, — началъ Глѣбъ: — я прїѣхалъ по дѣлу вашего сына.

— Такъ-съ, — сказалъ Прядышевъ, приготовивъ слушать.

Глѣбъ сталъ рассказывать. Пока онъ говорилъ, Савва Ильичъ, отеревъ лицо, налилъ ему чаю, придвинулъ ближе банку съ изюмомъ, отлилъ и себѣ изъ чашки на блюдце, взявъ это блюдце на концы обращенныхъ кверху, растопыренныхъ пальцевъ, положилъ въ ротъ изюменку, и, наклонивъ на бокъ голову, молча слушалъ.

Глѣбъ передалъ Прядышеву о томъ, какъ его сынъ познакомился съ нимъ, черезъ Соймоновыхъ, какъ онъ, Глѣбъ, и его семья радушно принимали Теодора и какъ, сверхъ всякаго ожиданія, молодой человѣкъ отблагодарилъ за вниманіе къ нему тѣмъ, что позволилъ себѣ дерзкую и возмутительную выходку.

— Совсѣмъ нестоящій! — замѣтилъ Прядышевъ.

— Онъ сталъ ухаживать, — продолжалъ Глѣбъ, едва сдерживая свое волненіе: — за женой человѣка, далеко не равнаго ему ни по его годамъ, ни по положенію.

— Такъ-съ, — вздохнулъ, не поднимая глазъ, Прядышевъ.

— Вашъ сынъ, — произнесъ Глѣбъ: — пользуясь довѣріемъ добраго человѣка, уговорилъ его жену и, какъ вамъ, вѣроятно, уже извѣстно, тайно ее увезъ...

— Скалдырникъ-шельма! — тряхнулъ головой Прядышевъ: — на то Оедька мастеръ!

— Я говорю объ Алексѣѣ Андреевичѣ Дугановѣ, — заключилъ Глѣбъ: — сызранскомъ помѣщикѣ; онъ вамъ извѣстенъ, вы имѣли съ нимъ денежное дѣло.

— По конторѣ, — вставилъ Савва Ильичъ.

— Но этотъ Дугановъ — мой родной братъ, — чуть не крикнулъ, возмущенный хладнокровіемъ слушателя, Глѣбъ.

Прядышевъ снова утеръ себѣ лицо и шею, опрокинулъ чашку на блюдце и отстранилъ ее.

— Мы, ваше высокородіе, — сказалъ онъ съ достоинствомъ: — тутъ не причины и не защитники сорванцу! Я

и допрежь того говорилъ своей бабѣ: смотри, Аграфена, понадетесь; да что толку? вывела курка утя, значить—не по рангу! А коли-сжели, какъ передъ Богомъ, правду сказать, то можетъ мы и больше тершимъ. Такъ-то-съ... И хотѣлъ бы укусить локоть, да морда коротка. А гдѣ понѣ Ѳедька, убей Богъ, не знаемъ.

— Въ чемъ вы терните?—спросилъ Глѣбъ:—говорите прямо,—не понимаю.

Прядышевъ покосился на дверь.

XI.

— Отецъ Никодимъ, — изволили, чай, видѣть тутъ старичка,—произнесъ Прядышевъ:—мы съ нимъ, значить, по простотѣ, насчетъ этого грѣха-съ; такъ вонъ онъ что объявилъ... Коли, говоритъ, Ѳедька-окаянникъ не уважилъ Господа нашего Иисуса и пришедшаго понѣ поста,—нѣтъ, говоритъ, силы, не токма человѣческой, даже ангельской, чтобъ сломить озорника. У него таперича руки не желѣзныя, а золотыя.

— Какія бы руки ни были, вы—отецъ!—отвѣтилъ Глѣбъ:—по вашему приказу,—объявите только, да безъ лукавства и напрямикъ,—васъ послушаютъ вездѣ.

Прядышевъ робко поднялъ глаза на Глѣба.

— Не шутинь, баринъ?

— Какія шутки!

— И коли-сжели, значить, къ городничему обращусь, или къ капитанъ-исправнику?

— Всѣ вамъ помогутъ. Повторяю — вы отецъ и право ваше велико. Я служу при князѣ главнокомандующемъ и тоже предупрежу его...

Прядышевъ поднялся и съ секунду перѣшительно смотрѣлъ на Глѣба.

— Ваше высокородіе!—сказалъ онъ вдругъ, поднявъ руки и падая на колѣни:—не погубите,—знаю, гдѣ Ѳедька... Онъ сманилъ вашу невѣстку, а у меня, собачій сынъ, покралъ казну.

— Что вы говорите?

— Такъ именно-съ, какъ передъ Богомъ! — отвѣтилъ, вставая, Прядышевъ:—я это былъ по дѣлу въ Симоновомъ, а его, хмельнаго,—должно быть, послѣ попойки да картежной игры,—сволокли сюда незнакомые люди. Мать-потворщица спрятала его въ этой горницѣ. А онъ, дьяволь, при-

шелъ въ память, подобралъ ключъ да и вынулъ изъ того вонъ сундука, подъ образами.

— Много взялъ? — спросилъ Глѣбъ.

— Десять тысячъ! — отвѣтилъ Прядышевъ: — всю наличность ограбилъ; хотъ бросай дѣло, сраму — навѣкъ!

— Вы заявили полиціи?

— Гдѣ намъ, ваша милость! Люди мы махонькіе... только тягали бы! — проговорилъ, виолголоса и оглядываясь, Савва Ильичъ.

Гость и хозяинъ помолчали.

— Чтѣ же вы намѣрены дѣлать? — спросилъ Глѣбъ.

— Самы это взяли за умъ... Женѣ не сказано, — баба дура только плакала бы. Свою полицію отправилъ на развѣдки.

— Какую?

— Есть у насъ вѣрныя слуги, литейщики. Только, правду сказать, вездѣ искали, не токмо по знатнымъ гостиницамъ и домамъ, — по всѣмъ постоялымъ и харчевнямъ, гдѣ только Оедыкѣ былъ притонъ.

— И нашли?

— Напали, то-есть, на слѣдъ.

— Гдѣ же онъ?

Прядышевъ вынулъ платокъ, посмотрѣлъ на него, свернулъ его жгутомъ и еще разъ отеръ имъ затылокъ и подбородокъ. Онъ хотѣлъ говорить и затруднялся.

— Чтѣ же вы молчите? — спросилъ Глѣбъ.

— Ваше высокородіе, скажу, не утаю! — отвѣтилъ, кланяясь, Прядышевъ: — одинъ сперва уговоръ.

— Какой? говорите, слушаю.

— Готовъ ѣхать, разыскивать, ну, ничего не пожалѣю; только ваша-то милость воспоможете ли мнѣ? чтѣ безъ васъ! одна будетъ трата казны и труда!

Глѣбъ подумалъ.

— Далеко ли? — спросилъ онъ.

— Не близкій свѣтъ; надо было гультяймъ спрятать концы. Верстъ за шестьсотъ будетъ, а то и далѣе.

— Гдѣ же это? въ Петербургъ уѣхали, или въ Нижній?

— Не примите во гнѣвъ, — отвѣтилъ, снова кланяясь, Савва Ильичъ: — опосля все доложу-сь.

— Хорошо, — сказала Глѣбъ: — надо взять отпускъ; надѣюсь, князь не откажетъ; завтра буду къ вашимъ услугамъ.

— Въ такомъ разѣ, дайте знать, — заключилъ Пряды-

невъ: — только, вапсе высокородіе, въ тайности держите, лиха выйдець бѣда, коли кто узнаеть. А мы все изготовимъ и тихо выѣдемъ, какъ бы, такъ сказать, по дѣлу... Да оно и кстати; колоколь на Симоновъ отлили и вчерась отправили, — начальству, молъ, надо будетъ, по заведенному показать.

«Дѣло, кажется, слажено, — рассуждалъ Глѣбъ, возвращаясь съ завода Придышева домой: — и этотъ купчина правъ; ѣхать ему одному какая польза? Если онъ и уговорить сына оставить Серафиму и возвратиться домой, что станеть съ нею на чужой, незнакомой ей сторонѣ?»

Въ условленное время Глѣбъ получилъ отпускъ и доброе напутствіе отъ князя, которому онъ еще прежде все рассказалъ о событіи въ семьѣ брата, и снова поѣхалъ на придышевскій заводъ.

— Смотри же, Глѣбушка, — говорилъ ему на разставаньи Алексѣй: — когда вы ихъ найдете... то главное — не горячись!.. ахъ, я тебя знаю, не горячись! Ну, вѣдь ты всмыльчивъ иногда, а съ женщинами высокомеренъ и сухъ... такъ нельзя! не смѣйся, вѣдь онъ жалкія, слабыя существа... дай мнѣ слово!

Простившись съ братомъ, Глѣбъ обнялъ жену и сказалъ:

— На заводѣ Придышева, въ послѣдніе дни, усиленно работали; вотъ, Маша, тебѣ и предлогъ избавиться отъ лишнихъ разспросовъ. Скажи, что все это выдумки и вздоръ; льютъ, молъ, у Придышевыхъ колокола; оттого, по повѣрью, столько въ городѣ и басенъ. Ну, что-нибудь въ этомъ родѣ.

Придышевъ, встрѣтивъ Глѣба, предложилъ ему закушать на дорогу и, когда все было готово къ отъѣзду, они вышли на дворъ. Къ крыльцу подали широкую, на полозьяхъ, кибитку, запряженную тройкой, съ рогожанымъ верхомъ и нагруженную сѣномъ и подушками. Возлѣ кибитки стояли два рослыхъ и широкоплечихъ литейщика, въ бараньихъ полусубкахъ, перетянутыхъ ременными кушаками, и съ пашками въ рукахъ. Придышевъ, — въ волчьемъ балахонѣ и валенкахъ, и Глѣбъ, — въ медвѣжьей шубѣ и въ теплыхъ сапогахъ, — взобрались на подушки, подъ мѣховую полость. Литейщики усѣлись на козлы съ ямщикомъ. — «Въ Симоновъ!» — объявилъ ямщику Придышевъ, клаясьсь, провожавшимъ его домашнимъ. Кибитка выѣхала за ворота.

— Такъ-то, ваша честь, будетъ понадежѣе!—произнесъ вполголоса Прядышевъ, указывая Глѣбу на плотныя спины литейщиковъ, сидѣвшихъ на кѣзлахъ.

Кибитка, выбравшись на дорогу, направилась къ Симонову.

— Держи направо, на серпуховскій большакъ,—сказалъ ямщику Прядышевъ.

Литейщики переглянулись и только повели плечами.

Тройка понеслась по большой дорогѣ. Въ Подольскѣ перемѣнили лошадей. Проѣхали Серпуховъ и къ вечеру слѣдующаго дня были въ Тулѣ, гдѣ и ночевали. Прядышевъ вездѣ посылалъ на развѣдки литейщиковъ. Въ Тулѣ онъ самъ куда-то уходилъ и возвратился поздно вечеромъ. Заснувъ сильно не въ духъ, онъ нѣсколько разъ ночью пробуждался, вздыхалъ и бормоталъ какъ бы молитву.

— Что, вамъ нездоровится? — спросилъ его изъ своей комнаты Глѣбъ.

— Да, должно, отъ этой самой капусты... да и масло у нихъ, не тово!

За утреннимъ чаемъ путники разговорились.

— Стинулъ треклятый и отселева, — объявилъ о сынѣ Прядышевъ, тряся головой.

— Развѣ онъ былъ здѣсь?

— Былъ... сорилъ деньгами, какъ бѣшеный, и уѣхалъ.

— Давно ли?

— Два дня тутъ куражился; шлъ еще отъ Подольска.

— Гдѣ стоялъ?

— У Трѣшнина; нашъ тоже купеческій сынъ и прежде съ нимъ загуливалъ въ Москвѣ. Ужъ и семейный теперь, а передерживалъ такую, сказать, мразь!

— И Серафима Львовна съ нимъ была? — нерѣшительно спросилъ Глѣбъ.

— На станціи оставалась; разглядѣла гуся, видно, на пути, не подпускала его.

— Гдѣ же они теперь? Уѣхали?

Прядышевъ возвелъ глаза къ потолку.

— Быдто на богомолье, — сказалъ онъ, разставивъ руки: — въ Кіевъ поѣхали, и онъ, быдто, къ слову ей проводникъ... А ужъ какое богомолье! Тамъ, сказываютъ, всю зиму польское веселье, цыгане, ахтеры, гульба! И далъ же Господь такую кару, смертний стыдъ! Повѣситъ мало этого пса! Оттоль быдто за грашцу.

Путники снова пустились въ дорогу, свернули на Калугу и, мѣняя то сдаточныхъ, то почтовыхъ, на пятыя сутки достигли Кіева. Прядышевъ и его литейщики снова пустились на поиски блуднаго сына. Но ни въ первый, ни во второй день они о немъ ничего не узнали. Глѣбъ началъ терять терпѣніе. Ему казалось, что хлопоты его и Прядышева не приведутъ ни къ чему, что бѣглецы, имѣя большія средства, навѣрное уже не здѣсь, а ушли за границу. На третій день Прядышевъ возвратился съ развѣдокъ весь разбитый и еще болѣе сумрачный. При взглядѣ на него, Глѣбъ подумалъ: «Ну, дѣло окончательно потеряно, надо ѣхать назадъ!»

— Отыскался окаянникъ! — сказалъ Прядышевъ, усѣвшись и бросая на столъ шапку.

— Неужели нашли?

— Накрылъ, да что съ того толку?

— Какъ что? Эго и было нужно.

Прядышевъ безнадежно опустилъ голову.

— Промоталъ, собачій сынъ, — сказалъ онъ: — а больше того, должно прямо проигралъ всѣ захваченныя деньги разнымъ шулерамъ! Въ Тулѣ рѣзаяся на постояломъ, а тутъ уже дернулъ во вся нелегія! Натолкнулись они здѣсь, при вѣздѣ, на гурьбу саней съ цыганами, что пѣли это у насъ въ Москвѣ. Везпутный узналъ между ними Луню; вызвался барыню угостить ихъ пѣніемъ, да въ таборѣ ихъ и застрѣлъ; шестъ, безъ просыпу, шестой день.

— А Серафима Львовна, гдѣ она? — спросилъ Глѣбъ.

Прядышевъ разсѣянно-мутнымъ взоромъ взглянулъ на него, какъ бы не понявъ обращеннаго къ нему вопроса. Онъ гдѣ-то и кого-то, въ розыскахъ, очевидно, угощаль и самъ, вѣроятно, съ горя, тоже выпилъ.

— И шутъ его знаетъ, — продолжалъ онъ, путаясь языкомъ и скидая съ себя, почему-то, кафтанъ и жилетъ: — ну, въ кого уродился? То-есть, вотъ въ труху стеръ бы, да стѣбитъ ли теперича руки марать?

— Какъ стѣбитъ ли? — чуть не вскрикнулъ Глѣбъ: — жена моего брата... вы же думаете только о себѣ.

— Ахъ, ваше высокородіе, — слезливо проговорилъ Прядышевъ, отирая глаза: — убилъ, осрамилъ въ конецъ. Подсылалъ я къ нему, и людей тоже спрашивалъ, гдѣ эта барыня?.. Скрылъ, шибенникъ, не говорить.

ХП.

Въ это время въ комнату вошелъ старшій изъ провожа-
тыхъ Придышева. Нагнувшись къ хозяину, онъ сказалъ ему
что-то на ухо.

— Какъ? — вскрикнулъ Придышевъ: — и теперь у Пан-
тjошки? да еще при капиталѣ? Извозчика!

Онъ наскоро опять одѣлся, позвалъ и второго литейщика,
накинулъ на себя шубу и предложилъ Глѣбу ѣхать съ собой.

— Ну, ужъ теперь — помогите только, ваша милость, —
признается Федька, укажетъ все.

Глѣбъ и Придышевъ отправились на Подоль; литейщики
провожали ихъ на другомъ извозчикѣ. По пути они заѣхали
въ полицію, гдѣ, при содѣйствіи Глѣба, Придышеву дали
въ помощь квартальнаго поручика. Миновали городъ; потя-
нулись переулки предмѣстья.

— Здѣсь, — объявилъ ѣхавшій на переднихъ саняхъ по-
лицейскій, указывая Придышеву большой, подъ тесовой кры-
шей, домъ съ закрытыми ставнями.

Вечерѣло. Домъ, у котораго путники остановились, стоялъ
за небольшимъ палисадникомъ, у окраины огороженнаго
пустыря. Въ немъ, какъ объяснилъ Глѣбу полицейскій, съ
начала масляной, помѣщался цыганскій хоръ Пантjошки, и
сюда, каждый вечеръ, съѣзжались горожане и посторонніе
гости, выпить цымлянскаго или польской запеканки, послу-
шать цѣніе и посмотрѣть на пляску цыганъ. Главною при-
мапкой посѣтителей слыла красавица Луна.

Путники постучались въ дверь дома. Удивленные раннимъ
заѣздомъ гостей, цыгане нѣкоторое время не отворяли. На
новый стукъ у крыльца, изъ-за угла выглянулъ кто-то, съ
длинными усами. Завидѣвъ полицейскаго, онъ что-то гор-
танною рѣчью сердито сказалъ товарищу, стоявшему за нимъ,
и скрылся. Черезъ минуту дверь снова отворилась. На ся
порогѣ показался сѣдой и плотный, въ пестромъ архалукѣ
и въ желтыхъ, мягкихъ туфляхъ, цыганъ; то былъ самъ
содержатель хора, Пантjошка.

— Не прибрано у насъ, извините, — сказалъ онъ, покло-
нами приглашая гостей въ домъ.

Пріѣхавшіе вошли въ пріемную. Откуда-то неслись звуки
гитары и цѣніе. Изъ внутреннихъ комнатъ, справа и слѣва,
выглянули смуглыя, съ желтизной въ черныхъ глазахъ, лица
заспанныхъ цѣвницъ и цѣвцовъ, бывшихъ еще въ утреннемъ,

домашнемъ нарядѣ. Звуки гитары вдругъ смолкли. За дверьми слышались смущенные возгласы. Прядышевъ, шедшій впереди, за полицейскимъ, остановился, съ секунду помолчалъ и обратился къ Глѣбу:

— Тутъ силкомъ ничего не сдѣлать, — сказалъ онъ ему вполголоса: — померекайте съ полицейскимъ, а я вотъ на иной ладъ съ Пантюшкой.

Онъ отвелъ стараго цыгана въ сторону, сталъ спиною къ прочимъ, вынулъ увѣсистую кису и началъ что-то шопотомъ объяснять Пантюшкѣ. Онъ тяжело дышалъ. Потъ крупными каплями падалъ съ его лица.

— Федька Прядышевъ здѣсь, — говорилъ онъ: — и не упирайся... Знаешь колокольный заводъ, подь Москвой, за Рогожской? Знаешь, ну, ладно! А я отецъ Федьки... Говори, гдѣ онъ?

Пантюшка покосился на Глѣба Андреевича.

— Это кто? — спросилъ онъ, указывая на Глѣба.

— Въ адъютантахъ при московскомъ главнокомандующемъ, а Федька покралъ у него золотку.

Цыганъ задумался. Онъ уже достаточно поживился отъ Теодора и даже прямо спряталъ часть его денегъ.

— Вери, Пантюшка, и Богъ съ тобой! — сказалъ Савва Ильичъ, подавая ему изъ кисы: — только по душѣ все говори и укажи.

Цыганъ нагнулся къ нему бокомъ, принялъ отъ него пощачку и, сунувъ ее въ карманъ шароваръ, подошелъ къ полицейскому.

— Ваше благородіе, — сказалъ онъ, кланяясь: — у насъ съ вечера, значитъ, загулялъ гость; не гнать было, по морозу, со двора. А это, полагать надо, ихъ тятенька... Мы съ удовольствіемъ... не угодно ли, господа?

Пантюшка отворилъ дверь во внутреннія комнаты. Савва Ильичъ пошелъ за нимъ. Глѣбъ остался съ полицейскимъ. Черезъ минуту изъ дальней комнаты послышался окрикъ Прядышева: «Митричъ! Елисей!» Туда, черезъ черное крыльцо, вошли литейщики. Цыганъ, подведя Прядышева и его провожатыхъ къ полутемной, окнами выходившей во дворъ, боковушкѣ, остановился. — «Здѣсь!» — сказалъ онъ. Пришедшіе ступили за дверь. Въ комнатѣ, на кожаномъ диванѣ, лежало что-то неподвижное и длинное. Савва Ильичъ узналъ въ немъ своего бѣглеца.

Непроспавшіи́ся съ ночной попойки, Теодоръ лежалъ, какъ былъ съ вечера, въ щегольскомъ, французскомъ кафтанѣ, изъ розоваго шелка, съ блестками, въ такомъ же камзолѣ и узорныхъ, со стрѣлами, чулкахъ. Его напудренные волосы, съ развѣсившеюся косою, въ безпорядкѣ свѣшивались съ подушки. На отодвинутомъ отъ кровати столѣ были разбросаны карты, стояли съ догорѣвшими свѣчами подсвѣчники и недопитые бутылки и стаканы вина. По комнатѣ валялись пробки, конфетныя бумажки, табачный и всякій соръ. На стулѣ лежала брошенная гитара, увитая лентами. — «Лущка, это она!» — подумалъ Прядышевъ, снимая гитару и садясь возлѣ сына на стулѣ.

Онъ тронулъ его за плечо, тотъ не шевелился; назвалъ его по имени, сталъ дергать за руки, за ноги, — тотъ лежалъ, какъ не живой.

— Ушатъ воды! — сказалъ Савва Ильичъ: — да мотри, ребята, похолоди́й.

— Ваше степенство, — позволилъ себѣ замѣтить старшій изъ литейщиковъ: — не погни́валась бы Аграфена Марковна.

— Я тебѣ тутъ сказъ, не она!

— Не было бы какой обиды, — вмѣшался также цыганъ.

— Не твоя голова въ отвѣтъ, моя! — отвѣтилъ Прядышевъ: — а ты, Пантю́ха, тащи сюда его шубу, шапку и прочее, коли цѣлы.

Цыганъ крикнулъ за дверь своимъ. Тѣ принесли шубу и шапку Ѳедора. Прядышевъ сталъ осматривать карманы сына; въ одномъ оказалась женская перчатка, въ другомъ — горсть серебряныхъ и двѣ золотыхъ монеты.

— Только-то! — сказалъ Савва Ильичъ, укоризненно качая головою Пантю́шкѣ: — экую казну, дьяволь, скончили́ть.

— Громъ побей! Землю буду ѣсть, больше и не было! — божился и крестился цыганъ, вспоминая немалый кушъ, нереложенный изъ кармановъ Теодора въ свой сундукъ.

— Десять тысячъ слопалъ! Разбойники! — повторялъ Прядышевъ, глядя сквозь слезы на остатокъ сыновней казны, который онъ держалъ на ладони: — открой, Пантелѣй, можетъ знаешь, гдѣ что припрятано?.. Подѣлюсь!

— Лошни глаза, сказать бы! — клялся Пантю́шка, кляпясь и цѣлуя полы кафтана Прядышева: — угрѣли гусары въ карты, убей Богъ, гусары...

Савва Ильичъ утеръ слезы кулакомъ и сунулъ найденныя деньги цыгану.

— Лушкѣ! Ей, урванъ-схидницѣ!—сказаль онъ, махнувъ рукой:—эка козырь дѣвка! барынь даже стала отбивать... А теперича давай ножницы!—прибавиль Прядышевъ, засучивъ рукава.

— На что тебѣ?

— Увидишь...

Цыганъ принесъ ножницы. Въ сѣняхъ послышались шаги литейщиковъ, тащившихъ съ надворья ушатъ воды.

— Слушай, Пантюша, —сказаль Савва Ильичъ, въ свой чередъ кланяясь цыгану:—уйди, сдѣлай милость! не мозоль глазъ! что тебѣ глядѣть на экое горе и стыдъ?

— Не ввели бы малаго въ какой изьянь?

— Что ты? да развѣ я ему не отецъ? вотъ те крестъ!—сказаль, крестясь, Прядышевъ:—свое дѣтище, не искалѣчу!

Цыганъ вышелъ за дверь.

— Ну, ребята, теперь слушать, что скажу! —обратился Прядышевъ къ литейщикамъ:—брызни ему въ рыло.

Тѣ брызнули. Ѳедоръ слегка зашевелился.

— Заноси, валяй!—объявилъ Прядышевъ.

Литейщики подняли ушатъ и, съ розмаха, окатили имъ спавшаго хозяйскаго сына. Ѳедоръ дико вскрикнулъ, вскочилъ и, какъ безумный, бросился-было бѣжать, но увидѣлъ передъ собой отца и въ ужасѣ присѣлъ на кровать.

Митричъ и Елисей связали его поясами по рукамъ и ногамъ. Прибѣжавшій на крикъ Пантюшка увидѣлъ, что Ѳедоръ сидитъ уже среди комнаты, на стулѣ, литейщики придерживаютъ его за плечи, а Савва Ильичъ, отрѣзавъ сыну косу, подстригаетъ въ скобку остатки его мокрыхъ, напудренныхъ волосъ.

— Былъ лѣпокудрый Авессаломъ, ходилъ, какъ картинка, соблазнялъ барынь и дѣвокъ-пѣвицъ!—приговариваль, щелкая ножницами, красный отъ волненія, Прядышевъ:—быть тебѣ опять Ѳедькой-мужикомъ, походить въ посконномъ зипунѣ, поработать отцу!

Цыганъ ушелъ сообщить Глѣбу о видѣнномъ. Вскорѣ за нимъ возвратился и Прядышевъ.

— Ваша милость, простите за все,—сказаль онъ, отведя Глѣба въ сторону:—надѣлали мы, окаянники, вамъ хлопоть.

— А братнина жена?—спросилъ Глѣбъ.

— Допытался у изверга!—отвѣтили Прядышевъ:—бросила его, чуть пріѣхала сюда... раскусила, сердечная, этакаго хама! и часу съ нимъ не осталась въ гостиницѣ.

— Гдѣ же она?

— Возлѣ Лавры, у вдовы-дьяконицы пріютилась; спросите домъ Михѣевой.

Провожаемый Пантюшкой, Глѣбъ вышелъ на крыльцо, спросилъ извозчика, знаетъ ли онъ домъ Михѣевой и какъ туда добраться, и велѣлъ ѣхать къ Лаврѣ. На углу ближайшаго переулка его обогнали двое саней. Въ однѣхъ сидѣли старикъ Прядышевъ и полицейскій, въ другихъ—литейщики, державшіе на колыняхъ закутаннаго въ шубу Ѳедора. Последній, вырываясь изъ ихъ объятій, повторялъ всхлипывая: «Прощай, упоительница! богиня! гибну, прощай навѣкъ!» На поворотѣ къ Крещатику онъ оглянулся и узналъ Глѣба. Рванувшись еще сильнѣе, онъ что-то озлобленно закричалъ. Глѣбъ разслышалъ только: «уважилъ, мерси! не будь живъ, попомню!..»

Сани мчались къ Лаврѣ. Показались верхи церквей, каменные стѣны. У взгорья, надъ обрывомъ, стало видно нѣсколько домишекъ. Вдова Михѣева, у которой стояла Серафима, была просвирней. Молодая стряпуха, съ засученными рукавами и съ лицомъ, испачканнымъ мукой, провела Глѣба изъ сѣней въ чистую комнату, съ запахомъ свѣже-испеченнаго хлѣба.

— Вамъ матушку?—обратилась она къ Глѣбу.

— Да, побезпокойте.

XIII.

Изъ-за двери выглянула высокая, тощая старуха, въ мѣховой безрукавкѣ, повязанная чернымъ платкомъ.

— Просвирокъ, батюшка?—спросила она, кашляя и придерживая дверь.

— Дѣло, матушка, къ вамъ,—отвѣтилъ Глѣбъ:—здѣсь ли стоитъ Серафима Львовна Дуганова?

— Вамъ, сударь, зачѣмъ?

— Скажите ей,—братъ ея мужа желаетъ видѣть ее.

Дьяконица недовѣрчиво взглянула на Глѣба, пошла и опять возвратилась къ нему.

— По правдѣ, сударь, говорите?—спросила она, не отходя отъ двери.

— Горе, матушка, тяжкое горе,—сказаль Глѣбъ:—все ли объяснила вамъ ваша постоялка?

— И не говорите!—отвѣтила, озираясь, старуха.

Она указала гостю стулъ и сама сѣла возлѣ него.

— Какъ она у васъ очутилась?—спросилъ Глѣбъ.

— Увидѣла я ее въ церкви,—начала дьяконица:—молится, примѣчаю, необычно; упадетъ на колѣни, глядитъ на Пречистую, а слезы такъ и льются. Сталь народъ подходить ко кресту; гляжу, гдѣ моя сердечная? а она припала въ уголку, гдѣ молилась, и лежитъ ничкомъ, какъ неживая. Я къ ней, она безъ гласа. Подняли мы ее, привели въ чувство. Гдѣ, сударыня, спрашиваю, живете и кто вы? Ни слова, смотреть только на меня.

Дьяконица помолчала.

— Всякія бываютъ злосчастныя,—продолжала она:—что тутъ допытываться? отвела я ее сюда, да вотъ почти недѣлю и храню ее, Господь съ нею. Не спитъ, не ѣсть... Вы бы, говорю, сходили къ начальству, или къ судящимъ; можетъ, что и посовѣтовали бы. Не идетъ, убивается, плачетъ.

— Говорила ли она что о себѣ?

— Не открыла, упорна.

— Что же, полагаете, въ мысляхъ у нея?

— Ужъ очень ожесточилась. Какъ привела я ее сюда,—по васъ видно, говорю, не простая вы,—можетъ, какія вещи гдѣ оставили, послали бы подобрать? Она такъ и затряслась,—ничего, говорить, мнѣ теперь не надо; я пропала и всему, видно, конецъ!

— Помогите,—сказаль Глѣбъ:—надо ее вывезти отсюда поскорѣй!

— Куда?—съ удивленіемъ спросила дьяконица.

— Къ мужу, къ дѣтямъ, въ родную семью.

— Такъ она и впрямь замужняя?

— Да, и мой братъ такой любящій, добрый; онъ все забудетъ, они примирятся.

Старуха сомнительно покачала головой.

— Богъ васъ разберетъ,—сказала она въ раздумѣ:—только не о томъ, какись, ея мысли; а впрочемъ, пойду, доложу.

Она ушла.

Глѣбъ, разглядывая снѣжный пустырь, стлавшійся передъ окнами убогаго домишки, думаль: «Бѣдная Серафима! жал-

кая, заблудшая овца... Не смѣть и думать о прощеніи, — а я ей именно и привезь его... вотъ обрадуется!»

За спиной Глѣба скрипнула половица. Онъ оглянулся; передъ нимъ стояла Серафима. Но какъ она измѣнилась! Глѣбъ, съ перваго взгляда, не узналъ ея. Куда дѣвалась сіяющая торжествомъ, миловидная и веселая вѣтреница, въ костюмѣ испанской пастушки, какою Глѣбъ, въ послѣдній разъ, видѣлъ ее, среди грома рукоплесканій, на подмосткахъ сѣимоновскаго театра? Передъ нимъ, съ скрепченными на груди руками, въ измятомъ дорожномъ капотѣ и съ пучкомъ кое-какъ подобранныхъ волосъ, стояла исхудалая и блѣдная тѣнь Серафимы. Ея глаза смотрѣли озлобленно.

— Вы зачѣмъ здѣсь?—спросила она, едва кивнувъ головой на привѣтъ Глѣба: — посмотрѣть на мое посрамленіе, позоръ? Что же, глядите! вотъ я—передъ вами.

— Сестра, дорогая, одумайтесь! кто Богу не грѣшенъ? братъ забудетъ все...

— Грѣшенъ? Ъхать съ вами, возвратиться домой?

— Да.

— И вы думаете, что это, послѣ всего, возможно?

— Да, разумѣется... Клянусь вамъ, братъ смягчится, простить... знайте, наконецъ, — прибавилъ Глѣбъ: — онъ вамъ все простилъ!

— Простилъ?—страннымъ голосомъ спросила Серафима: — и это онъ, онъ уполномочилъ мнѣ объявить?

— Да, да!—твердилъ Глѣбъ:—вамъ остается только благодарить Бога и ѡхать со мной. Ъдемъ, дорогая сестра, ѡдемъ...

Серафима ухватила за сердце. Ея блѣдныя губы беззвучно двигались.

— Какая пытка!—вскрикнула она, всплеснувъ руками:— простилъ! да я-то простила ли его? какъ? четыре года каторги, въ трущобѣ, въ дикой глуши? А думалъ ли, соображалъ ли онъ, въ эти годы, что тамъ, въ той норѣ, рядомъ съ нимъ и съ его важными дѣлами, гложетъ любившее его, молодое существо? Думалъ ли, что этому существу хочется жить?

— Но братъ, извините, — возразилъ Глѣбъ: — не сидѣлъ сложа руки; онъ заботился о вашемъ же достоинствѣ.

— Будь оно проклято, это достоинствѣ!—кричала Серафима, ходя по комнатѣ и ломая руки: — молодая женщина, — ну, легкомысленный, если хотите, вѣтреничій ребенокъ, — жаждала

свѣта, веселья, забавъ,—а ее держали въ четырехъ стѣнахъ тюремной тюрьмы. Она стремилась, хоть на короткое время, вздохнуть въ обществѣ, порядиться, быть въ театрѣ, на вечерахъ,—ну, забыться, поплясать,—а вашъ братъ все откладывалъ,—дѣла, видите ли, плохи, денегъ нѣтъ... и довелъ... а теперь великодушно прощаетъ!

— Но, сестра, вѣдь дѣйствительно братъ былъ крайне стѣсненъ,—замѣтилъ Глѣбъ.

Серафима взглянула на него и опять ухватила за сердце.

— Да, я грѣшница,— сказала она:— великая грѣшница, передъ Богомъ и людьми; измѣнила, скажутъ, мужу и нѣтъ мнѣ прощенья во вѣкъ. Наказана, дескать, по заслугамъ; ослѣпилъ Господь и не далъ тутъ же умереть, чтобъ казнилась вѣчно... Но я ни у кого не прошу прощенья и не принимаю его! Возвращайтесь домой; я съ вами не поѣду. Нѣтъ у меня болѣе ни мужа, ни семьи, ни родныхъ. Оправдываться не намѣрена! обвиняйте на всѣхъ перекрѣсткахъ...

— Но ваши дѣти... вспомните о нихъ!

— Ахъ, оставьте меня, Глѣбъ Андреевичъ! я все вамъ сказала. Не приходите болѣе, не терзайте меня. Это мое окончательное рѣшеніе. Простилъ, ха-ха! благодарю!

Серафима зарыдала, бросилась къ двери и остановилась.

— Что же до дѣтей,— сказала она, оглянувшись:— пусть и они скорѣе меня забудутъ... какая я имъ мать? добра же я ихъ не трону, успокойтесь,— оно будетъ цѣло.

«Нѣтъ, это невозможно,— думалъ Глѣбъ, возвращаясь въ городъ,— она не въ своемъ умѣ. Надо принять мѣры, разузнать ее, обратиться къ опытнымъ врачамъ».

Глѣбъ вспомнилъ при этомъ о Спесивцевѣ. — «Недурной медикъ, находчивъ и уменъ,— размышлялъ онъ, но мало все-лялъ довѣрія... О, этотъ навѣрное придумалъ бы выходъ...»

На постояломъ Глѣбъ уже не засталъ Прядышева.

— Савва Ильичъ,— сказалъ ему, на его разпросы, половиной:— извиняются, что не дождались вашей милости.

— Гдѣ же онъ?

— Крѣпко шумѣлъ и буянилъ ихъ сынъ. Они одѣли его въ простую, какъ есть, одежу,— ихній Митричъ на рынкѣ кушилъ,— послали за почтовыми, да такъ его, сердечнаго, связаннаго, какъ теленка, и повезли.

Дугановъ еще разъ навѣстилъ Серафиму. Она не приняла

его. Глѣбъ вручилъ дяконницѣ свертокъ денегъ, сказавъ, что это на необходимыя издержки для его родственницы, и предупредилъ, что видѣлся съ рекомендованнымъ ему врачомъ и что завтра тотъ явится къ ея услугамъ. Утромъ слѣдующаго дня Глѣбу принесли оставленныя имъ деньги обратно, съ запиской Серафимы, гдѣ та извѣщала его, что если она, въ день прїѣзда въ Кіевъ, промѣняла лучшую гостиницу на уголь у бѣдной просвири, то это еще не доказываетъ, чтобы она нуждалась,—у нея есть свои средства, взятыя изъ дому; будучи же совершенно здоровою, она благодарить за заботы и просить одного одолженія,—оставить ее въ покоѣ.—Глѣбъ, въ тотъ же день, уѣхалъ обратно въ Москву.

— Нѣтъ, это не женщина, демонъ,—сказалъ онъ Маріи, возвратясь домой и, съ чувствомъ горькой досады и негодованія, передавая ей о неудачной поѣздкѣ въ Кіевъ и о свиданіи съ Серафимой:—не она оказалась виновною и подсудимою, а мы... Богъ съ нею! надо приготовить, убѣдить брата... Онъ долженъ, обязанъ забыть это бездушное, злое существо.

Разсказъ Глѣба произвелъ на Марію удручающее впечатлѣніе. Что же до Алексѣя, то онъ слова брата о жестокости и безповоротности рѣшенія его жены принялъ съ полною покорностью воли Провидѣнія. Какъ ни старался Глѣбъ смягчить свой разсказъ, Алексѣй чутьемъ угадалъ и взвѣсилъ все недосказанное и прикрытое, изъ расположенія и жалости къ нему.—«Да, испытаніе, кара Божья!—твердилъ онъ:—Господь ее разсудитъ!»—Пробывъ въ Москвѣ еще нѣкоторое время, онъ, попрежнему, посѣщалъ храмы, на средокрестной недѣлѣ отговѣлъ и рѣшился ѣхать въ деревню, но вдругъ наставшая распутица опять помѣшала ему. Алексѣй отложилъ поѣздку до конца поста, чтобы Пасху встрѣтить съ дѣтьми, о которыхъ ему изъ деревни писалъ сосѣдъ. Въ первый день страстной недѣли Глѣбъ и Маріи съ нимъ простились.

— Ахъ да, я и забылъ тебѣ сообщить,—сказалъ Алексѣй, на разставаньи, брату:—моя-то благовѣрная чудачка... что сдѣлала?.. Узнала, вѣроятно, что я еще въ Москвѣ, и, какъ бы ты думалъ, чѣмъ озадачила снова? выслала, представь, изъ кіевскаго суда, мнѣ дарственную на Горки.

— Чѣмъ же чудачка?—отвѣтилъ Глѣбъ:—во-первыхъ, Горки—не родовая у нихъ вотчина, и во-вторыхъ, ты ее,

разумѣтся, сбережешь... Лучше оставить дѣтямъ, чѣмъ прокутить съ любовниками.

Этотъ рѣзкій, сухой отвѣтъ Глѣба болѣзненно отозвался въ душѣ Алексѣя. Онъ хотѣлъ возражать и не нашель словъ. Деревня не выходила изъ его головы; онъ самъ уложилъ въ чемоданы бѣлье, платье, игрушки дѣтямъ, нѣсколько книгъ по хозяйству и томъ Четив-Миней, мечтая хоть въ нихъ найти успокоеніе.

Вечеромъ, наканунѣ его отъѣзда, всѣ по обыкновенію пили чай, въ кругу немногихъ, общихъ знакомыхъ. Здѣсь были и Спесивцевъ. Опъ, за чайнымъ столомъ, игралъ съ Алексѣемъ въ шахматы. Алексѣй то мрачно молчалъ, то какъ-то порывисто становился веселъ, шутилъ и даже острилъ,—королеву звалъ—«заснобушкой», короля—«Паштѣнкой», пѣшекъ—«Фединькой».

— А что, въ самомъ дѣлѣ,—спросилъ Спесивцевъ:—гдѣ нашъ этотъ рыцарь блѣднаго образа, Теодоръ?

— Имѣю свѣдѣнія, — отвѣтилъ Глѣбъ: — отецъ привезъ его на заводъ, собралъ рабочихъ, далъ ему вдоволь лозановъ и поставилъ, подъ строгій надзоръ, въ рядовые литейщики.

Всѣ промолчали на эту вѣсть; Алексѣй, двинувъ шашечницу, разразился громкимъ, судорожнымъ хохотомъ.

— Вотъ такъ купчина!—заливался онъ, отирая слезы:— ай да молодецъ! ха-ха! лозановъ... парижскому петі-мѣтру! надоумилъ, по старому обычаю поучилъ.

Смѣялся ли, плакалъ ли Алексѣй, трудно было разобрать. Марі же, на другой день, не могла безъ слезъ смотрѣть на него, когда онъ, какъ-то сиротливо и одиноко, сгорбившись, сѣлъ въ тотъ самый возокъ, въ которомъ еще такъ недавно съ Серафимой пріѣхалъ въ Москву, какъ выразился тогда: «людей посмотришь и себя показать».—«Боже! неужели скоро увижу Горки, дѣтей?—думалъ Алексѣй, вырвавшись наконецъ изъ Москвы,—а она-то, она?»

XIV.

Тяжелое время пережила Марі, вслѣдствіе всего, что соединилось съ неожиданнымъ побѣгомъ Серафимы и ея невѣроятною рѣшимостью—болѣе не возвращаться въ свою семью. Это обсуждалось между близкими бѣглянки на тысячу ладовъ. Марі болѣе всѣхъ терялась въ догадкахъ. Она пыталась-было писать Серафимѣ въ Кіевъ и послала

ей туда, въ мартѣ и въ апрѣлѣ, нѣсколько писемъ, адресуя ихъ въ домъ дьяконицы Михѣсовой, но отвѣта ни на одно не получила. Теряясь въ соображеніяхъ, гдѣ она и что съ нею, Марі хотѣла-было, подъ видомъ богомолья, и сама съѣздить въ Кіевъ, чтобы тамъ подробнѣе все узнать о Серафимѣ, но мужъ возсталъ противъ этого. — «Не срамись, — сказала онъ ей: — видишь, какая она стала; ну, охота вязаться съ низкою, совсѣмъ потерянною женщиной! Братъ теперь спасенъ! онъ рожденъ для деревни, она—его воздухъ, его жизнь, и, вѣрь, тамъ онъ окончательно забудетъ эту тварь!»

Какъ ни разсуждалъ и ни доказывалъ Глѣбъ, Марі было жаль золовки. Она старалась убѣдить себя, что Серафима вовсе не такъ испорчена въ душѣ, какъ это могло казаться другимъ, и что здѣсь на нее просто нашло какое-то, непонятное на взглядъ другихъ, роковое затменіе. Ея добрыя мысли о Серафимѣ не находили себѣ, однако, ни въ чемъ подтвержденія.

Съ перваго года женитьбы Глѣба и Марі, съ ними велъ дружескую переписку одинъ небогатый саратовскій помѣщикъ-старичокъ, сосѣдъ Алексѣя, Сила Ѳомичъ Травкинъ. Алексѣй и Глѣбъ вообще были чужды литературѣ, Алексѣй же не долюблялъ и вообще писанія, а Сила Ѳомичъ, — напротивъ, — при всей скудости личныхъ средствъ, былъ весьма начитанъ и въ своемъ околоткѣ считался не только знатокомъ въ литературѣ, но и бойкимъ и умѣлымъ по части всякаго писанія. Глѣбъ давно хлопоталъ о какомъ-то тяжёбномъ дѣлѣ Травкина въ московскомъ сенатѣ, куда послѣдній явиться не имѣлъ возможности. Сила Ѳомичъ зато усердно сообщалъ ему какъ о здоровьѣ его брата и дѣтей послѣдняго, такъ и вообще о дѣлахъ Алексѣя.

Травкинъ былъ невысокій, на согнутыхъ ножкахъ, добродушный и постоянно веселый толстякъ. Въ заѣздъ Глѣба женихомъ въ Горки, онъ потѣшалъ его разказами изъ прочтенныхъ имъ модныхъ тогда романовъ — «Похожденій Жильблаза де-Сантилланы» и «Хромого оъса» Лесажа. Кромѣ «Шутливыхъ повѣстей», Сила Ѳомичъ, впрочемъ, углублялся въ поэзію и философію. Онъ дамамъ, въ семьѣ Алексѣя, декламировалъ отрывки изъ «Мессіады» Клопштока и «Ночей» Эдварда Юнга, читалъ имъ «Штурмовыя

размышленія» и «О происхожденіи зла» Галлера и, какъ всѣ знали, выписывалъ по почтѣ изъ Москвы сатирическіе журналы мартиниста Новикова. Самъ въ душѣ мартинистъ и масонъ, бездѣтный и вдовый, Травкинъ обыкновенно говорилъ: «Не дѣлай зла другимъ, никто тебѣ его не причинитъ, — весь міръ — твоя семья, люби его и чтѣ!» — Онъ былъ мягокъ и добръ со своими крестьянами, а изъ сосѣдей особенно любилъ Алексѣя и его семью. Дома у него было два развлеченія — гусли и пріемышь-крестникъ Боря. Ему Травкинъ сберегалъ свое небольшое достояніе, такъ какъ родной братъ Сила Ѳомича, Павелъ, женатый на богатой янцкой казачкѣ, отказался отъ наслѣдства по отцѣ. Двѣнадцатилѣтній мальчикъ, котораго Травкинъ училъ грамотѣ и играть на скрипкѣ, не могъ по своему возрасту раздѣлять его умственно-возвышенныхъ досуговъ. Эти досуги Сила Ѳомичъ наполнялъ мелодическими фантазіями на лютнѣ.

Травкинъ сообщилъ Глѣбу о возвращеніи въ Горки его брата. Отъ него же Глѣбъ и Маріа узнали, что Алексѣй, снова поселясь въ деревнѣ, впалъ еще въ бѣдлшее уныніе и скорбь. Видъ осиротѣлыхъ, безъ матери, дѣтей приводилъ его въ безысходное отчаяніе. Хозяйство болѣе не развлекало его. Онъ безъ толку слонялся по дому. Прежде любилъ охотиться, а теперь бросилъ собакъ и ружье. Въ одномъ онъ находилъ еще нѣкоторое утѣшеніе: сойдясь съ приходскимъ священникомъ, престарѣлымъ, набожнымъ и толковымъ, отцомъ Василиемъ, Алексѣй цѣлые дни проводилъ съ нимъ, завершись въ своемъ сельскомъ кабинетѣ и читая Священное Писаніе — «единое, — какъ выражался Сила Ѳомичъ, — утоленіе скорбящей его души».

«Вы представить себѣ не можете, — писалъ, между прочимъ, Глѣбу Травкинъ, — чтѣ стало съ вашимъ добронравнымъ и унылымъ братцемъ! Сидитъ, въ точности говорю, по вся дни, наединѣ, хотя и съ препочтеннымъ, но дряхлымъ попомъ, въ ночномъ шлафроку, или въ извѣстномъ вамъ дорожномъ, драпомъ архалучкѣ, не причесанъ, а нерѣдко по суткамъ и не умытъ. И чтѣ дѣлаетъ? читаетъ о жизни Магдалины, Продіады и иныхъ палестинскихъ женъ. Домочадцы съ скорбію слышатъ его вздохи, а часто и рыданія. Отецъ Василій неустанно вразумляетъ его, хотя, по видимости, и тщетно. Начавшіе было, отъ извѣстныхъ

вамъ причинѣть, копошиться и грубить крестьяне, подданные вашего брата, благодареніе Богу, присмирѣли. Да оно и препонятно; съ Мика дошли вѣсти, что состоялась сентенція надъ главными бунтовщиками,—болѣе сорока челоуѣкъ повѣсить, дванадцать четвертовать, а остальнымъ—нещадныя плети».

Въ началѣ апрѣля 1773 года Глѣбъ и Маріа получили краткое извѣстіе отъ самого Алексѣя. Онъ имъ писалъ, что, при постигшей его бѣдѣ, ему пришла благая мысль—перестроить въ Горкахъ ветхую деревянную церковь; что онъ началъ уже заготовлять для того нужные припасы и что вскорѣ, съ Божьею помощію, надѣется собраться со средствами и приступить къ обновленію этого храма. «Все предполагаю,—писалъ онъ:—окончить не далѣе лѣта», причемъ просилъ брата и невѣстку, на высланныя деньги, заказать и доставить ему изъ Москвы въ Саратовъ часть церковной утвари. О Серафимѣ, съ выѣзда своего изъ Москвы, Алексѣй не вспоминалъ ни единымъ словомъ.

Въ концѣ апрѣля Глѣбъ отъ Травкина получилъ слѣдующее письмо:

«Сообщаю вамъ нѣкую, особливую и любопытства достойную, вѣсть, — писалъ онъ: — наша извѣстная авантюрьера, сирѣчь Серафима Львовна, подала, наконецъ, о себѣ вѣсть; она, заблудшая овца, объявилась, токмо уже не въ Кіевѣ, а близъ Казани, въ родовой вотчинѣ превосходительной своей тетушки, генеральши Туровцовой. И представьте, прямо о себѣ осмѣлилась написать, кому же?—самому Алексѣю Андреевичу, и притомъ такъ гордо, даже заносчиво! «Извѣстите, молъ, прошу васъ, милостивый государь мой, что и какъ съ моими дѣтьми?»—Каковъ вопросъ и къ кому обращенъ? къ несчастному, брошенному ею же, мужу! Алексѣй Андреевичъ, разумѣется, на оное писаніе вовсе и не удостоилъ отвѣтомъ».

— И отлично сдѣлалъ! — сказалъ Глѣбъ, прочтя вслухъ это письмо женѣ:—давно бы такъ взятыся за умъ! не было бы того, что произошло.

Наступилъ май. Въ теченіе этого мѣсяца, по извѣщенію того же Силы Ѳомича, Серафима снова и уже не одинъ разъ, а въ двухъ подъ-рядъ письмахъ, адресовалась къ мужу съ тѣми же вопросами о дѣтяхъ.

«Пишеть, вообразите, и паки пишеть, — сообщать о ней сосѣдъ Алексѣя:—и ужь собственною ли это персоной, или по выговорамъ и должному осужденію разумной своей тушки-генеральши, только въ эти разы многожды мягче и въ подобающемъ приличіи. Сейчасъ и видать, жизнь-то въ постороннемъ, хотя бы и пріютившемъ ее углу, при всѣхъ о ней заботахъ и роскошахъ, ой, какъ солона, знать, пришлась оной, новой, выразиться такъ, Пентефріи. И извините меня, глубокочтимый Глѣбъ Андреевичъ, за такое сравненіе; къ слову привелось. Не соблазняй, сударушка, глупыхъ молокососовъ, не грѣши! Вашъ же препочтенный и всякаго сочувствія достойный братецъ, и на тѣ, болѣе искательныя, уловленія, не только вновь не отвѣтствовалъ, но, какъ и слѣдуетъ, не обратилъ ни малаго вниманія, — обоими письмами такожде пренебрегъ».

— Пентефрія, — съ досадою фыркнулъ Глѣбъ, прочтя и это письмо женѣ: — нечего сказать, по-дѣломъ, удостоилась твоя бывшая подруга клички! И отъ кого же? отъ Травкина, ничтожнаго и глупаго однодворца.

Глѣбъ выходилъ изъ себя. Марі, съ болью въ сердцѣ, слушала его жестокіе и рѣзкіе отзывы о Серафимѣ, всячески стараясь возвратить къ ней хотя тѣнь снисхожденія мужа, но не достигла этого. Глѣбъ оставался при прежнемъ мнѣніи о Серафимѣ. Марі, послѣ писемъ Серафимы къ мужу, пыталась заводить съ Глѣбомъ разговоры о невѣсткѣ, при постороннихъ, близкихъ имъ знакомыхъ. Тѣ, въ особенности Спесивцевъ, открыто держали ея сторону.

XV.

Однажды, это было въ срединѣ мая, Дугановы бесѣдовали, въ обычномъ своемъ кругу, объ Алексѣѣ и его женѣ. Марі рѣшилась утверждать, что Серафима, не смотря на внѣшніе поводы къ ея обвиненію, въ душѣ не испорчена и, какъ добрая женщина, всегда искренно способна раскаяться.

— Марья Родіоновна права, — сказалъ внимательно слушавшій ее Спесивцевъ: — и вы, Глѣбъ Андреевичъ, увидите, вашъ братъ, насколько я его знаю, если не въ этомъ, то въ слѣдующемъ году, непременно снова сойдется съ женой.

Глѣбъ, при этихъ словахъ, вспыхнулъ. Краска залила его лицо.

— Какъ? мой братъ?—спросилъ онъ, мѣривъ Спесивцева глазами.

— Да-съ, Алексѣй Андреевичъ Дугановъ.

— И вы такого дурного мнѣнія о братѣ?

— Чѣмъ же дурного? онъ человекъ и притомъ съ добрымъ сердцемъ.

— Такъ вы допускаете,— продолжалъ, съ раздраженіемъ въ голосъ, Глѣбъ:— что, послѣ всей грязи, запятнавшей его доброе, неповинное имя, онъ откроетъ свои двери и скажетъ этой женщинѣ, этой твари, милости просимъ, снова водворайся у меня и, по былому, царствуй?

— Какое же униженіе, помилуйте? — возразилъ Спесивцевъ: — къ мужу придетъ грѣшная жена, въ двери родной семьи станетъ стучаться, моля о пощадѣ и примиреніи, опомнившаяся мать, и этой двери ей не отопрутъ?

— Вѣдь ты же допускаешь, нельзя же не допустить покаянія?—спросила мужа Марі, сжимая и цѣлуя ему руку.

Глѣбъ вырвалъ у нея руку и всталъ.

— Все можно говорить, — сказалъ онъ, съ приливомъ острой непонятной злобы, смотря на доктора и на жену:— но этого... извините меня!.. считать моего брата за такое... жалкое ничтожество!.. воля ваша, этого я снести не могу!

— Но вы же, да и вашъ братъ, — произнесъ Спесивцевъ: — давно ли вы оба говорили, какъ разъ противное тому, что проповѣдуете, повидимому, теперь? вѣдь онъ именно дѣлаетъ то, что вы говорили... Вотъ она, жизнь! значить, не одно дѣло—говорить и дѣлать, значить...

Глѣбъ не дослушалъ доктора. Онъ всталъ и направился въ кабинетъ, но увидѣлъ въ залѣ свою шляпу, взялъ ее и вышелъ на улицу. Марі видѣла, какъ онъ подозвалъ первого попавшагося извозчика, сѣлъ на дрожки и уѣхалъ. У него въ тотъ день, какъ Марі знала, было нужное дѣло въ городѣ, и обрадовалась, что мужъ проѣздитъ, а слѣдовательно, и успокоится.

— Ну-съ, милая барыня, а у васъ все ли благополучно? — спросилъ Спесивцевъ, тоже взявъ шляпу: — что пишутъ изъ Ракитнаго? незабвенная Украйна!.. какъ здоровье вашей свекрови?

— Маман здорова, — отвѣтила Марі: — но вотъ, право, мы толкуемъ о разныхъ разностяхъ, а я и забыла... съ Васей что-то неладно.

— Что же у него?

— Головка горячая, все плачетъ.

— На зубки, Марья Родіоновна... очевидно, пустяки-сь, и вы о томъ не думайте... вырѣзался одинъ, пойдутъ, съ Богомъ, и другіе...

— Легко сказать, не думать!

— Да въ дѣтскихъ болѣзняхъ, сударыня моя, менѣ всего прибѣгайте къ медикамъ.

— Ахъ, Боже мой, у васъ все одна пѣсня!—сказала съ досадой Марі:—и помирать-то, кажется, мы станемъ, а вы будете толковать одно: не обращайтесь къ врачамъ. Не вы ли мнѣ говорили про какую-то чудовую травку для дѣтей,—материнку, что ли, — отъ которой будто даже умирающіе воскресаютъ?

— Это истинная-сь правда, только вы меня не поняли... Заболѣй дѣйствительно кто-нибудь, о, разумѣется, я первый... зовите тогда и меня, гдѣ бы я ни былъ и что бы ни дѣлалъ, явлюсь, и не только для васъ стану медикомъ, пропишу и эту материнку.

Спесивцевъ поклонился и хотѣлъ уже идти.

— А кстати, однако,—сказалъ онъ:—дайте взглянуть на вашего наслѣдника, изъ-за чего онъ у васъ сталъ киснуть?

Няня принесла ребенка. Спесивцевъ внимательно осмотрѣлъ его.

— Малокровіе, — сказалъ онъ: — вы, впрочемъ, тоже не отличаетесь особымъ здоровьемъ. Мало питаетесь, черезъ васъ и онъ. Памятуйте, повторяю, великихъ виталистовъ Броуна, Бартэ и Сталя; я вамъ о нихъ говорилъ. Лучше питайте ребенка. Скорѣе отнимите его отъ груди и ставьте на общую пищу; а еще будетъ лучше, если и вы сами, съ мальчуганомъ, это лѣто, да и часть осени, проведете въ деревнѣ. *Vis medicatrix naturae...*

— Нельзя намъ на югъ къ маман; у мужа столько занятій.

— Такъ переѣзжайте здѣсь въ окрестности. Вы же говорили, что князь давно предлагаетъ вашему мужу свою здѣшнюю, казенную мызу, возлѣ Кунцова. Ребенокъ и вы скоро тамъ оправитесь.

Марі передала Глѣбу, какъ бы отъ себя, эту мысль. Онъ самъ ей не разъ, въ этомъ году, говорилъ о деревнѣ и былъ не прочь подышать сельскимъ воздухомъ. У нихъ же, кстати, постоянно были свои лошади, для поѣздки Глѣба на службу,—значитъ, можно было удобно устроиться, —

и Дугановы, около половины мая, переѣхали на казенную мызу, возлѣ Кунцова.

Вскорѣ послѣ этого переѣзда, Глѣбъ получилъ отъ Алексѣя письмо съ извѣщеніемъ, что перестройка церкви идетъ успѣшно и что на Петровъ день онъ просить и ждать брата и его жену на освященіе церкви. Ѣхать имъ въ Горки не пришлось. Маріи, недавно передъ тѣмъ, отняла Васю отъ груди и хотя чувствовала себя на мызѣ, внѣ городской дуроты и пыли, отлично и была вообще въ духѣ, хотя и ребенокъ, перейдя на собственные свои хлѣба, повеселѣлъ и сталъ оправляться, — не рѣшалась оставить его одного, на рукахъ няни, а брать его съ собою въ дорогу, да еще въ такую даль, сильно опасалась.

У Глѣба, около этого времени, тоже накопилось много неотложныхъ и важныхъ служебныхъ дѣлъ. Князь, охотно отпускаяшій его, по дѣлу брата, въ Кіевъ, теперь безпрестанно звалъ его къ себѣ. **Бада** по сильной жарѣ въ городъ и возвращаясь оттуда до-нельзя усталый, съ грудями бумагъ. Глѣбъ и дома, на мызѣ, просиживалъ надъ ними иногда за полночь и сталъ, наконецъ, поговаривать, что вскорѣ ему, пожалуй, предстоитъ новый, утомительный отъѣздъ въ какую-то дальнюю командировку. На настоятельный вопросъ жены, куда это и зачѣмъ, онъ нехотя и озабоченно отвѣтилъ:— Непріятная коммисія и пока секретъ. Одна знатная особа, нѣкто Коронина, подала жалобу самой государынѣ на неуваженіе и неповиновеніе своей вдовой дочери, а ея дочь въ Петербургѣ... Возились мы съ этою барыней, разбирали, судили, и теперь князь твердитъ одно, что безъ моей поѣздки въ Петербургъ дѣло не обойдется. О, какъ бы мнѣ не хотѣлось ѣхать! А нельзя, эта обиженная дочерью Коронина—близкая родня нашему князю.

Переносясь мыслію въ Малороссію, къ татамъ, Глѣбъ и Маріи съ удовольствіемъ вспоминали Ракитное, его садъ и грачей, привольную жизнь въ деревнѣ и охоту на берегахъ Донца.—«А что-то нашъ паціентъ?—сказала какъ-то Маріи, обратясь къ Пинѣтѣ, послѣ одного изъ такихъ разговоровъ съ мужемъ, вспомнивъ ярмарку въ Кабаньемъ и случай съ конемъ комиссара:—поймали ли бѣглеца и возвращенъ ли похищенный имъ конь?»—По совѣту Пинѣтѣ, она спросила о томъ, въ одномъ изъ писемъ къ приказчику свекрови, къ

которому изрѣдка обрѣщалась, по поводу внуковъ Сысоевыи, дѣтей Якова, служившаго у нихъ садовникомъ въ Москвѣ.

«Оный казакъ Ивановъ, — отвѣтилъ приказчикъ:—объявился закоренѣлымъ бродягою и мутьяномъ, а сбѣжавшій съ нимъ въ прошломъ году житель Кабаньяго, Коровка, возвратился-было въ тайности къ женѣ и былъ изловленъ, но снова утѣкъ, съ женою, изъ холодной, черезъ подкопъ. Вамъ, сударыня, вѣдомо, каковы наши сельскіе остроги. Что же до его постояльца, Иванова, то съ той поры о немъ ни слуху, ни духу. И даже, живъ ли онъ, въ настоящее время, никто про то не свѣдомъ, а скорѣе всего, что ускакалъ изъ нашихъ палестинъ въ инныя, воровскія мѣста, да притомъ, полагаю, загналъ до смерти неповиннаго коня, либо продалъ его въ какомъ-нибудь, сказать, притонѣ, а деньги пропилъ и гдѣ-нибудь, подъ заборомъ или на той воровской дорогѣ, самъ пропалъ, а по-просту, аки песь, издохъ. Всѣ оныя такъ, извините, кончаютъ».

Казакъ Ивановъ, однако, не пропалъ.

XVI.

Въ началѣ августа 1773 года, въ пустынной и дикоѣ сызранской степи, у рѣчки Таловой, на перепутьѣ отъ рѣки Ирѣиза къ Яицкому-городку, стоялъ одинокій постоялый дворъ, по прозванію въ околоткѣ—Таловый-умѣтъ.

Это была невысокая, но обширная, въ два жилья, мазанка изъ плетня, съ сараемъ, погребомъ, баней-землянкой, камышевою огорожей и съ далеко-виднымъ колодезнымъ журавлемъ.

Быль вечеръ субботы. Погода стояла тихая и сухая. На небѣ ни облачка.

Надъ пожелтѣвшими, скошенными жнивьями и выбитыми скотомъ травами медленно парили коршуны, въ терновыхъ кустахъ и уцѣлѣвшемъ ковылѣ высматривая дремлющихъ, съ открытыми, пересохшими ртами, дрохвь и выводковъ-куропатокъ. Изрѣдка въ знойной, безвѣтренной тишинѣ, то здѣсь, то тамъ, сами-собою, по дорогѣ и по новой пахоти, срывались, кружа и неся густую пыль, высокіе, черные вихри.

Кругомъ было тихо. Издали слышалось только серебристое ржаніе жеребенка, потерявшаго на тощей пастбѣ свою мать, да изъ скрытаго, за пригоркомъ, въ оврагѣ, дубоваго лѣса доносился клѣкотъ стеной орлицы, сзывавшей слѣт-

ковъ-дѣтенышей къ растерзанному зайцу или къ молодому сайгаку—дикой козѣ.

Хотя солнце клонилось къ вечеру, въ воздухѣ было еще знойно. На дорогѣ и вокругъ умѣта не было видно ни души. Два сторожевыхъ пса-волкодава, одинъ—рыжій, куцый, другой—сѣрый, съ репейниками на бокахъ и въ сбитыхъ клубняхъ хвоста, спокойно спали у открытыхъ воротъ. Окрестные поселяне, въ ожиданіи праздника, заранѣе разбрелись съ поля по домамъ. Одни пастухи маячили въ опустѣлой степи, да и тѣ отъ духоты попрятались по рытвинамъ и оврагамъ, или въ тѣни кургановъ и одинокихъ терновыхъ кустовъ.

Старый хозяинъ-уметчикъ, отставной пахотный солдатъ, Степанъ Оболяевъ, былъ старовѣръ, безпоповскаго толка. Онъ сидѣлъ тоже въ холодкѣ, у задняго крыльца мазанки, своєю тѣнью уже застилавшей почти половину двора, а въ виду того, что его хата и дворъ были пусты и что, передъ праздникомъ, не ожидалось прохожихъ, отъ скуки портняжничалъ. Надѣвъ на носъ большіе, оловянные очки и что-то бормоча себѣ подъ носъ, онъ заскорузлыми, мозолистыми руками чинилъ какую-то мѣховую одеженку. Онъ былъ высокаго роста, съ подстриженною сѣдою бородой, съ юношески-румянымъ, привѣтливо улыбающимся лицомъ и съ серьгой въ правомъ ухѣ. Набожный и добрый, онъ въ молодые годы много натерпѣлся, живя сиротою въ работникахъ, на Янкѣ, и теперь охотно давалъ у себя пріютъ всякимъ гонимымъ, бездомнымъ и утеклецамъ. По смерти жены, оставшись одинъ, съ малолѣтнимъ племянникомъ, онъ невольно втянулся съ тѣхъ поръ въ женское хозяйство, самъ стряпалъ и мылъ, не стыдяся, подвязывался передникомъ, мѣсилъ и пекъ хлѣбы, прялъ кудель и доилъ коровъ.

У него и теперь скрывались двое бродягъ, бѣжавшихъ съ дороги въ Сибирь. Кто они, за что ссылались и какъ бѣжали, онъ ихъ не спрашивалъ. За кровь и пищу, бѣглецы свезли ему сѣно и теперь стерегли его скотину, носили ему изъ лѣсу валежникъ и исполняли всякія нужныя требы. Ихъ пребываніе здѣсь не тревожило старика; пора была глухая, да и его дворъ стоялъ тамъ далеко отъ всякаго надзора и полицейскихъ командъ. Племянника въ то время онъ куда-то услалъ, за солью и мукой.

Оболяева втайнѣ занималъ третій его постоялецъ, вто-

рично пришедшій къ нему на-дняхъ и особенно просившій его о пріютѣ. О немъ-то задумался теперь умѣтчикъ, изрѣдка поглядывая въ ворота и продолжая работать иглой въ холодкѣ крыльца.

«Странный человекъ, — разсуждалъ Оболяевъ о своемъ гостѣ:— чуть свѣтъ, ушелъ на охоту, съ ружьемъ, говоритъ, — надо бы, какъ слѣдъ, встрѣтить воскресный день, уважить хозяина, достать кой-какой дичины. Да вотъ, съ утра и нѣтъ его; взялъ сухарь хлѣба и не идетъ. Такъ-то приходилъ онъ сюда и недавно, да вдругъ и сгинулъ, — тоже пропасть. Назвался тогда донскимъ казакомъ, нашей старой вѣры; сказывалъ, что причется, страждеть за истинный крестъ и бороду, и что хотѣлъ бы послужить единому, праведному, древлему Богу. Потомъ это вдругъ признался, что онъ не казакъ, а быдто богатый заморскій купецъ; что былъ онъ въ чужихъ странахъ, — въ Нѣметчинѣ, въ Египтѣ, въ Ерусалимѣ, а оносилъ въ Изюмъ и на Яикъ. И быдто лѣтосъ подговаривалъ донскихъ и нашихъ яницкихъ казаковъ, отъ гоненій за вѣру, переселиться въ Турцію, за Терекъ; что тамъ-де у него припасено для казачества сотни двѣ тысячь рублями и больше, чѣмъ на полсотни тысячь товаромъ, и что турецкій паша встрѣтитъ нашихъ съ честью и лаской, дастъ всѣмъ вольную волю, — земли сколько хочешь, всяко жалованье и почетъ. Я его спрашиваю, откуда же, миленькій, у тебя этакое, аховое богатство?—а онъ: я, молъ, выходець изъ Польши, изъ тамонинихъ князей, да скрываюся. А, князь, думаю, такъ и князь! Только попался это малый, съ подговорами, сперва на Терекъ, потомъ на Дону; приковали его, въ Моздокъ, на цѣпь къ стулу, да скоро, провора, бѣжалъ. А какъ изловили на Дону, оттолкъ уже, въ кандалахъ, прямо погнали его въ Казань. Плохо было сердечному въ казанскихъ, черныхъ тюрьмахъ. Все разсказать онъ, даже плакалъ, какъ его тамъ мыкали и томили... Подговорилъ молодець товарища, оба отпросились съ конвойнымъ на молитву, къ знакомому попу; послали за угощеніемъ, напоили пона и солдата, а на пути сынъ товарища подхватилъ ихъ въ припасенную телѣгу—и поминай, какъ звали,—оба ушли изъ Казани сюда, на Иргизъ».

«Ловокъ, шустрый, бестія!— подумалъ умѣтчикъ, съ удовольствіемъ вспоминая разсказъ постояльца о его смѣломъ побѣгѣ изъ Казани:— и вѣдь не попался, Ерѣма, Ерѣмкинъ—

кураца те въ ротъ! А попь-то, охъ, этоть-то хмѣльной попь! Видить онъ изъ окна, сѣли они съ конвойнымъ въ телѣгу, быдто договорили подводчика подвезти ихъ хмельныхъ въ острогъ, проѣхали этакъ малость, да вдругъ столкнули пьянаго солдатика на земь и поскакали».

Глаза Оболева, при этихъ мысляхъ, весело прищурились; сквозь рѣдкіе, сѣдненные зубы послышался кашель и смѣхъ, и все его тѣло пріятно заколыхалось. Нитка вышала изъ иглы. Отеревъ слезы, но еще смѣясь, онъ ссучилъ и прикусилъ нитку, только что нацѣлилъ ее въ иглу, какъ свѣтъ ему заслонило что-то бѣлое и лохматое. Умѣтчикъ поднялъ глаза.

Передъ нимъ стоялъ, съ ружьемъ въ рукѣ, придерживая на плечѣ убитую козу, средняго роста, сильно исхудалый, загорѣлый и широкоплечій, лѣтъ тридцати двухъ, мужикъ, съ рѣдкою, черноватою бородкой, въ которой уже пробивалась ранняя сѣдина, въ подсконной, примаранной кровью рубахѣ, синихъ набойчатыхъ шароварахъ, сермяжномъ колпакѣ и въ худыхъ, на босу ногу, войлочныхъ котахъ. Лохматые псы пропустили подошедшаго безъ лая, какъ знакомаго человѣка.

— Освѣжуй-ка, надежа! — усталымъ, хриплымъ голосомъ сказалъ подошедшій, сбрасывая на земь дичину: — ужъ и походилъ же я, полазилъ за нею; сайгачокъ хоть куда.

Онъ снялъ шапку, отбросилъ со лба слипшіеся темные волосы и рукавомъ отеръ сильно вспотѣвшее лицо. Его глаза раздражительно улыбались; у лѣваго виска отъ усмѣшки обозначалась бѣлая морщина.

— Молодецъ, Ерѣма, Ерѣмкинъ-кураца! — воскликнулъ умѣтчикъ, радостно разглядывая молодую, свѣтло-желтую козочку, съ гладкою шерстью и красивыми глазами: — будетъ на праздникъ кашница; такъ-то! ждалъ тебя долго... наваримъ таперича и напечемъ.

Тотъ, кого Оболеву обзываютъ Ерѣмой и Ерѣмкинѣмъ-курацей, носилъ, какъ онъ зналъ, другое имя, эти же прозвища были любимыми присловьями умѣтчика, изъ-за которыхъ его самого звали въ околоткѣ «Ерѣмкинѣмъ-курацей».

— Да ты какъ же это, Емельянъ Ивановичъ? — спросилъ Оболеву: — на пастыбѣ его стрѣлялъ, али такъ угодилъ, на бѣгу?

Охотникъ презрительно повелъ черными, наугранными, арестантскими глазами и молча сталъ опять поднимать козу.

— На бѣгу?—спросилъ онъ:—да нешто у меня, какъ у какого пана, готовые патроны при поясѣ и всякое снадобье? Всю картечь давеча разстрѣлили; вышелъ съ двумя пулями, самъ знаешь, и все... Панъ!.. Говорю тебѣ, выслѣдилъ въ гаю...

— Ну, думаю себѣ,—продолжалъ онъ:—пойдутъ онѣ къ вечеру въ лощинку, на водопой; опозналъ это я козы слѣды, по грязи, у ключа, и поползъ. Каки-таки мы богачи? На заряды капиталовъ нѣту. Съ версту я лѣзъ въ гушинѣ, руки вѣд-какъ испарапаль, и залегъ. Вижу, жаръ отвалилъ. Идетъ это она, да сторожко такъ ступаетъ ножками; спустилась къ камышу, потянула студеной струйки, весело такъ дышитъ,—и глянула вверхъ на меня, а я въ травѣ лежу и цѣлюсь прямо ей въ морду... Да ласково такъ, треклятая, ну, точно человѣкъ, поглядѣла! я и стрѣльнулъ...

Уметчикъ замахалъ, отъ смѣха, руками и, старчески охая, поднялся на ноги.

— Иди же, родимый,—сказалъ онъ, ковыляя на крыльцо;—потрудишься Богу, наруби дровецъ, истопимъ баню... И самъ ты у насъ еще не мылся... ишь, какъ окровянился... А я все изготовлю. Не хочешь ли щецъ? животы съ утра, чай, подвело? Тамъ оставилъ племяшку; хватитъ и тебѣ.

XVII.

Охотникъ, взваливъ козу на плечи, пошелъ отъ крыльца къ сараю. Солнце спустилось за дальнѣе, синѣющіе холмы. Степь покрылась мглою. Отъ сосѣдняго лѣснстаго оврага потинуло прохладой. Во дворѣ раздались звуки топора. У воротъ плетневаго база, скотскаго сарая, гость уметчика, сильнымъ взмахомъ худыхъ, загорѣлыхъ рукъ, рубилъ на основной колодѣ сучья валожника. Самъ Оболяевъ, въ сараѣ, противъ воротъ, сидѣлъ на корточкахъ, съ ножомъ въ рукахъ, свѣжую висѣвшую съ перекладины дичину. Изъ трубы землянки-бани, вырытой о-бокъ съ сараемъ, валилъ дымъ.

— Такъ плохо нашимъ-то янцкимъ казакамъ?—спросилъ гость, останавливаясь рубить дрова.

— Еще бы, батюшка, не плохо. За убивство нѣмца-енарала сколько старшинъ сослано! а за пограбленное у него добро на всѣхъ рядовыхъ, войсковой руки, наложили пеню, да какую!—по полсотни и болѣе цѣлковыхъ. Опять казаки стали мутиться; собираются всѣмъ войскомъ за море, въ

Астрабадъ, либо въ Золотую-Мечеть. Да какъ его идти? вездѣ караулы, начальство; кто и какъ проведетъ?

— И проведу! — сказалъ гость и такъ при этомъ ударилъ топоромъ по сучьямъ, что сразу перерубилъ цѣлый ихъ пукъ.

— Можеть, соколикъ, и проведешь, — отвѣтилъ, покачавъ головой, Оболяевъ: — да съ чѣмъ они, тамотко, бросивъ свое добро, возьмутся за дѣло?

— За границей, у турецкаго паши, — проговорилъ гость: — моихъ пять милліоновъ оставлено... Надо, старикъ, ой, какъ надо, вызволить страждущихъ братій.

Оболяевъ чуть не выронилъ ножа. Онъ съ удивленіемъ взглянулъ на гостя, соображая, шутить ли онъ, или говорить правду. А тотъ, попрежнему, сильными замахами рубилъ дрова. «Чудны дѣла Твои, Господи, — набожно мыслить умѣтчикъ: — бываетъ всяко, Господь править... И въ древности важные и чиновные мужи смиренно ходили промежду убогихъ и простецовъ, чиня всякую помощь угнетеннымъ и сиротамъ».

Баня была готова. Оболяевъ и его гость усердно выпарились и вымылись въ ней и оба оттуда вышли красные, въ чистомъ бѣльѣ и съ расчесанными на-двое головами и бородами. Умѣтчикъ далъ гостю, вмѣсто его грязной, замаранной кровью, рубахи, свою — чистую, изъ тонкой синей бязи. Они закусили постными щами, съ лукомъ, въ ожиданіи на завтра козьею похлебкой, и разошлись, умѣтчикъ — донть пришедшихъ съ поля коровъ, а гость — въ темный чуланъ, прилаженный въ углу скотскаго бѣза.

Настала ночь. Въ банѣ еще свѣтилось. Тамъ мылись, пригнавшіе съ поля скотъ, бритые лбы. Но скоро и они, поужинавъ, напоили воловъ и коровъ и снова погнали ихъ на ночную пастбу. Кругомъ опять стихло. Изрѣдка только раздавались ворчаніе и лай собакъ, лежавшихъ за воротами и чутко глядѣвшихъ на потемнѣвшую дорогу.

Умѣтчикъ возвратился въ избу и легъ на палатяхъ. Но ему не спалось. Изъ его головы не выходили слова гостя о пяти милліонахъ. Но болѣе этой суммы его занимало то, что онъ вдругъ разглядѣлъ на лицѣ и тѣлѣ гостя въ банѣ: бѣловатаго цвѣта шрамъ, подъ волосами, у лѣваго виска, и такого же вида, какъ бы вдавленные другъ въ друга, желобки или рубцы на плечѣ и на груди, ниже соска.

«Что бы это за знаки?—размышлялъ Оболяевъ:—откуда они у него? отъ золотухи или отъ иной болячки? или рубцы отъ кáтовыхъ плетей?.. Такъ нѣтъ, по его словамъ, онъ убѣжалъ отъ казни. Спросить, развѣ, да не скажетъ... Важный, шельма! хоть худой, а такой корпусный, проворный, да строгій, съ виду же совсѣмъ простой человѣкъ! Обинякомъ выпытать, что ли, пойти?»

Умѣтчикъ всталъ, накиннулъ на плечи шубейку и вышелъ во дворъ. Ночи прошло не мало. Мѣсяцъ уже высоко стоялъ въ безоблачномъ небѣ. Кругомъ была мертвая тишина. Заслышавъ шаги, собаки съ лаемъ шарахнулись съ дороги къ припертымъ воротамъ.

— Цыма-те, треклятыя!—крикнулъ на нихъ умѣтчикъ:—цыць.

Онъ, однако, остановился, подумалъ: «Нѣтъ, лучше завтра! теперь ужъ, видно, спать!» и, побряхтывая отъ лома въ старыхъ костяхъ, возвратился въ хату, раздумывая: «Купецъ безтоварный, бродяга... а вышелъ вонъ что»...

Гость Оболяева также еще не спалъ. Раскинувшись подъ зипуномъ, на досчатомъ помостѣ, прилаженномъ въ углу чулана, онъ думалъ крѣпкую думу.

Мысли о молодыхъ годахъ, когда онъ жилъ еще подросткомъ на Дону, при отцѣ, смѣнялись въ его головѣ воспоминаніями о походѣ съ казаками въ Пруссію, гдѣ онъ на Одерѣ, на смотре, впервые увидѣлъ чужеземнаго вѣнценосца, прусскаго короля, окруженнаго генералами и пышною, въ золотѣ, свитой, и гдѣ, между тѣмъ, на утро, его самого нещадно высѣкли плетью, за пропавшую на пастьбѣ лошадь полковника.

Вспоминались ему возвратъ съ границъ нѣметчины и краткое пребываніе на родинѣ, съ женою и дѣтми, посылка съ командой, для ловли бѣглыхъ раскольниковъ, близъ Польши, походъ подъ Бендеры, новый возвратъ въ родную станицу, побѣгъ на Терекъ, арестъ и цѣпи, казанскій острогъ и новыя шатанья по степнымъ притонамъ. Все вспоминалъ онъ, — бѣдность и лишенія, тюрьмы и кандалы, зависть и злобу къ богатымъ и сильнымъ и неутомимое стремленіе къ волѣ и чему-то волшебному и сказочному, что такъ его манило и о чемъ онъ иной разъ боялся даже думать.

И какъ было не думать о лучшемъ, не завидовать другимъ, когда кругомъ всѣмъ было лучше? Многие изъ каза-

ковъ родной станицы, бывшіе съ войскомъ въ Пруссіи, возвратились оттуда съ завидною прибылью. Тотъ вывезъ съ похода дорогое оружіе и лошадей, тѣ раздобыли женамъ и дочерямъ шелковыхъ и бархатныхъ нарядовъ, а этотъ, послѣ взятія завоеваннаго Берлина, уже прямо сталъ богачемъ, вывезъ кожаный поясъ, полный золотыхъ иноземныхъ дукатовъ. И по домашнему дѣло удалось многимъ. Тѣ небывало расторговались солью, эти рыбой, а ближній сосѣдь даже, по слухамъ, нашель гдѣ-то цѣлый кладъ, по-просту же, какъ его подозрѣвали, убилъ и ограбилъ въ степи проѣзжаго съ Каспія кушца. Всѣмъ былъ хорошо; у него только хата стояла съ продыравленною крышей и нечѣмъ было ее покрыть, а его жена и дѣти сидѣли голодныя, по мѣсяцамъ, питааясь прѣсными лепѣшками, безъ сала и соли. Возвратился онъ въ прошломъ году изъ бѣговъ и самой хаты своей не нашель; ее продали за долги въ сосѣднюю станицу, семья же изъ милости жила у родичей, въ новыхъ долгахъ. Мельнику жена задолжала за муку шесть рублей, попу, за зимовлю коровенки, два съ полтиной. И опять онъ ушелъ бродить и шлится, проживая то здѣсь, то тамъ, вспоминая укору и брань голодной жены.

Болѣзнь застигла его въ изюмскомъ уѣздѣ, у казака Коровки. Излѣчась, онъ убѣжалъ оттуда, добрался до Царицына, услышалъ тамъ о появленіи, наказаніи и ссылкѣ самозванца, Ѳедота Богомолова; разспросилъ о немъ, переплылъ на челнѣ черезъ Волгу и, побывавъ въ Яицкомъ городкѣ, направился къ знакомцу Коровки, Оболяеву, на Иргизъ. Умѣтчикъ былъ также одно время въ Изюмѣ; служа въ солдатахъ, онъ водилъ туда какихъ-то бѣглыхъ и ночевалъ по пути у Коровки.

«Не сумѣлъ Ѳедотъ-простота!—разсуждалъ о Богомоловѣ гость Оболяева:—назвался, съ пьяну, царемъ Петромъ Ѳедоровичемъ и знаки какіе-то показывалъ на груди и плечахъ; всѣ ходили взглянуть на новоявленнаго, аки бы чудомъ спасеннаго, императора. Не его ума дѣло! Сплоховалъ, замучили, сгинулъ! Не такъ надо было начинать и не такъ кончать... А его дѣло, сказать правду, не умерло, далеко пошло и живеть... Всѣ ждуть, всѣ алчуть видѣть новоявленнаго, общаго избавителя. Другого такого случая не было и не будетъ. Ротъ раскрыли, души раскрыли, ждуть... Давно это думаю и я... Смѣлое дѣло; дьяволъ ма-

нить... Вѣдь и у меня знаки отъ болѣзни... Да какъ взяться?.. Пль настала пора?»

Гость Оболяева ворочался съ боку на бокъ въ темномъ чуланѣ. Смѣлыя мысли уносили его далеко.

Настало утро. Среди двора умѣтчика, на таганкѣ, кипѣлъ котель съ похлебкой, и тутъ же на лучинкахъ хозяинъ до-жаривалъ нарѣзанный ломтиками козій бокъ. Запахъ ва-ренаго и жаренаго мяса пріятно распространялся по двору. За воротами скрипѣлъ рычагъ колодезнаго журавля. Постоялецъ Оболяева, опершись разутою, волосатою ногою въ срубъ ко-лодца, мокрыми, покраснѣвшими руками подхватывалъ брыз-жащую бадью и выливалъ ее въ корыто, для поила коней какимъ-то подошедшимъ подводчикамъ.

Накормивъ и отправивъ фурщикова, Оболяевъ и его гость постлали на-земь, въ холодкѣ, у сарая, скатерть, принесли туда миски съ ѣдой и усѣлись за праздничную трапезу. Умѣтчикъ былъ въ новомъ азымѣ; его гость тоже пріодѣлся и обулъ коты. Истово помолясь двуперстнымъ крестомъ на востокъ, оба они сперва принялись за мясную, съ чесно-комъ, похлебку, потомъ за жареный, съ солью и перцемъ, козій шашлыкъ. Ихъ лица отъ удовольствія раскраснѣлись и вспотѣли; глаза не поднимались отъ мисокъ; полные рты молча и старательно жевали. Утершись концомъ общаго ручника, Оболяевъ перевелъ духъ, протянулъ руку къ пу-затой, поливняой флягѣ и налилъ изъ нея по стаканчику какой-то золотистой настойки. Хозяинъ и гость, перекре-стясь, выпили и повторили еще по стаканчику.

— На тысячелистникѣ,—замѣтилъ Оболяевъ.

— Вижу,—отвѣтилъ постоялецъ:—знать, давняя—захва-тываетъ духъ.

XVIII.

— А скажи-ка, Пугачовъ, — обратился къ гостю Обо-ляевъ:—что это вечеръ за знаки я видѣлъ у тебя на груди?

Пугачовъ не отвѣтилъ.

— Быдто орлы, али кресты у тебя, — продолжалъ умѣт-чикъ:—на плечѣ и на груди...

— Знаки государевы! — спокойно проговорилъ, утираясь другимъ концомъ общаго ручника, Пугачовъ.

— Какъ государевы знаки?—спросилъ, чуть не привско-чивъ на землѣ, старикъ:—ахъ ты, Ерѣмкинъ-курица, шут-

никъ! и придумалъ же, матушка ты моя! Откуда на тебѣ быть царскимъ знакамъ?

— Ну, прямая же ты, вижу, курица, коли такъ! — небрежно зѣвнувъ, отвѣтилъ гость: — сколько лѣтъ живешь, былъ въ солдатахъ, а о царевыхъ примѣтахъ даже не слыхалъ. Вѣдь, каждый государь, отъ рожденія, имѣетъ на себѣ тѣлесные, для отличія, знаки.

— Что ты это, Емельянъ Ивановичъ, помилуй! — въ страхѣ произнесъ умѣтчикъ: — опомнись! къ чему сказывать такія слова!

Пугачовъ помолчалъ. Онъ не глядѣлъ на умѣтника. Пальцы его рукъ, перебирая утиральникъ, судорожно двигались.

— Экой ты безумный, — сказалъ онъ вдругъ, гордо оправляясь: — и догадаться не могъ! Полно съ тобой скрываться. Благодаримъ за хлѣбъ-соль и за пріютъ. Вѣдь я не донской казакъ и не заморскій купецъ, а только прикрывался, по нуждѣ, до времени... Я — государь вашъ Петръ Ѳедоровичъ.

Умѣтчикъ вздрогнулъ. Отъ испуга на немъ какъ бы подрало кожу и сперло дыханіе въ груди. Нѣсколько секундъ онъ не могъ выговорить ни слова.

— Господи! съ нами крестная сила! — проговорилъ онъ поблѣвшими губами: — государь! да, вѣдь, онъ уже двѣнадцатый годъ, какъ померъ! Панихиды мы, сорокоусты иѣли...

— Врешь ты, мужикъ! — презрительно и гнѣвно возразилъ Пугачовъ: — Петръ Ѳедоровичъ живъ... смотри, — вотъ онъ передъ тобою, — я самъ...

Умѣтчикъ окончательно растерялся и, разводя руками, только кланялся.

— Надѣжа-государь! — произнесъ онъ, чуть не плача: — все бери, всё мы твои! не изволь гнѣваться; прости, коли чѣмъ, по незнанію, изобидѣлъ тебя, не помяни лихомъ, что обращались съ тобою, какъ съ простымъ.

Глаза Пугачова засвѣтились удовольствіемъ. Первый, признавшій за нимъ похищенное имя, обращался къ нему съ слѣпою, беззавѣтною преданностью.

— Ничего, ничего, старичокъ! — сказалъ онъ, съ снисходительнымъ одобреніемъ: — за чтѣ гнѣваться, оченно тебѣ за все благодарны. Только ты, до времени, не моги насъ называть царемъ и главное, слышь, не проговорись. Пусть, пока, я буду для тебя и для всѣхъ, какъ былъ, донской казакъ Емельянъ Пугачовъ. Слышишь?

— Слушаю, батюшка.

— Благодарите Бога,—продолжалъ Емельянъ, разувшись и перестилая ветхія онучи, давившія ему ноги въ котлахъ:— вамъ отнынѣ открывается благополучіе, а когда мнѣ объявится народу, про то подумаемъ и рѣшимъ.

Совсѣмъ смутившійся Оболяевъ, поглядывая на босыя ноги и убогую, истоптанную обувь гостя, наскоро, дрожащими руками, убралъ посуду, скатерть и ручникъ и, отдавъ рабочимъ остатки козы, ушелъ въ хату, раздумывая: «вотъ неожиданное, вотъ Господь сподобилъ! Да правда ли все это?» До вечера Пугачовъ не выходилъ изъ сарая. Думая, что онъ спитъ, Оболяевъ передъ ужиномъ заглянулъ въ его чуланъ. Пугачовъ, сидя на корточкахъ, чистилъ развинченное и положенное на помостъ ружье.

— Что это, батюшка, изволишь дѣлать? — спросилъ уметчикъ.

— Новая охота понадобится, нужно въ порядкѣ, а я люблю самъ.

— И все своими ручками?

— Въ потѣ лица, старикъ, сказано... и всему народу такъ слѣдъ!

— Ахъ-ахъ! — удивлялся Оболяевъ: — чудны дѣла твои, Господи!

— А вотъ я тебѣ, мужичокъ,—сказалъ Пугачовъ:—прочту изъ Писанія. Ты набожный, вижу,—слушай.

Онъ досталъ изъ мѣшечка, съ разною рухлядью, затаканную тетрадь, вынесъ ее изъ сарая, прошелъ съ уметчикомъ къ хатѣ и сѣлъ на крыльцѣ.

— Сонъ Богородицы, молитвы Пречистой и всѣхъ святыхъ за насъ грѣшныхъ!—сказалъ онъ, держа тетрадь низомъ вверхъ, и, какъ бы читая, сталъ наизусть переверять то, что помнилъ изъ Писанія.

Уметчикъ, не слушая и не понимая мнимаго чтенія, только отиралъ слезы отъ радости и вздыхалъ.

— «И спросила Богородица,—кто тѣ, что стоятъ въ огнѣ по шею? — И сказалъ Архистратигъ: это тѣ, что мучили и поѣдомъ ѣли безвинныхъ людей... И бысть слава велія гонимымъ и убогимъ!—читалъ глядя, въ тетрадь, Пугачовъ:— и всякому помощнику восхваленіе, честь и даръ, во вѣки...»

— Такъ, такъ,—говорилъ, кланаясь, Оболяевъ:—а скажи, ваме... то бишь, Емельянъ Иванычъ, какъ же ты снасси?

— Вездѣ не безъ добрыхъ людей, — отвѣтилъ Пугачовъ: — изволь, расскажу тебѣ... Отпустилъ меня въ Питерѣ изъ-подъ стражи вѣрный офицеръ, Масловъ, а похоронили тамогко, вмѣсто меня, другого, помершаго въ то время, простого солдата.

— Гдѣ же ты скрывался до сей поры?

— Не въ одномъ мѣстѣ, въ разныхъ, больше въ Ерусалимѣ и въ Египтѣ, у тамошнихъ, преклонныхъ мнѣ царей, коли слышалъ.

— Потерпѣлъ же ты, родной, какъ подумаешь, вынесъ всякой тяготы.

— Да, старикъ, было всего. А теперь, вижу, вы и вся чернь до краю обижены моею женой.

— Это парцей-то Екатериной Алексѣевной?

— Ну, да! вотъ я не вытерпѣлъ, рѣшилъ заступиться и всѣмъ, какъ есть, васъ довольствовать. И, хотя не время еще; кажись бы, явиться, да ужъ Богъ, видно, привелъ.

Оболяевъ, отъ умиленія, сидѣлъ ни живъ, ни мертвъ. «Экое благо открылось! — повторялъ онъ мысленно: — и у кого, поглядишь, царь-то объявился, изыдетъ отколъ? Богоносные Акимъ и Анна... Симеонъ Богопримецъ... молитесь о мнѣ, грѣшномъ рабѣ!»

— Таперича, значить, какъ ты узналъ и все, то-есть, должонъ понимать, — сказалъ, помолчавъ, Пугачовъ: — надо начать самое дѣло... Такъ вотъ чтѣ, старина, завтра помой мнѣ бѣлье, нуженъ запасъ; да свинцу нѣтъ ли? нарубилъ бы картечи, жеребковъ.

— Все тебѣ, батюшка, будетъ; есть, кажись, заваялся и свинець. Вотъ вернется племянникъ, найдетъ.

— А потомъ, опять же, вижу, у тебя бывають знакомцы изъ Яницка-городка.

— Какъ же, самъ я сколько годовъ жилъ въ Яницѣ и кого тамъ не знаю!

— Войсковой или старшинской руки?

— Больше нашей, войсковой.

— Ну, и ладно. Какъ подъѣдутъ это, выбери мнѣ кто понадежнѣе, да умнѣй и проворнѣй, и объяви имъ, по тайности, про меня.

— Все объявить?

— Придетъ пора, прикажу; только, смотри, скромненько, да умѣючи, держи языкъ на привязи и ухо востро. Поду-

май, высмотри и пригласи сюда, изъ разумныхъ старичковъ... Я бы съ ними тутъ погуборилъ, а тамъ,—Богъ благословить,—объявлюсь въ городъ и вездѣ.

— Подумаю, выберу и позову.

Утромъ слѣдующаго дня умѣтчикъ у колодца старательно вымылъ государево бѣлье, развѣсилъ его по забору, между огородомъ и избой, а пока оно сохло, осмотрѣлъ телѣгу и сталъ ладить хомуты, на случай, если знатный гость пожелаетъ куда-либо ѣхать. Пугачова не было видно въ умѣтѣ. Возвратившійся племянникъ досталъ свинцу. Емельянъ нарубилъ картечи и, со словами: «мнѣ тутъ не-гоже, пока, на людяхъ!» взявъ сухарей, вскинулъ на плечи ружье и пошелъ въ степь на куропатокъ и трухтановъ.

Въ тотъ и въ слѣдующіе дни на постоялый заѣзжали изъ Яицка кое-какіе казаки. Они, по обычаю, жаловались на свое тяжкое житье и на притѣсненія вновь поставленныхъ надъ ними командировъ. Умѣтчикъ толковалъ съ ними, расспрашивалъ ихъ, но ни одному изъ нихъ не рѣшился открыть вѣренной ему тайны.

Возвращаясь къ ночи на постоялый, Пугачовъ спрашивалъ уметчика, добылъ ли онъ подходящихъ людей, чтобы черезъ нихъ вступить въ сношенія съ Яицкимъ городкомъ. Получая отрицательные отвѣты, онъ начиналъ терпѣніе и уже подумывалъ о новой перемѣнѣ мѣста. Послѣ своего признанія Оболяеву, онъ сталъ испытывать необычное ему чувство страха, мучился подозрѣніями и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не могъ побороть въ себѣ жажды смѣлаго и безумнаго подвига, вдругъ охватившаго всѣ его помыслы. Остановившись въ полѣ, у одинокихъ путниковъ, варившихъ себѣ близъ дороги кашницу, либо сталкиваясь съ такими же гулѣбчиками-охотниками, какъ и онъ, Пугачовъ также начиналъ съ ними рѣчь о тяготахъ и бѣдствіяхъ чернаго люда и готовъ былъ сдѣлать имъ то же роковое признаніе. Слова рвались съ его языка, но онъ вспоминалъ недавнія свои бѣдствія и участь самозванца Богомолова, и молчалъ, выжидая болѣе удобнаго случая, который вскорѣ и представился.

XIX.

Недѣли полторы спустя, въ Таловый-умѣтъ завернулъ смышленный, среднихъ лѣтъ, знакомый уметчика, яицкій казакъ, за покупкой у Оболяева лошади, взамѣнъ украден-

ной у него. Это было вечеромъ, при Пугачовѣ. Емельянъ уговорилъ умѣтчика уступить бѣдному казаку лошадь въ долгъ, причемъ не вытерпѣлъ и, въ присутствіи Оболева, объявилъ казаку, что онъ царь. Смущенный вѣстью, казакъ вызвался тайно сообщить надежнымъ изъ товарищей о важномъ гостѣ, явившемся на Таловой, и, въ радости, что приобрѣлъ лошадь, ускакалъ въ Яицкъ. Прошло еще нѣсколько времени. Пугачовъ, попрежнему, проводилъ всѣ дни на охотѣ.

— А что, батюшка, Емельянъ Иванычъ,—сказалъ какъ-то Оболевъ, когда Пугачовъ, усталый, возвратился къ ночи въ умѣть:—не лучше ли, чѣмъ здѣсь попусту ждать подходящихъ людей, ѣхать прямо въ городокъ и объявить старикамъ, а послѣ и всему народу?

Пугачовъ на это ничего не отвѣтилъ.

«Ужъ не прогнѣвилъ ли я его, непутный, лишнимъ словомъ?—мучился въ ту ночь сомнѣніями Оболевъ:—вѣчно, лѣпшій те въ горло, хочешь, какъ лучше, а выходитъ невпопадъ!»

— Ыдемъ!—вдругъ объявилъ на утро Пугачовъ:—ты вчера ладно сказалъ! только не въ повозкѣ, а верхомъ; у тебя двое кони... оно легче, да и способнѣе, коли надо, каждому скрыться.

— Слушаю, надежа... а куда?

— Увидишь.

— Старъ я сталъ, —сказалъ умѣтчикъ:— да для тебя, изволь, ужъ потружусь.

Онъ осѣдлалъ двухъ лошадей, навьючилъ въ ихъ торока сѣна, запасся хлѣбомъ и надѣлъ дорожный чапанъ. Гостю онъ далъ ненадѣванный верблюжій зипунъ и новые сапоги. Они выѣхали за ворота и направились на-прямикъ, глухою степью, къ Яику. Ыхали цѣлый день. Вечерѣло. До Яика оставалось верстъ съ тридцать. Путь лежалъ по выжженному солнцемъ, пустынному и дикому бугру. Рѣшивъ остановиться и покормить лошадей въ долинкѣ, бывшей за бугромъ, путники медленно шлелись чуть видною проселочною тропинкой. Усталыя лошади, нагибаясь, пощипывали остатки изсохшихъ, скудныхъ травъ. Путники, дремя, погачивались на сѣдлахъ.

Вдругъ Пугачовъ, ѣхавшій сзади умѣтчика, приподнялся на стременахъ и тревожно сталъ вглядываться впередъ. Его

зоркіе глаза различили въ сумеркахъ, на конпѣ бугра, двухъ всадниковъ.

— Берегись, — крикнулъ товарищу Пугачовъ: — какіе-то гулёбички; не старшинской ли стороны?

Дремавшій Оболяевъ вздрогнулъ, торопливо подобралъ поводья, тронулъ коня нагайкой и сдѣлалъ по склону бугра большой кругъ. Передній изъ всадниковъ, ѣхавшихъ навстрѣчу имъ, также сдѣлалъ вдали кругъ. Это, на языкѣ степныхъ мѣстъ, значило, что предстояла встрѣча своихъ, не враговъ. Всадники приблизились. Умѣтчикъ разглядѣлъ въ нихъ знакомыхъ лицкихъ казаковъ.

— Мы, батюшка, Степанъ Максимовичъ, — отвѣчали они: — для ловли лисичекъ.

Оболяевъ оглянулся; Пугачовъ исчезъ, точно въ воду канулъ. Недоумѣвая, какъ и куда онъ могъ такъ скоро и на ровномъ мѣстѣ скрыться, умѣтчикъ сталъ разспрашивать казаковъ о Яицкѣ.

— Что, дѣдушка, — отвѣтилъ старшій изъ охотниковъ: — народъ изморенъ до краю; то за убитаго епарала сѣкли, рвали ноздри и сослали больше ста человѣкъ, а конѣ на все войско, за разоръ и грабежъ начальства, наложена выть, да не поровну, съ бѣднаго больше, съ богатаго меньше, а вѣдь всѣ равны. Казаки упираются, а старшинамъ то и на руку; опять пошли бѣды, пытки; въ тюрьмахъ уже мѣста нѣтъ, и никто не спокоенъ, не токма за себя, а и за свою семью.

— Чтò же вы намѣрены дѣлать? — спросилъ Оболяевъ.

— Всѣ ждуть государя; сказываютъ, появился здѣсь гдѣ-то въ хуторахъ.

— Какъ же вы-то, братцы? экое диво и счастье выпало черни, а вы ѣздите по охотамъ.

— Обѣднѣли, надо выть сборщикамъ принасовать. Закапканили мы это и выкурили изъ норъ съ полдюжины лисицъ, да все мало.

— Эвеси, — прибавилъ другой изъ охотниковъ, показывая на лисьи шкуры у сѣдла: — въ Пахоміевъ-скитъ отвеземъ, заказывалъ на шубейку старецъ Филареть.

— Дома ли старецъ-то?

— А гдѣ ему быть? видѣли, какъ ѣхали на ловлю, съ пасѣки шелъ.

Путники разминулись. Оболяевъ выждать, пока казаки

скрылись въ темнотѣ, осмотрѣлся во все стороны, слѣзь съ сѣдла и свистнулъ. Ему никто не отвѣтилъ. «Да куда же онъ дѣлся?—думалъ о своемъ гостѣ Оболяевъ,—или онъ, по какому слову, сквозь землю ушелъ, либо его крыла какія унесли?» Онъ хотѣлъ еще разъ свистнуть и обомлѣлъ. Въ темнотѣ послышался тихій шелестъ по сухой травѣ. — Съ нами крестная сила!—прошептала умѣтчикъ, собираясь снова вскочить на сѣдло и ускакать. На него лицомъ къ лицу надвинулось что-то высокое и косматое.

— Боже! да это ты, Емельянъ Ивановичъ!—проговорила онъ, разглядѣвъ подъѣхавшаго на конѣ Пугачова: — ну, и проворень же ты да ловокъ, точно вѣтромъ тебя сдуло; а я это съ охотничками толковалъ.

— Все я слышалъ, тутъ недалеко, изъ кустовъ,—въ раздумьѣ отвѣтилъ Пугачовъ: — пошла молва, не перенять ее теперь! Тотъ казакъ, видно, оповѣстилъ... Въ Яицкѣ намъ уже не ѣхать, а навѣдаемся, значить, въ Мечетную, въ скиты; старецъ Филаретъ мнѣ давній другъ.

— Для чего, батюшка?

— Письменные люди теперь мнѣ нужны, бумаги, манифесты писать, а тамъ между старцами ихъ вдоволь. Туда же вызовемъ и главныхъ изъ войска.

Спустившись въ долину и переночевавъ тамъ, Оболяевъ и Пугачовъ утромъ напоили подкормленныхъ лошадей, взяли влѣво и тѣмъ же напрямикомъ, черезъ пустынный Сыртъ, пустились въ Мечетную. Солнце еще не заходило, когда они увидѣли крылья мельницы и крайніе заборы раскольничьяго Пахоміева скита, стоявшаго на берегу Иргица, возлѣ Мечетной.

Пугачовъ подъѣхалъ ко двору игумена Филарета, а Оболяевъ направился въ монастырскую слободку, на постоянный дворъ. Накрапывалъ дождь. Пугачова опозналъ шедшій навеселѣ изъ скита житель Мечетной, видѣвшій Емельяна прежде и знавшій, что его вездѣ ищутъ послѣ его бѣгства изъ Казани, особенно за толки о немъ въ Яицкѣ.

— Ба, куманекъ! откуда?—спросилъ мужикъ, остановясь.

— Въ городъ ѣду, по дѣлу.

— А паспортъ, Емелья, есть?—подумавъ, прибавилъ незнакомецъ.

— Какъ не быть!

— Гдѣ же онъ?

— Въ мѣшкѣ; видишь, дождь.

— Пойдемъ-ка лучше къ выборному.

— Ужо сходимъ, некогда, скоро вернусь!—отвѣтилъ Пугачовъ, стегнувъ по лошади.

Онъ ускакалъ и у слободки догналъ Оболяева.

— Бѣда, Максимычъ, — сказалъ онъ: — меня признали тутъ; дадутъ, я чай, знать выборному, надо скрыться, бѣжимъ.

— Да чего же я-то, батюшка, буду прятаться?—удивился умѣтчикъ:—коли ты рѣшилъ объявиться, и объявляйся прямо; всѣ за тобой пойдутъ... Развѣ знаешь что за собой, а мнѣ нечего хорониться.

— Ну, какъ хочешь!—отвѣтилъ, отъѣзжая, Пугачовъ: — вѣдь и я ничего дурного имъ не сдѣлалъ.

Оболяевъ послѣдовалъ за нимъ. Оба они вѣхали въ ворота Пахоміева скита. Но едва Пугачовъ слѣзъ на-земь и началъ подъ навѣсомъ, близъ колодца, разсѣдывать коня, съ околицы послышалась погоня. Монастырскіе старцы, съ тревогой, выходили изъ келій.

— Бѣги, хоронись, — сказалъ Пугачову вышедшій изъ трапезной знакомый ему пекарь: — слышишь топотню? это ищутъ тебя.

«Опознали! неужели конецъ?»—подумалъ Емельянтъ.

Онъ бросилъ лошадь и только-что хотѣлъ уйти, его обхватили чьи-то сильныя руки.

— А, куманекъ!—произнесъ, выстунивъ изъ-за колодца, хмельной мечетець, спротивавшій его о паспортѣ:—теперь уже не уйдешь, выборный разсудить.

Пугачовъ изловчился, вырвался изъ его рукъ и такъ толкнулъ его въ грудь къ колодцу, что тотъ, съ розмаха, упалъ навзничъ, черезъ срубъ. Пока упавшій барахтался въ неглубокой водѣ, Пугачовъ оглянувшись, подбѣжалъ къ плетню, перескочилъ черезъ него въ скитскій огородъ и, какъ кошка, прыгая и мелькая бѣлою рубахой въ лопушникъ и крапивѣ, добѣжалъ до спуска къ Иргизу, прыгнувъ въ лодку, стоящую у берега, переплылъ на другой бокъ рѣки, втащилъ лодку въ камышъ и скрылся въ прибрежномъ лѣсу. «Не робѣй, Емеля, — думалъ онъ, запыхавшись и едва переводя духъ,—твоя стѣжка еще не исхожена».

Емельянтъ слышалъ за собою крики выборнаго и мужиковъ, тщетно искавшихъ его по кельямъ, сараямъ и погребамъ. Углубясь въ лѣсъ, онъ залегъ въ его гущинѣ. Здѣсь

онъ дождался ночи, украдкой, въ темнотѣ, снова пробрался къ берегу, сѣлъ надъ крутизной въ травѣ и сталъ смотрѣть и слушать. Все стихло въ смуту и въ монастырской слободкѣ.

«Ушелъ, а чуть опять не попался! — разсуждалъ Пугачовъ:—близка была гибель... Нѣтъ, теперь уже дешево не продамся... Не съ старцами и не съ гулебичками вести дѣло,—надо звать выборныхъ, главарей всего войска, — да не въ такую толчею, какъ здѣсь, а сперва, по тайности, въ иное, укромное мѣсто... Нужно поднять все казачество. Время приспѣло; ждуть царя старъ и младъ,—царствуй, Емеля! — смѣлому — скатертью путь!»

XX.

Пугачовъ вытащилъ лодку изъ камыша, снова переплылъ черезъ рѣку и пробрался въ монастырскій дворъ. Онъ въ темнотѣ прошелъ подъ навѣсъ, отыскалъ тамъ и осѣдлалъ своего коня, тихо вывелъ его, мимо спавшихъ конюховъ, за ворота, вскочилъ на сѣдло и ускакалъ въ степь. Едва разсвѣло, онъ подѣхалъ къ Таловому умѣту. Усталый, голодный, съ обвѣтреннымъ лицомъ и въ намокшей отъ пота рубахѣ, Емельянъ молча слѣзъ съ дымившейся, едва живой лошади и ввелъ ее во дворъ.

— А дѣдко гдѣ? — спросилъ его арестантъ, постоялецъ Оболева, надъ чѣмъ-то конавшійся у сарая.

— Поймали, видно, Ерѣмкину-курицу, да, чай, ошпарили ей уже не токма перья, а и хохолокъ,—отвѣтилъ Пугачовъ, отилевываясь пересошимъ ртомъ.

— Какъ такъ?

— А такъ же, малый; намъ самимъ нынѣ надо думать о себѣ. Были какіе гости безъ насъ?

— Были.

— Откелева?

— Изъ Яицка.

— Зачѣмъ? что дѣлали? спрашивали меня?

— Прибѣгали верхомъ со степи, увидѣли, что никого нѣтути дома, и отѣхали.

— Угощали вы ихъ? о чемъ они пытали?

— Чѣмъ угощать? сами, безъ дѣда, на однихъ сухаряхъ... все онъ заперъ... а тѣ пытали о тебѣ.

— Что же спрашивали развѣдчики?

— Да какъ-то мудрено... тутъ ли, молъ, обрѣтается батюшка нашъ, государь Петра Федоровичъ, и здоровъ ли?

— Что же имъ отвѣчено?

— Здоровъ, моль, да уѣхалъ въ городокъ; ну, они померекали еще маленько, сказали: коли вернется онъ и будетъ дома, дайте намъ, ребята, какой знакъ, и уѣхали.

— Ну, карауль же, любезный, — сказалъ Пугачовъ: — не пропусти нужныхъ гостей. Да племяннику не говори, что дѣда поймали, — еще станеть ревѣть, до времени разгласить.

Сильно задумался, узнавъ о развѣдчикахъ, Емельянъ. — «Пришла окончательно пора! — мыслилъ онъ: — въ Яицкѣ дѣло, видно, на всемъ уже ходу. Надо быть, ой-какъ, на сторожѣ... Знаю ихъ... Не нынче, завтра явятся и выборные отъ стариковъ. На что арестантъ, и тотъ догадался!»

Поставивъ лошадь къ корму, въ конюшню, онъ прошелъ въ пазу и сталъ шарить въ печи и въ поставцахъ, отыскивая чего-нибудь съѣстного. Печь, съ отѣздомъ умѣтчика, осталась нетопленной; на полкахъ и въ разныхъ закутахъ, гдѣ обыкновенно у дѣда хранился хлѣбъ, валялись только остатки сухарей. Пугачовъ прошелъ къ колодезю, напился, умылся и сѣлъ у воротъ. Онъ разсѣянно глядѣлъ въ стѣну. Голодные, отошавыя, какъ и онъ, собаки, бродя по двору, уныло смотрѣли на него, помахивая отвисшими хвостами. Настала вечеръ.

— Да какъ же это, царень, чѣмъ вы тутъ живы? — спросилъ онъ арестанта, гнавшаго воловъ къ водоюю.

— И не говори, кормилецъ, — отвѣтилъ тотъ: — то была еще мучица, болтушку стряпали, а нынче грыземъ послѣдніе сухари; дѣдкннхъ племянникъ утекъ это на слободку, къ крестной, а землячокъ нашъ другой и вовсе помандровалъ на Узень... хоть бы молока, кайкаму! коровы разбрелись въ лѣсу, безъ помочи и не найдешь.

Озлобленный Емельянъ легъ въ сараѣ. Ему не спалось. — «Господи! да неужели же все такъ-то будетъ и далѣ? Неужели не рѣшусь? За тѣмъ-то, за Богомолowymъ, вѣдь шли же, вѣрили ему. А у меня знаки на тѣлѣ и на лицѣ почище будутъ... Скажу, что я-то, именно, а не онъ, и былъ въ Царицынѣ и ушелъ оттолѣ сюда. Нѣтъ, такъ просто нельзя; надо, ой, надо иное что, — похитрѣ! Сѣрому мужику, драному зипуну, сказано вѣрно, и не попасть въ царствіе Божіе; богатому, да сильному, вотъ кому легко... Нужны сила, да богатство... А Господь грѣхи-то проститъ».

Ворочаясь съ боку на бокъ, Емельянъ снова всю ночь

думаль о скудости, убожествѣ и бѣдности своей семьи.— «Какъ-то имъ тамъ живется, безъ него? Исчахла еще, чай, болѣе жена Софьюшка; голодають, видно, какъ и онъ, малыя дочки — Аграфена да Христина, и ни на что извелся сынъ, подростокъ Тришка». — И до утра грезились Емелькѣ душистыя и мягкія, пшеничныя пампухи, блины, съ коноплянымъ масломъ и съ лукомъ. Онъ мысленно глоталь ихъ цѣлыя миски, запивая брагой и пивомъ.— «Да и что высоко мѣтить?—разсуждалъ онъ:—хоть бы ублажить скорѣе казачество, поднять и вывести его въ другія, вольныя мѣста, на иныя, турецкія, что ли, воды, да попасть притомъ, за заслугу, въ старшины. Зажилъ бы вотъ какъ! изба въ двѣ клѣтки, съ рѣзнымъ конькомъ, ворота росписныя, круторогіе волю, да пара, а то и двѣ лихихъ коней. Раздышался бы волю, на сытой ѣдѣ, на сладкомъ питьѣ... А выше? почему же, спросить, и не выше?»

И вспомнился Емельяну одинъ вечеръ. Онъ вторыя сутки скакаль изъ Кабаньяго къ Дону, на похищенномъ у комиссара, ногайскомъ жеребцѣ. Лихой былъ конь; мчался съ малыми отдыхами, — гдѣ пощиплетъ травки, гдѣ хлебнетъ воды изъ тощей, степной рѣченки, — а крутыя ребра такъ и ходять, налитые кровью глаза пылко глядятъ, — скоро ли опять въ дорогу? На послѣднемъ перегонѣ долго скакали безъ воды. Конь шатался, измучился жаждой и сѣдогъ. День былъ знойный; въ степи, куда ни глянешь, ни признака жилья или рѣки. И увидѣль вдругъ Емельянъ, изъ-за холма, верхи зеленыхъ вербъ. Онъ направился туда. Подѣхаль — глубокій логъ, за логомъ — лѣсъ, а внизу его — ручей и невдали отъ берега — колодець. У колодца дѣвушка, только-что набравшая ведра воды.

— Кормилица, красавица! дай испить, — крикнуль ей, подѣзжая, Емельянъ.

— Пей, родимый, спасеть тебя Господь! — отвѣтила та, кланяясь: — напои и коня.

Соскочивъ съ жеребца, Емельянъ жадно припалъ къ ведру, нашлся и посмотрѣль на дѣвку. Она, полная, статная, чернобровая, съ длинною, русою косою, не поднимая глазъ, поила тѣмъ временемъ коня. — «Красавица и одна!» — подумаль Пугачовъ, оглядываясь кругомъ. Дѣвушка исподлобья посмотрѣла на него. Давно бродяга не видѣль женщины,

да еще такихъ, — а былъ онъ къ нимъ падогъ, съ молодости, — жена часто журила его за то.

— Откуда, милая? — спросилъ онъ, утираясь.

— Съ пасѣки, — отвѣтила дѣвка, указывая обнаженной, полною рукой на лѣсъ и снова черпая ведрами воду.

— Одна водишь пчель? — охорашиваясь, улыбнулся Пугачовъ.

— Длѣ-че одна? дѣдушка тамотко! въ пѣвчихъ, въ станцѣ, былъ, да одряхлѣлъ; воды у насъ нѣту-ти, а въ ручьѣ нештома, горька.

Ловкимъ взмахомъ она подняла ведро на плечи и, быстро отойдя отъ колодца, направилась къ ручью.

«До лѣсу далеко, пасѣка еще дальше, — мыслилъ Емельянъ, охваченный дрожью, — передъ лѣсомъ кусты... кругомъ ни души!» — Онъ вкочилъ на освѣженного коня. Дѣвка успѣла сойти въ ручей. Вода въ немъ была ей выше щиколокъ.

— Топко тутъ, душенька? — спросилъ Емельянъ съ коня.

— Не проѣдешь съ конемъ, загрузнешь, берегись! — отвѣтила дѣвка съ середины ручья. Она шла по руслу, до колѣнъ въ водѣ.

— Стой, красавица, слушай! — крикнулъ вдругъ Емельянъ, поскакавъ слѣдомъ за нею.

Конь, достигнувъ ручья, остановился и уперся; Пугачовъ понукалъ его уздой и ногами. Тотъ взвился на дыбы и ни шагу съ мѣста.

— Да загрузнешь, утопишь и коня, — смѣялась дѣвка, выйдя на другой берегъ и отирая мокрыя ноги о траву.

— Словоодно, — крикнулъ Емельянъ: — постой! скажи, ласковая, угѣшь словомъ... Гдѣ на землѣ воля и счастливое житье?

Изъ-за ручья на Емельяна смотрѣли сѣрые, усмѣхавшіеся глаза.

— Счастливъ, парень, только Богъ на небѣ, да царь на землѣ! — отвѣтила дѣвка, прилаживая гибкое коромысло на плечѣ: — у царя да у Бога — добра много.

— Будь же ты мнѣ царицей, прими, любушка, къ себѣ въ куренѣкъ.

— Стань прежде самъ ты царемъ! — съ гордой усмѣшкой отвѣтила красавица, обернувшись такъ быстро, что заплескалась изъ ведеръ вода.

— Что ты! статочное ли говоришь? — укоризненно крикнулъ ей Емельянъ: — нешто захотѣлъ стать царемъ — и стань?

— Постарайся... всяко диво бывастъ, може еще и станеш! — звонко смѣялась, уходя и болѣе не оглядываясь, дѣвка.

«Напророчила, вѣдь, предсказала!—думалъ теперь Емельянъ, ворочаясь въ сараѣ, съ подведеннымъ отъ голода животомъ,— а впрочемъ, захотятъ и примутъ казаки,—остальные покоятся. Соберу отрядъ, да какой! двинусь, подь именемъ покойнаго государя,—не одна Волга признастъ, и Москва... Тамъ войска, по слухамъ, мало, даже вовсе, сказываютъ, никакого. Дѣло начато. Выборные отъ казачества вотъ-вотъ явятся... Такъ тому, видно, и быть. Надо ихъ поднять».

Ожиданія Пугачова сбылись. На другой день, передь вечеромъ, въ степи, позади умѣта, показались двое верховыхъ казаковъ. Выѣхавъ изъ-за чуть виднаго кургана, они двинулись къ умѣту, остановились, какъ бы разглядывая окрестность, и стали подвигаться ближе. Второй день, впроголодь, Емельянъ мучился раздумьемъ, какъ онъ приметъ и чѣмъ будетъ подчивать гостей? Принимаетъ такой санъ, а на умѣтѣ. кромѣ воды, въ рѣдкость были бы и сухари.

XXI.

Въ концѣ іюня, вскорѣ по переѣздѣ на мызу въ Кунцово, Глѣбъ и Марі получили отъ Силы Ильича Травкина слѣдующее письмо:

«Милостивый государь и благодѣтель мой, Глѣбъ Андреевичъ! Приготовьтесь свѣдать отъ меня, нижайшаго, нѣчто необычайное и простому уму, каковъ мой, даже непостижимое. Съ вашимъ досточтимымъ братцемъ приключилось событіе, коему я случайно былъ персональнымъ свидѣтелемъ и все опое зрѣлъ собственными недостойными очесы. Алексѣй Андреевичъ вчера строгаи сыну кощени, въ портретной, а отецъ Василій сидѣлъ противъ нихъ и, по обычаю, читалъ о великомученицѣ Анастасіи. Камердинеръ Дронъ подалъ вашему братцу на подносѣ нѣкое письмо, съ почты, и самъ сталъ къ сторонѣ. Алексѣй Андреевичъ взглянули на конвертъ, отложили его на столъ и кивнули отцу Василію,—ничего, молъ, продолжай свое; а сами, вижу, все поглядываютъ на ту цидулку. Наконецъ, не вытерпѣли, вскрыли ее, прочли и измѣшились въ лицѣ.—Чтò такое?—спросилъ священникъ.— Читай!—отвѣтили они ему. Тотъ началъ честь письмо. Отъ кого же оно было? Отъ Сера

фимы Львовны, да какое! — «Прости, Алеша, прости, другъ,—писала она:—у ногъ твоихъ молю; забудь мои злыя прегрѣшенія, мой позоръ,—не отвергни; обрати меня, куда знаешь, хоть въ судомойки, или въ коровницы; на колѣняхъ къ тебѣ приползу, смилуйся только, не кляни! Сны меня, смертныя сомнѣнія замучили и въ конецъ истерзали. Жить безъ тебя и безъ дѣтей не могу. Не простишь, руки на себя, окаинная, непрощенная тобою, наложу!» — Выслушали всѣ мы, сильно смутились и, не зная, что сказать, молчали. А вашъ братецъ какъ вскочить, вытянулись во весь ростъ и говорятъ: «Что же вы, государи мои, молчите? вѣдь, это она, моя жена, вѣщанная со мною, молитъ; вѣдь, это—законная моя хозяйка, мать нашихъ дѣтей!» — Тутъ Алексѣй Андреевичъ упали на колѣни, передъ образами, вздѣли руки, тихо и со слезами, стали молиться, паки поднялись и отвѣсили отцу Василю пренизкій поклонъ:—«благодарствуй, батюшка! наставилъ ты меня, слѣпаго, и вразумилъ; Господь даетъ всѣмъ намъ великую и благую милость». — Обратились они и къ плачущему тутъ, отъ радости, Дрону:—«Ну, Дрднушка, сыскаши мы Богомъ; готовь барину лучший нарядъ, карету и все, какъ есть,— поѣдемъ въ Казань! Хозяюшка паки обращается къ намъ и къ дѣткамъ своимъ». — II, представьте, глубокочтимые Глѣбъ Андреевичъ и Марья Родіоновна, вашъ братецъ, какъ сказалъ, такъ и совершилъ; вчера всѣмъ парадомъ выѣхалъ въ Туровцовскую вотчину, а насъ всѣхъ смиренныхъ сосѣдей оновѣстилъ, приглашая ктати и на посвященіе новозданнаго храма. А въ пригласительныхъ, отъ его милости, цидулахъ сказано: «Алексѣй и Серафима Дугановы всекорнѣйше просятъ и надѣются, что добрые сосѣди неукоснительно почтутъ прибытіемъ какъ оное торжество, день коего будетъ обозначенъ особо, такъ и радостный, по поводу того, семейный, въ Горкахъ обѣдъ». Слышно, что братцемъ приглашены и многіе сторонніе, даже изъ Саратова, въ томъ числѣ всѣми хвалимый, тамошній архимандритъ, Игнатій, коему уготовано совершить и освященіе храма. Цирь, можно сказать, затѣянъ на славу, послано на пристаць за нервѣйшими рыбами, въ городъ — за лучшими винами и прочею бакалеей, а я почтенъ приглашеніемъ въ распорядители. Въ качествѣ же онаго и дабы во всемъ приспѣть и все, какъ подобаетъ, уладить, я осмѣ-

лился, при семь случаѣ, указать братцу и лучшей день для семейнаго и церковнаго торжества, а именно — въ концѣ августа,—на честной праздникъ Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи. И замѣчу — въ ономъ, указуемомъ мною днѣ — нарочитое знаменіе. Въ древности, хитроумная и злая жена Продіада, не милуя, усѣкла преподобному святителю Іоанну главу; наша же рекомая грѣшница, а нынѣ, по-моему, — почтенная и достохвальная госпожа, — Серафима Львовна, видимо смирясь, не погубила души неповиннаго, за что отъ мужа и отъ Бога сторицею будетъ награждена. Ждемъ и вась, съ суругою и съ сынкомъ, на оный, всѣми нетерпѣливо ожидаемый и, сказать къ слову, небывалый, второбрачный ванего братца праздникъ. Чудны дѣянія свыше и да славится имя Господне, отнынѣ и до вѣка».

— Ни за что! — сказали Глѣбъ, прочтя и скомкавъ это письмо:—ужь меня-то они не дождутся; ты же,—обратился онъ къ женѣ:—какъ знаешь, я умываю руки.

Марі, видя раздраженіе мужа, промолчала.

— Да и вообще, — прибавилъ Глѣбъ, съ досадою: — всѣ точно рехнулись! Такое важное дѣло, цѣлый новый переворотъ въ семьѣ брата, а о немъ пишетъ гороховое чучело, этотъ Травкинъ, отъ самого же брата о томъ ни строки!

Какъ-то Марі и Глѣбъ были въ отличномъ настроеніи духа. Марі, за клавесномъ, играла отрывки изъ ораторіи Генделя. Глѣбъ, любуясь ею, припоминалъ подробности первыхъ лѣтъ женитьбы и счастья. Послѣ исторіи съ братомъ, онъ вдвое оцѣнилъ свой семейный покой, не зная, какъ за него благодарить Бога, и боялся лишь одного, какъ бы не исчезло это слишкомъ дорогое для него счастье. Принесли съ почты письмо Алексѣя. Тотъ писалъ кратко откуда-то, по пути къ Казани. — «Дорогой братъ, Глѣбушка,—извѣщала онъ:—я безъ ума отъ счастья; пролилъ его на мою недостойную голову Господь. Серафима неожиданно обратилась ко мнѣ, съ полнымъ раскаяніемъ и такъ искренно, сердечно и совершенно просто. Никогда бы того и не придумала. Точно все это случилось во снѣ. Порадуйтесь за меня и пріѣзжайте, только не на Усѣкновеніе, какъ намъ совѣтовалъ-было добрякъ Травкинъ, а на Петровъ день: не откладывайте. Лечу къ ней, не помня себя».

— Тряпка и сущій дуракъ! — сказала Глѣбъ, читавъ это письмо брата.

Второе, болѣе пространное извѣстіе отъ Алексѣя получило уже изъ-подъ Казани. — «Пріѣхалъ я, други мои, въ Туровцово, и увидѣлъ Серафиму, — сообщалъ онъ: — ахъ, что это была за встрѣча! Сколько трогательнаго и поучительнаго! Она вышла ко мнѣ, вся въ темномъ, какъ приговоренная къ казни преступница, и при всѣхъ пала мнѣ въ ноги. И какъ плакала, какъ молила меня, — простить ее и забыть все. Ты не узналъ бы, увидѣвъ ее. Изъ вѣтренной — стала разсудительною, изъ заносчивой, легкомысленной бабенки, — какихъ вездѣ не мало, — строгою и дѣльною женщиною, любящею и заботливою матерью. Я на нее гляжу, по часамъ, не спуская съ нея глазъ, а она торопитъ меня въ Горки, къ оставленнымъ птенцамъ. — «Дѣтки мои, дѣтки ненаглядныя! — повторяетъ она: — Петичка, Количка, Надя! Ангелочки мои, гдѣ вы?» — Ну, просто, какъ помѣшанная!»

Ожиданія Глѣба о командировкѣ сбылись. Недѣли черезъ полторы, по полученіи послѣдняго письма отъ брата, онъ былъ экстренно вызванъ къ князю, получилъ наставленія о Кордониной, простился съ женою и на слѣдующій же день уѣхалъ въ Петербургъ. Для того же, чтобъ окончательно не обидѣть Алексѣя Андреевича отказомъ отъ поѣздки въ Горки, Глѣбъ и Марі предложили Нинѣтъ — поѣхать туда за нихъ, что Нинѣтъ вскорѣ и исполнила.

Невольное раздраженіе, овладѣвшее Глѣбомъ, при первыхъ извѣстіяхъ о новыхъ рѣшеніяхъ и дѣйствіяхъ брата, мало-по-малу, улеглось. Онъ подъ-конецъ, видимо, съ этимъ сталъ примиряться. Но Марі неожиданно замѣтила въ немъ другую, новую и до тѣхъ поръ незнакомую ей черту. Ее поразила какая-то особенная сухость и сдержанность въ его обыкновенно мягкомъ и искреннемъ обращеніи и разговорахъ не только съ нею, но и съ прочими домашними.

Онъ вдругъ точно подтянулся и подобрался. Всегда предупредительный и въ существѣ несомнѣнно добрый, Глѣбъ куда-то точно ушелъ, а на мѣстѣ его, въ семьѣ, какъ-бы явился другой Глѣбъ. Онъ, казалось, радушно смотрѣлъ на всѣхъ, но въ его взглядахъ просвѣчивалась несвойственная ему до той поры пристальность, а особое вниманіе, съ которымъ онъ прислушивался къ каждому слову окружающихъ, точно ища въ немъ чего-то недосказаннаго и скрыт-

наго, неволью смущало Марі. Глѣбу, видимо, было не по себѣ.

— Чтѣ съ тобою?—рѣшилась, наконецъ, Марі спросить его, глядя съ тревогой въ его грустные, потускнѣвшіе глаза: — здоровъ ли ты? Отложилъ бы свою побѣдку! Неужели нельзя этого уладить? Князь знаетъ и цѣнитъ тебя; позволь, я поѣду и попрошу его.

— Благодарю, милая, я здоровъ, а медлить не изъ-чего,— отвѣтилъ Глѣбъ, особенно горячо и нѣжно цѣлуя жену: — все это пустяки, пройдетъ и такъ... Вѣдь разлука, согласишься, кого не смутитъ? При томъ мнѣ дано такое важное и отвѣтственное порученіе. Будь только ты внимательна къ себѣ и дѣтямъ, все остальное пройдетъ и кончится благополучно.

Ласковый отвѣтъ Глѣба нѣсколько успокоилъ Марі. Она старалась себя убѣдить, что онъ говоритъ искренно и отъ души. Ея сердце, однако, ныло. Да и какъ было не томиться о мужѣ? По ночамъ онъ ворочался съ-боку-на-бокъ, вздыхалъ и отъ мрачныхъ мыслей, видимо, почти не спалъ.

Глѣбъ уѣхалъ въ половинѣ юня, и Марі, только впоследствии узнавъ, какая ехидна въ то время вползла въ сердце мужа и сосала его, убѣдилась, какъ были правы ея предчувствія. Все, чтѣ испытала она затѣмъ, оставило въ ея домашней жизни тяжелый и неизгладимый слѣдъ.

Событіе, повліявшее на Глѣба,—какъ потомъ довѣдалась Марі,—случилось за нѣсколько дней до его отъѣзда въ Петербургъ. Онъ, какъ нерѣдко случалось, возвратился въ то время на мызу, особенно усталый, голодный и потому не въ духѣ. Пыль покрывала его платье и лицо. Обойдя комнаты и не видя жены, онъ прошелъ къ себѣ въ кабинетъ, потребовалъ воды, умылся и сталъ переодеваться. При этомъ онъ примѣтилъ на столѣ письмо, запечатанное черною печатью и адресованное на его имя. Марі въ то время съ Сысоевнѣй перебирала въ дѣтской бѣлье ребенка. О возвращеніи мужа никто ей не сказалъ. Озадаченный черною печатью и незнакомымъ почеркомъ на конвертѣ, Глѣбъ позвонилъ слугу. — «Не случилось ли чего, Боже сохрани, съ матушкой и не предупреждаетъ ли насъ о томъ кто-либо изъ сосѣдей?»—пришло ему въ голову.

— Кто доставилъ это письмо?—спросилъ онъ вѣщнаго слугу Сергѣя.

— Садовникъ Яковъ.

— А онъ откуда его взялъ?

— Какой-то господинъ давеча подѣхалъ къ воротамъ, а Яковъ воду на цѣпты качалъ; господинъ кликнулъ его, спросилъ, дома ли баринъ, и велѣлъ вамъ отдать.

— Знакомый? Онъ видѣлъ его когда-нибудь?

— Говорить, увидѣлъ впервые; должно, городской и богатый, своя коляска и такой нарядный.

— Хорошо, иди себѣ.

Глѣбъ вскрылъ письмо, прочелъ первыя строки и обмеръ, Маріи лишь въ послѣдствіи, и послѣ ряда многихъ другихъ скорбныхъ испытаній, навалившихся на нее, узнала объ этомъ письмѣ.

XXII.

Письмо оказалось анонимнымъ и въ немъ, видимо, поддѣльнымъ, ломаннымъ почеркомъ, были написаны слѣдующія слова: «Горделивый слѣпецъ и фанфаронъ! Ты смотришь зорко, а въ ничего не видишь; лѣзешь въ чужія дѣла, а у себя подъ носомъ, — что? Ужели не свѣдомъ? Ай, какъ жалко! Знай же, несчастный, тебя ловко проводятъ; ты обмануть и давно рогасть. Приглядишься получше, все тебѣ станетъ ясно».

«Обмануть, рогасть!» — прозвучали страшныя слова передъ Глѣбомъ. Первымъ его движеніемъ было идти къ женѣ и показать ей это подметное письмо; затѣмъ онъ хотѣлъ ѣхать въ городъ и, во что бы то ни стало, разыскать и притянуть къ отвѣту написавшаго эти строки. Но какъ и гдѣ найти? Затѣмъ попусту тревожить жену? Ломая себѣ голову, Глѣбъ перебиралъ въ умѣ, кто могъ бы рѣшиться на такую низость и кому было бы на руку нанести ему этотъ ударъ? Ни въ обществѣ, ни по службѣ онъ, по совѣсти, не имѣлъ и не зналъ подобныхъ враговъ. — «Злая шутка пустоголовыхъ, клубныхъ блюдолизовъ!» — рѣшилъ онъ, вспоминая, что только въ клубѣ могли на него особенно злиться, такъ какъ онъ туда не ѣздилъ. въ карты съ его посѣтителеми не игралъ и вообще держался вдалекѣ отъ тамошней среды. Затаявъ въ сердцѣ полученную вѣсть и никому о ней не намекнувъ, Глѣбъ нѣжно простился съ женой, съ сыномъ и домочадцами и уѣхалъ изъ Москвы.

Всю дорогу и первое время по пріѣздѣ въ Петербургъ, онъ старался не думать о безыменномъ доносѣ и прилежно

переписывался съ женой. Не зная о происшедшемъ и грустя въ разлукѣ съ любимымъ человѣкомъ, Маріи, разумѣется, ничего и не подозрѣвала, а нѣсколько мрачное настроеніе въ письмахъ Глѣба приписывала разлукѣ съ собой и тѣмъ же, огорчавшимъ его, извѣстіямъ о братѣ.

Прошелъ іюнь, наступила половина іюля. Жизнь на мызѣ шла благополучно. Маріи, за это время, получила съ Волги отъ Алексѣя и Серафимы и переслала мужу нѣсколько трогательныхъ писемъ. Оба они, хотя кратко, но радостно, извѣщали ее о счастливомъ своемъ возвратѣ въ Горки, объ освященіи, при этомъ, перестроенной церкви и объ общемъ мирѣ и довольствѣ, наставшихъ въ ихъ семьѣ.

Описывая званый свой обѣдъ, Алексѣй даже ударился въ шутки и остроты. — «Нанинъ же главный распорядитель на ономъ торжествѣ, Сила Ѳомиичъ Травкинъ, явился въ вишневомъ, матерчатомъ кафтанѣ и прикрывъ скудovolосый черешъ, съ сиво-бѣлою косичкой, чымъ-то завитымъ и напудреннымъ, преогромнымъ парикомъ. На башмакахъ имѣлъ серебряныя, съ бантами, пряжки, а за камзоломъ на груди букетъ изъ лакфіолей и розъ. Когда же мы попарно стали шествовать изъ церкви, подъ звуки громогласнаго монастырскаго хора, мнѣ даже показалось, будто онъ, какъ нѣкій гвардейскій тамбурмажоръ, шагаетъ передъ нами съ золотоу булавой». — Маріи съ несказанною радостью читала эти письма изъ Горокъ. Уѣхавшая туда, съ іюня, Нинетъ также сочувственно описывала счастливую встрѣчу и искреннее примиреніе Алексѣя съ женой.

На вопросы Маріи, какъ удалась командировка, Глѣбъ въ началѣ писалъ, что все идетъ благополучно и ладно, что онъ часто видится не только съ приглашенными къ дѣлу, важными сенаторами, но и съ самымъ фаворитомъ государыни, Григоріемъ Орловымъ, а вскорѣ, вѣроятно, удостоится лицезрѣть и самую монархиню. Но потомъ онъ извѣстилъ, что дѣло снова запуталось, даже остановилось и что онъ возвратится теперь, по всей видимости, никакъ не ближе августа, а то, пожалуй, и позже.

Травкинъ, попрежнему, писалъ о событіяхъ въ Горкахъ. Въ одномъ изъ писемъ, передавая нѣкоторые мѣстные слухи, онъ сообщилъ и о новыхъ толкахъ между крестьянами, — будто гдѣ-то опять появился, считавшійся покойнымъ, государь Петръ Ѳедоровичъ. — «Разумѣется, то все глупыя и

дерзкія сплетни,—выразился при этомъ Травкинъ:—но что удивленія достойно, — ваша почтенная родственница, Нина Александровна, узнавъ о томъ, выразилась: «А почему знать? можетъ - быть, это и въ самомъ дѣлѣ настоящій, скрывавшійся гдѣ-нибудь донинѣ въ чужихъ земляхъ, нашъ государь?»—Мысль безумная и опасная, а ея держатся, вообразите, и другіе. Я же, навѣстивъ нѣкогда своего брата въ Питерѣ, былъ самолично на похоронахъ покойнаго государя. Оный мой братъ Павелъ нынѣ въ Яицкѣ, у больного тестя. Пишетъ, —опять тамъ неладно; казаки мутятся и слышать не хотятъ начальства».

Марі, порицая въ душѣ Нинѣтъ и не желая огорчить мужа, не послала ему этого письма Травкина; остерегаясь за послѣдствія, она даже сожгла его.

Въ исходѣ іюля, въ Москвѣ пошли проливные дожди. Ребенокъ Марі, на мызѣ, снова расхворался. Видя, что приглашенный къ нему извѣстный дѣтскій врачъ-нѣмецъ мало помогаетъ, Марья Родіоновна предложила ему позвать на совѣтъ другого медика. Тотъ привезъ на мызу какого-то француза; ни нѣмецкія, ни французскія пилюли, однако, не помогли. Вася продолжалъ хрипѣть. Измученная тревогой, Марі подумала и рѣшилась позвать Спесивцева. Послѣдній долго отпѣкивался. Онъ обмѣнялся съ Марі нѣсколькими письмами. — «Я, какъ вы знаете, не практикую, — писалъ онъ: — пріѣхать по знакомству готовъ, но какой же я медикъ, коли вы знаете мой взглядъ на медицину?» Марі шутками и ласками старалась убѣдить его, приводила разныя доказательства и, наконецъ, уговорила его. Онъ смиловался и пріѣхалъ.

Осмотрѣвъ ребенка и найдя у него новый упадокъ питанія и отъ того общее разстройство здоровья, Спесивцевъ посоветовалъ ему хорошій бульонъ, ароматическія ванны и втиранія, и сталъ бывать на мызѣ чуть не каждый день. Ребенокъ началъ чувствовать себя лучше. Марі отрадно вздохнула. Даже Сысоевна, вообще не любившая Спесивцева за его насмѣшливый нравъ и за то, что онъ, ни при звонѣ благовѣста, ни при ударѣ грома, не крестился—выразилась о немъ: «Не дохтуръ, чистый вѣдунъ; его бабка, видно, знала все и ему въ ладонку свое вѣдовство зашила». — Старая Дуганова, узнавъ отъ Марі объ отъѣздѣ Глѣбо въ Петербургъ и о болѣзни своего внука, собралась-было изъ Ракит-

наго въ Москву, съ цѣлью — помочь невѣсткѣ и затѣмъ, когда внуку станетъ лучше, проѣхать кстати на Волгу къ своему пасынку. Но и она, въ то время, разнемоглась и отложила свою поѣздку до болѣе удобнаго времени.

Въ хлопотахъ о ребенкѣ, Маріи бросила чтеніе и музыку и вообще мало обрацала вниманія на постороннія вещи. Даже извѣстіе о болѣзни свекрови она приняла, какъ обычное недомоганіе вообще слабой здоровьемъ старухи. Изъ числа знакомыхъ горожанъ, Марью Родіоновну въ Кунцовѣ навѣщали изрѣдка — жена одного изъ сослуживцевъ Глѣба, ихъ домашній врачъ-нѣмецъ, лѣчившій и князя-главнокомандующаго, неизмѣнный Спесивцевъ и одна дальняя родственница Маріи, вдова бѣднаго чиновника, умершаго во время чумы, Надя Шимкова. Последняя жила въ крайне стѣсненномъ положеніи. Узнавъ, съ полгода назадъ, о ея нуждѣ, Маріи пособляла ей, чѣмъ могла, и радовалась, что Надя, навѣщая ее, хоть нѣсколько отдыхала отъ своей тяжелой доли. Глѣбъ вызвался похлопотать для нея о казенномъ мѣстѣ. По праздникамъ названныя лица иногда обѣдали у Маріи, причѣмъ она, имѣя собственныхъ лошадей и пользуясь снова наставшею хорошею погодой, иногда угощала ихъ прогулками въ окрестностяхъ Кунцова. Эти поѣздки, впрочемъ, обыкновенно предпринимались болѣе для Васи, котораго, по совѣту Спесивцева, Маріи почти безвыходно держала на воздухѣ. Видя, что ребенокъ снова сталъ оправляться, Маріи не тревожила мужа извѣстіемъ о его болѣзни, а чтобы еще болѣе быть спокойною, рѣшила, по возможности, скорѣе возвратиться въ городъ.

Однажды Спесивцевъ, по обычаю, заѣхалъ на мызу. Любуясь поздоровѣвшимъ Васей, онъ взялъ его на руки отъ няни и сталъ его цѣловать.

— Не дѣлайте этого, — сказала ему Маріи, по-французски...

— Почему? — удивился онъ.

Маріи покраснѣла.

— Мужъ не любитъ, когда ребенка ласкаютъ посторонніе, — отвѣтила она.

— Но вашего мужа здѣсь нѣтъ, — улыбнулся Спесивцевъ: — а я развѣ посторонній?.. я для васъ сдѣлалъ невозможное, — медикомъ сталъ.

— Вздоръ, вздоръ, — сказала Маріи, не помня себя отъ смущенія: — оставьте его!

— Да почему же?

— Боюсь, что сглазите.

Взявъ отъ него ребенка, она отослала его съ Сысоевнѣю и въ досадѣ на себя замолчала. Спесивцевъ грустно вздохнулъ, угнѣзвился въ уголь софы и, по обычаю, когда онъ начиналъ о чемъ-нибудь усиленно и съ недовольствомъ думать, засопѣлъ носомъ. Маріи расхохоталась.

— Смѣйтесь, смѣйтесь, — сказалъ онъ: — собственно вѣдь и я веселъ, потому что почти счастливъ; все идетъ хорошо въ этомъ лучшемъ изъ міровъ.

— Чѣмъ же вы особенно довольны?

— А какъ же? вашему сыну, во-первыхъ, лучше, недолго при томъ ждать осени, — настанетъ слякоть, вы переберетесь снова въ городъ, и мнѣ не зачѣмъ будетъ сюда трястись, на нашихъ гитарахъ, отбивающихъ бока.

— Ну, и не ѣздите больше, — сказала Маріи: — я вамъ очень благодарна, но не желаю вамъ дурного.

— А во-вторыхъ, — продолжалъ Спесивцевъ: — подѣлать вашъ мужъ, и опять мы съ нимъ сядемъ за шахматы; и въ такомъ простомъ видѣ кончится весь мой вѣкъ. Скажутъ, былъ когда-то лѣкарь, безъ практики, хотя кое-кому иногда помогая, избавляя людей отъ ядовъ латинской кухни, и умеръ, сожалья, что ровно нечѣмъ ему было заняться подъ конецъ жизни:

— Какъ нечѣмъ? вы же такой охотникъ до общества, особенно... до семейныхъ драмъ...

— Въ томъ-то и дѣло, что драмъ болѣе нѣтъ. Вашъ вонъ своякъ неожиданно примирился и отъ души, какъ увѣряютъ, вновь сошелся съ своею женою; ну, драма и кончилась, а другихъ не нарождается. Что же мнѣ дѣлать, о чемъ думать и что говорить? Меня соблазняютъ на разныя кондиціи, въ отгѣздъ; одинъ помѣщикъ даже обѣщаетъ отказать мнѣ, по смерти, свое состояніе, лишь бы я переѣхалъ къ нему въ деревенскую трущобу... великій чудакъ и масонъ...

— И что же?

— Да развѣ можно промѣнить на что-нибудь Москву? здѣсь все - таки люди, увидишь и услышишь кого-нибудь. Потомъ, этотъ господинъ уже очень доверчивъ, не видитъ риска, — отказываетъ доктору состояніе, а тотъ каждый день можетъ, по всѣмъ правиламъ искусства, отправить его къ праотцамъ.

Марі съ улыбкой, молча слушала балагура. Онъ надулся.

— Вижу, вы мысленно разбираете и опредѣляете меня,— произнесъ онъ:— скажите откровенно, кто я такой, по-вашему?

— Вы? — спросила, смѣясь, Марі.

— Да.

— Трутень! — отвѣтила она, снова и уже громко расхохотавшись.

Спесивцевъ былъ озадаченъ.

— За этотъ, милая барынька, сюрпризъ,— сказалъ онъ:— позвольте...

Онъ схватилъ и быстро поцѣловалъ ея руку. Марі не замѣтила, что въ это время въ комнату вошла и стояла у двери Сысоевна.

— Что тебѣ?— обратилась къ ней, не глядя на нее, Марі.

— Василию Глѣбычу готовить и сегодня купель?

— Не надо, — отвѣтилъ Спесивцевъ, вставъ и откланиваясь Марі:— лѣчение кончено; твой барчонокъ здоровъ.

XXIII.

Онъ пошелъ въ залъ и на порогѣ встрѣтился съ подъѣхавшею изъ города Надей Шимковой. Они поздоровались.

— А вы, извините, все также блѣдны, — сказалъ, кланяясь ей, Спесивцевъ.

Надя, съ грустною улыбкой, молча подошла къ Марі. Онѣ обнялись.

— Кстати, Захаръ Семеновичъ, — сказала Марі Спесивцеву:— вотъ я все убѣждаю ее. Здѣшняя мыза намъ уступлена до зимы; я думаю на-дняхъ переѣхать въ городъ и предлагаю Надѣ остаться здѣсь. Одобряете ли вы это?

— Совѣтъ полезный, — отвѣтилъ Спесивцевъ:— Марья Родионовна лучше придумать не могла... Школа виталистовъ умножается! Сельскій воздухъ, молоко и прогулки,— что можетъ быть лучше? Вы теперь худы и блѣдны, — здѣсь навѣрное и быстро еще оправитесь.

— Я при томъ не одна, — произнесла Шимкова:— у меня дѣвочка и тоже хворая. Одного здѣсь боюсь,— безъ докторовъ.

— Да бросьте ихъ, ради Бога.

— Ее лѣчитъ Лельевръ, — сказала Марі.

— Оттого она и хвораетъ, — отвѣтилъ Спесивцевъ.

— А вы насъ навѣстите, если будетъ нужно? — спросила Надя.

— Съ превеликимъ моимъ удовольствіемъ; ужъ хоть бы,

въ тѣхъ видахъ, чтобы вылѣчить вашу дѣвочку отъ принятыхъ ею лѣкарствъ.

Въ двадцатыхъ числахъ августа Маріи возвратилась въ городъ, о чемъ и извѣстила мужа. Погода держалась еще теплая и ясная. На мызѣ, въ Кунцовѣ, поселилась Надя Шимкова. Маріи оставила ей часть прислуги и мебели, провизіи и водовозку, съ запасными дрожками, для поѣздокъ въ городъ, гдѣ Надя въ нѣкоторыхъ домахъ брала себѣ шитье бѣлья и другую работу. Маріи навѣщала ее изъ Москвы.

Было,—какъ часто потомъ вспоминала Маріи,—двадцать-восьмое августа. Передъ вечеромъ, въ сумерки этого дня, Глѣбъ совершенно неожиданно возвратился въ Москву. Письмо Маріи о ея переѣздѣ въ городъ уже не застало его въ Петербургѣ. Бѣдучи въ Москву, онъ также никого не предупредилъ о своемъ возвратѣ. Маріи не было въ тотъ вечеръ дома. Глѣбъ обошелъ комнаты и, не видя жены, заглянулъ въ дѣтскую.

— Гдѣ же барыня?—спросилъ онъ Сысоевну, поцѣловавъ Васю, котораго та держала.

— На мызѣ.

— Развѣ вы не совсѣмъ переѣхали оттуда?

— Тамъ осталась пріятелька барыни, съ дитемъ.

— Кто?

— А какъ ее, право?.. Шимкова, что ли.

— Надежда Павловна?

— Она.

— Зачѣмъ же Маша туда поѣхала?

— Навѣщаетъ ее.

— Давно сами вы въ городѣ?

— День съ пять.

— А барыня скоро думала быть назадъ?

— Что имъ тамъ? сейчасъ, должно, будутъ. А вашей милости какъ ѣздило? всѣ ли вы въ добромъ здоровьѣ?

— Ничего, няня, спасибо. Все хорошо.

Глѣбъ зашелъ въ кабинетъ, развязалъ часть своихъ вещей, покопался въ рабочемъ столѣ и въ шкапахъ, что-то началъ было писать, но изорвалъ написанное и, надѣвъ шинель и шляпу, вышелъ на крыльцо.

— Будете, сударь, пить чай?—обратился къ нему слуга.

— Не буду.

— Что сказать барынь, коли пожалуютъ безъ васъ?—спросилъ Сергѣй.

— Скажи, что поѣхалъ по дѣлу и вернусь позднѣе...

Пройдя Чистые-пруды, Глѣбъ на Покровкѣ кликнулъ знакомаго извозчика Фролку, обыкновенно стоявшаго здѣсь у богатаго трактира, сѣсть на его дрожки и велѣть ѣхать въ Кунцово.

— Съ прїѣздомъ, ваше сіятельство!—сказалъ румяный и кудрявый Фроль, снявъ шапку.

— Благодарю.

Красивый фролкинъ рысакъ медленно двинулся.

— Гони, любезный, смеркается,—сказалъ Глѣбъ:—нужное дѣло, ничего не пожалѣю... а конь у тебя еще, вижу, стать рѣзвѣй.

Польщенный Фроль подобралъ вожжи и пустилъ своего сѣраго полнымъ ходомъ. Онь скоро домчалъ Глѣба въ Кунцово. На дворѣ, между тѣмъ, совсѣмъ стемнѣло. Миновавъ крайніе домики Кунцова, за которыми, у края лѣсной просѣки, начинались паркъ и садъ—при мызѣ главнокомандующаго, Глѣбъ велѣлъ извозчику, вдоль просѣки, ѣхать шагомъ.

— Придержи коня,—сказалъ онъ:—пусть отдохнетъ.

— Помилуйте, сударь, ничего! радъ стараться.

— Нѣтъ, лучше шагомъ...

Въ узкой просѣкѣ было еще темнѣе. Вправо бѣлѣла крашеная рѣшетка парка, огражденная отъ дороги глубокою канавой. Поверхъ рѣшетки, въ прогалинѣ между деревьями, былъ виденъ свѣтъ. Глѣбъ узналъ огна княжеской мызы. Разглядѣвъ въ темнотѣ рядъ высокихъ тополей, онъ вспомнилъ, что противъ нихъ изъ парка на просѣку была калитка.

— Стой здѣсь,—сказалъ онъ извозчику:—я пройду садомъ; когда будетъ нужно, кликну тебя; вотъ обрадуется жена.

— Вѣстимо, сударь.

Глѣбъ отыскалъ и отперъ калитку. Войдя въ паркъ, онъ шель сперва бережно, опасаясь, въ лѣсной мглѣ, наткнуться на вѣтви, потомъ пошелъ скорѣе. Дорога отъ тополей вела прямо къ дому. Паркъ кончался широкимъ прудомъ; за берегомъ послѣдняго начинался плодовый и цвѣточный садъ. Отъ пруда сталъ виденъ домъ. Нѣсколько оконъ въ лѣвой его сторонѣ были освѣщены. На прудѣ послышался плескъ.

— Кто здѣсь?—спросилъ Глѣбъ.

— Садовникъ.

— А, это ты, Яковъ?

Садовникъ узналъ голосъ барина и подбѣжалъ къ нему.

— Съ прїѣздомъ, сударь... Вотъ не ожидали.

— Что ты дѣлаешь тутъ?

— Привязываю лодку.

— Развѣ на ней кто теперь ѣздитъ?

— Наша сударыня, Марья Родіоновна.

— Она еще здѣсь?

— Въ комнатахъ.

— Съ кѣмъ плавала на лодкѣ?

— Съ дохтуромъ.

— Съ какимъ?

— Съ Захаромъ Семеновичемъ.

Глѣбъ помолчалъ.

— Одни они плавали?

— Одни-съ.

— А барыня, что здѣсь гоститъ?

— Ихъ не было.

— Дома ли она?

— Что-то не видѣлъ... Надо полагать, дома, а може еще въ городѣ; послѣ обѣда куда-то ѣздили.

— Наша барыня ожидаетъ ее здѣсь, что ли?

— Полагать должно. Барынины и дохтурскіе кони еще на конюшнѣ; я эвosi туда носилъ овесь, а рыжаго не видѣлъ.

— Какого рыжаго?

— А водовозки... имъ барыня, для надобностей, оставила. Да позвольте, сударь, я сбѣгаю, узнаю.

— Не надо, стушай себѣ, Яковъ, но никому не говори; я самъ туда, черезъ балконъ...

— Вотъ, сударь, барыня обрадуется,— сказали Яковъ.

Отпустивъ садовника и выждавъ, пока затихли его шаги, Глѣбъ остановился, увидѣлъ подъ деревомъ скамью и безпомощно опустился на нее.

— «Обрадуется! — сказали онъ себѣ съ горечью: — такъ вотъ оно что, вотъ разлука! Кто могъ думать и ожидать? у Маши въ гостяхъ, tête a tête, Спесивцевъ... она ѣздитъ сюда... Неужели условленные свиданія?» — Глѣбъ съ горечью посмотрѣлъ черезъ прудъ на освѣщенные окна. Онъ уже приподнялся и рѣшился было пройти туда, смутить виновныхъ, по его мнѣнію, и потребовать отъ своего соперника отвѣта. Ему уже мерещилась грозная сцена, занирательства соблазнителя, вопли жены и роковой ломъ, о которомъ го-

ворилъ при немъ Алексѣй. — «Нѣтъ, быть не можетъ!» — сказала себѣ съ отвращеніемъ Глѣбъ: «тутъ непонятное стеченіе случайныхъ обстоятельствъ, не болѣе... Но если?..» — Онъ оставилъ скамью и паркомъ пошелъ назадъ.

— Фролушка, ты здѣсь? — окликнулъ онъ у калитки извозчика.

— Здѣсь.

— Ёдемъ назадъ.

— Не застали, значитъ, хозяйюшки?

— Уже уѣхала.

Дрожки помчались обратно въ Москву.

— «Невѣроятное, безобразное событіе! — повторялъ мысленно Глѣбъ, разглядывая впопыхахъ заборы и домишки предмѣстья, въ которое въѣхали дрожки: — а, впрочемъ, чего съ женщиной не можетъ приключиться? на что онѣ не способны? Серафима... казалась тоже такою невинною, смиренницею, а что натворила!» — Острая боль щемила сердце Глѣба. Шумъ и движеніе городскихъ улицъ, по которымъ несея Глѣбъ, нѣсколько развлекли его. У одной изъ площадей онъ узналъ двухъ-этажный, съ колоннами и садомъ, домъ Туровцовою, гдѣ на свадьбѣ Алексѣя онъ впервые увидѣлъ Марію.

Глѣбу вспомнились первые годы послѣ его женитьбы, его пребываніе съ женой у матери въ Ракитномъ, рожденіе тамъ, въ его отсутствіе, сына и собственныя радостныя слезы, когда онъ впервые увидѣлъ ребенка и взялъ его на руки. Нежданная, жгучая мысль потрясла его... Онъ вдругъ припомнилъ, что Спесивцевъ гостилъ въ Ракитномъ, во время родовъ Маріи, что онъ пріѣхалъ туда заблаговременно и уѣхалъ значительно позже, когда все благополучно кончилось.

— «Нѣтъ, нѣтъ! не можетъ быть! — твердилъ онъ себѣ, съ дрожью: — матушка писала мнѣ тогда, что сама задержала этого гостя!» — Глѣбъ доѣхалъ до угла Покровки и Чистыхъ-прудовъ, остановилъ извозчика, расплатился съ нимъ и, чтобы хоть нѣсколько разсѣяться, пошелъ, вдоль прудовъ, домой пѣшкомъ.

XXIV.

Пугачовъ сидѣлъ въ воротахъ сарая, набивая обручъ на походный боченокъ, въ то время, когда подъѣхавшіе казаки приблизились къ огороду, бывшему за дворомъ. Они привязали коней подъ вербами и остановились у забора, за кото-

рымъ копаль грядку узнавший ихъ бродяга-арестантъ. Они съ нимъ разговаривались черезъ заборъ. Емельянтъ искоса наблюдалъ, какъ прибывшіе нерѣшительно спрашивали о чемъ-то арестанта и какъ тотъ отвѣчалъ имъ, поворачивая бритую голову къ сараю.

— Такъ это и есть нашъ батюшка-царь? — спрашивали казаки.

— Онъ самый.

Казаки, снявъ шапки, съ крайнимъ любопытствомъ смотрѣли, черезъ заборъ, въ ворота сарая, гдѣ въ простой, мужичьей рубахѣ и въ набойчатыхъ штанахъ, новоявленный царь, отесавъ обручъ, собственноручно набивалъ его обухомъ на днище боченка.

— И въ какой скудости, простотѣ! — невольно умиляясь, разсуждали между собою казаки: — претерпѣлъ, сердечный, — до времени, аки подъ спудомъ, былъ сокрытъ!.. Можно, миленькій, къ нему?

— Приметь ли еще? — съ важностью замѣтилъ бродяга.

— А что? — гнѣвъ, что ли, бываетъ?

— Всяко случается. Ждалъ васъ, а, все-таки, надо спросить.

— Иди, спасеть тебя Господь! — отвѣтили, кланяясь, казаки.

Арестантъ подошелъ къ Пугачову. Тотъ, оправясь, проговорилъ: зови! — Казаки перелѣзли черезъ заборъ, прошли огородомъ и приблизились къ сараю. Это были еще не женатые, безхозяйные парни, малолѣтки.

— Ты ли, надежа, нашъ государь, Петръ Ѳедоровичъ? — спросили они съ низкимъ поклономъ.

— Я самый. Отъ кого обо мнѣ извѣстны вы стали?

— Тотъ казакъ объявилъ, что добылъ тутъ коня. Въ городѣ, кормилецъ, всѣ бають, ждуть и не дождутся тебя, нашего избавителя.

— Кто васъ прислалъ? войско? — съ недовѣріемъ спросилъ Пугачовъ.

— Всѣ, какъ одинъ, всѣмъ міромъ, старъ и младъ! — ввали казаки.

Пугачовъ на мигъ просіялъ, хотя въ его глазахъ еще виднѣлось сомнѣніе и какъ бы испугъ.

— Войсковой, стало быть, не старшинской руки? — спросилъ онъ, разглядывая безусья, простодушныя лица молодыхъ казаковъ.

— Вѣстимо, батюшка; за тебя вся убогая чернь, обижен-

ная, бездомная сѣрома, голяки... Что брюханамъ, да богачамъ? они, воры, и безъ тебя всѣмъ довольны.

«Такъ вотъ что, старшіе еще не за меня!» — подумалъ Пугачовъ.

— Знаю я брюхановъ!—сказалъ онъ, помолчавъ:—садитесь, поговоримъ.

Казаки переглянулись.

— Мы, твое царское величество,—отвѣтили они:—и постоять передъ тобой охочи.

— Приказываю, такъ садитесь, — съ досадою объявилъ Пугачовъ:—не въ ногахъ только служба!

Казаки сѣли на-земь у воротъ сарая. Пугачовъ положилъ недофланый боченокъ на край колоды, на которой сидѣлъ, и сбросилъ съ нея стружки.

— Ну, яцкіе казаки,—началъ онъ:—я точно вашъ государь, Петръ Федоровичъ. Коли вы рѣшили, такъ примите меня и защитите, а не угодно, уйду на Узени и въ дальнія, дикія степи,—буду ждать другой пособки и иныхъ временъ.

— Не токма примемъ, на все готовы!—отвѣтали казаки, вставъ и кланяясь до земли: — старики бають, всѣ наши достатки и животы положимъ за тебя.

— По-правдѣ?

— Какъ передъ Господомъ Богомъ.

— Поклянитесь мнѣ, своему государю.

Казаки обратились на востокъ и, крестясь двуперстнымъ крестомъ, клятвенно подтвердили свои слова. Глаза Емельяна засвѣтились снова довольствомъ. Отъ радостной усмѣшки на вискѣ у него сложилась морщинка.—«Такъ и есть царскій знакъ!»—подумали казаки, разглядывая морщину, о которой уже слышали.

— Слышалъ я вашу клятву и вамъ вѣрю теперь!—сказалъ Пугачовъ: — вижу, объявиться мнѣ приспѣло время. Помогайте же, дѣтушки, соколы ясные, не покидайте... Что надумали, говорите.

— Не намъ, батюшка, рѣшать, нуще насъ есть!—отвѣтили, съ новымъ поклономъ, казаки:—мы только провѣдчики, подростки-ходаки.

— Гдѣ же ваши старшіе? — спросилъ Пугачовъ: — что медлятъ? говорю, время пришло.

— Насъ впередъ послали, сами ждуть зова.

— Оробѣли, что ли?—кличьте, съ честью приму.

- Не твоего величества боязно, злыхъ супостатовъ сколько!
- Гдѣ ждуть старшіе, далеко-ль?
- За тѣмъ, эвеси, курганомъ, въ логу.
- Что же медлите? зовите.
- Мы, батюшка, знакъ дадимъ.
- Давайте.

Одинъ изъ подростковъ, помоложе, взобрался на крышу сарая и сталъ оттуда махать палкой. Вдали показались три новые вершника. Они тихо приблизились къ умѣту, объѣхали огородъ и дворъ и показались въ воротахъ. Одинъ изъ нихъ былъ высокій, худой, съ окладистою русою бородой; другой—приземистый, черноволосый, скуластый и смуглый; третій—средняго роста, плотный, рябой и съ узенькими, на калмыцкій ладъ, глазами. То были уполномоченные отъ яицкаго войска,—Мясниковъ, Зарубинъ-Чика и Шигаевъ. Они слѣзли съ лошадей, привязали ихъ у воротъ, къ забору, и достали изъ тороковъ какія-то торбы. На нихъ были нарядные, китайскіе азімы,—на двухъ синіе, на третьемъ зеленый,—у каждаго ружье и сабля или кинжалъ у пояса.

— Дозволишь ли, батюшка, имъ подойти?—спросилъ подростокъ, махавшій съ крыши.

— Зови. Только вотъ чтѣ... Никто изъ васъ, вижу, не бывалъ въ Питерѣ и не знаетъ этихъ придворныхъ дѣловъ. Какъ подойдутъ, вы, мальцы, станете въ сторонкѣ, а они пусть упадутъ на колѣни и поцѣлуютъ мою руку.

Уполномоченные, оправясь и неся съ собою торбы, подошли безъ шапокъ къ сараю, опустили передъ Пугачовымъ на колѣни и, по очереди, поцѣловали протянутую имъ, мозолистую и загорѣлую его руку. Сильное волненіе охватило Емельяна.—«Вотъ, наконецъ, настоящіе первачи, руководники войска! — мыслилъ онъ, стараясь сохранить строгій и спокойный видъ.—зачѣмъ-то явились и что-то объявятъ мнѣ?»

Понимая, что передъ нимъ настоящіе, матерые казаки, а не мелкота, онъ готовился сказать имъ нѣчто важное и рѣшительное, подбиралъ въ умѣ слова, чтобы вышло торжественно и вмѣстѣ милостиво, какъ, по его понятію, должны были говорить высокіе властители-цари.

— Здравствуйте, войско яицкое!—сказалъ онъ, чуть кивнувъ головой на привѣтствіе казаковъ:—чай, удивляетесь? ваши отцы и дѣды ѣзжали къ моимъ предкамъ въ Москву и въ Питеръ; а нынѣ самъ монархъ пожаловалъ къ вамъ...

— Помилуй, отецъ! осиротѣли мы, страждемъ! помилуй, кормилецъ!—воскликали уполномоченные, припадая къ землѣ.

— Не кланяйтесь, дѣтушки, встаньте; садитесь противъ меня, поговоримъ.

Уполномоченные сѣли. Емельянтъ внимательно вглядывался въ ихъ, какъ ему показалось, до-нельзя растерянные и оробѣлыя лица. Казаки послѣ перваго смущенія, смотрѣли, однако, болѣе съ любопытствомъ, чѣмъ съ робостью.— «Царь, а глядитъ, какъ есть, мужикомъ!»—думалъ длинный Мясниковъ.— «Одѣженка совсѣмъ плоха, бородагъ и рыломъ какъ бы точно не вышелъ!»—мыслилъ, искоса поглядывая на царя, и черномазый Чика.

— Не вамъ, говорю, дѣтушки, кланяться мнѣ!—началъ, замѣтивъ пытливые взгляды казаковъ, Емельянтъ:—за меня заступитесь! плохо мнѣ; погубили-было въ конецъ бояре, жена и начальство.

— Не прогнѣвайся и не обезсудь,—произнесъ, вставъ и кланаясь, рябой Шигаевъ:—время обѣденное, а живешь ты, видимъ, въ скудости, пока мальцы покормить и напоить коней, дозвошь угостить,—прими отъ нашей нуждишки хлѣбъ-соль.

Шигаевъ вынулъ изъ торбы свѣжія пшеничный каравай и нѣсколько арбузовъ; Чика достала наляницъ, съ саломъ, и дынь; Мясниковъ—соленой рыбы, объемистую флягу, съ водкой, и стаканъ, завернутые въ войлочную полсть.

— Что-жь,—отвѣтили, бывший, все время, безъ Оболева, вироголодь, Пугачовъ:—мы не брезгаемъ подданными,—угощайте.

XXV.

Казаки разостлали въ воротахъ сарая полсть, нарѣзали хлѣба и арбузовъ и разложили рыбу. Всѣ, помоясь, усѣлись за трапезу. Пугачовъ разспрашивалъ гостей о послѣднихъ событіяхъ въ войскѣ, о нуждахъ казаковъ и о притѣсненіяхъ новыхъ, поставленныхъ надъ ними, командировъ. Собесѣдники, закусывая, вышли за здравіе государя по стакану и по другому. По третьему онъ самъ предложилъ выпить.

— Здравствуй я, царь Петръ третій!—сказалъ онъ при этомъ:—пью и за здравіе маво сына, наслѣдника Павла Петровича. Разумный онъ и жаль мнѣ Павлушу... надо его скорѣе ослобонить! Царицу мою запроу въ монастырь, пусть замаливаетъ грѣхи.

Пятна румянца выступили на лицах сотрапезниковъ. Языки ихъ развязались.

— Дѣтунки мои, соколы вы ясные!—воскликнулъ Пугачовъ, переставъ ѣсть, хотя вновь разрѣзанная, душистая дыня еще привлекала его къ себѣ: — претерпѣлъ я, охъ, много! пѣнь нынѣ сталь сизый орелъ; подправьте орлу крылья, — вотъ какъ васъ обряжу и вознесу. Бояре, офицерство умничаютъ, стоятъ за жену; надо истребить эту всю царичьину офицерщину, всѣ ея порядки.

— Благодарствуемъ отецъ!—говорили, кланяясь, казаки:—видимъ, стоишь ты за насъ, сиротъ.

— Всѣмъ васъ одарю,—продолжалъ Пугачовъ:—Яикомъ, съ притоками и рыбными ловлями, землями, всякими угодами, солеными озерами,—вези рыбу и соль, куда хошь,—безданно и безошлинно, торгуй на всѣ четыре стороны... Пожалую васъ древнимъ крестомъ и бородой! Яицкій городъ сдѣлаю Питеромъ, Астрахань—Москвой! Казакамъ быть надо всѣми!

— Очень благодарны! Такъ ѣдешь, что ль, съ нами?

— Оставивъ царство,—говорилъ Емельянь:—я принялъ странствіе, скрывался и претерпѣлъ — за кого? за народъ! Дай Богъ до Питера, скорѣ сына сваво Павла повидать здорова. Мало будетъ войска, скроюсь опять; много приста-нетъ, прямо пойду къ Москвѣ и далѣе...

Казаки, покачиваясь и продолжая жевать, молча слушали его. За трапезой прошло болѣе часа.

— А теперъ, перво-наперво, — объявилъ Емельянь:—гдѣ же это видано? Обносился я вонъ какъ, одѣжишка у меня совсѣмъ негодящая.

— Это можно, для-че нельзя? — перебилъ болѣе другихъ охмелѣвшій Мясниковъ: — насъ уважь и мы свое дѣло докажемъ, такъ-то...

— Приласите платье подхожее, шалевый, али парчевой бешметъ, — говорилъ Емельянь: — бархатную также шапку, краснаго, либо желтаго сафьяну на сапоги, чтобъ все было, какъ слѣдъ.

— А ты ѣзжай съ нами и дай указъ,—вставилъ на это Мясниковъ.

— Опять же нужны будутъ знамена,—продолжалъ Пугачовъ, какъ бы не разслышавъ сказаннаго ему: — закупите гдѣли разныхъ цвѣтовъ, шеаку, позументу и шнура. Да какъ бы пушекъ добыть? антирелія нужна...

— А ты дай намъ на все то бумагу! — повторилъ Мясниковъ.

— Какой же вамъ, дѣтушки, указъ или бумагу, когда нѣту еще писаря? Вѣдь, я своей руки не должнъ казать, до времени, вплоть до самой Москвы, пока не верну царства и вѣнца. На то великая причина. Ворвалась въ душу смѣлость, дольше терпѣть не могу; изныло сердце, да вижу, надо быть еще, ой какъ, на-сторожѣ.

Казаки молча глядѣли на самозванца.

— Ну, ладно, — сказали, вставъ и крестясь, Чѣка: — все, ваше величество, будетъ тебѣ... Только уже не рано, лошади готовы; коли ѣдешь съ нами, не откладывай. Не налетѣли бы отъ коменданта гонцы.

Пугачовъ нехотя тоже поднялся. Ему хотѣлось еще поговорить, допытаться яснѣе о числѣ и силахъ единомышленниковъ и поставить напередъ свои условія. Солнце клонилось къ землѣ. Надо было торопиться. Выборные отослали впередъ малолѣтковъ и стали сѣдлатъ лошадей. Емельянь зашелъ въ чуланъ, уложилъ въ мѣшокъ кое-какіе свои пожитки, налилъ водой исправленный имъ походный боченокъ и прицѣпилъ его къ сѣдлу подведеннаго ему коня. Всѣ сѣли верхомъ и выѣхали за ворота.

Сердце Емельяна сжалось, когда онъ, съ спутниками, поднялся на косогоръ и оттуда издали, у рѣчки Таловой, въ отблескѣ догоравшаго заката, увидѣлъ поклунутые имъ, очевидно, уже навсегда, бѣлую мазанку, камышевый заборъ и сарай дѣдки Оболяева. — «Что-то теперь съ Ерѣмкинѣмъ-курицей? — мыслилъ онъ, — чай, заперли бѣднаго въ темную, пытаются; промедлилъ бы я, то же было бы и со мной».

Путники ѣхали молча.

Тѣни отъ лошадей и всадниковъ становились длиннѣе. Близилась сумерки, а за ними скоро должна была настать и ночь. Казаки подѣхали къ отвершку лѣснаго оврага и рѣшили здѣсь подождать ночи и восхода мѣсяца. Они стреножили и пустили лошадей на траву, а сами сѣли на склонѣ оврага, подъ деревомъ, и разговорились.

— Куда же это везете вы меня? — спросилъ Пугачовъ спутниковъ.

— На хуторѣ, на Усѣху, либо на Узенѣ, — отвѣчалъ Шигаевъ: — тамъ скроемъ тебя у старцевъ, либо въ иномъ тайномъ мѣстѣ; подождемъ! все уладимъ и явимся всему

народу, въ городокъ, какъ соберется казачество на багренше, либо и скорѣй!

— Поддержите, ребятаушки! — сказалъ Пугачовъ: — дѣдь мой, Петръ первый, восемь годовъ странствовалъ, въ чужихъ земляхъ, а я двѣнадцать... Много, ой, какъ много претерпѣлъ я бѣдности и всяческаго труда... За меня заколотъ и схороненъ другой, вѣрный мнѣ, коли слышали, казакъ Пугачовъ... ой, жаль, дѣтушки, его!

— Что, батюшка, старое вспоминать! — перебилъ его молча глядѣвшій въ землю Чѣйка: — на хуторѣ не успѣли мы, а теперь еще видно... предьяви-ка ты намъ лучше свои царскіе знаки.

Пугачовъ вздрогнулъ. — «Что это? — подумалъ онъ: — не успѣли выхвать, а ужъ хотятъ мною помыкать?»

— Да, кормилецъ, покажи! — прибавилъ сидѣвшій рядомъ съ нимъ Мясниковъ: — николи мы того, слѣпцы, не видѣли...

Онъ отрезвился нѣсколько въ дорогѣ и съ умиленіемъ готовился убѣдиться въ подлинности найденнаго ими гонимца.

— Рабъ ты мой! — отвѣтилъ съ сердцемъ Пугачовъ: — мой подданный, а восхотѣлъ мнѣ повелѣвать! Что же, коли сумнѣваетесь, изволь, глядите.

Онъ выхватилъ изъ-за пояса ножъ и хотѣлъ имъ распороть воротъ рубахи.

— Зачѣмъ портить рубаху! — возразилъ Чѣйка: — и такъ ты въ какой еще скудости; спусти ее, мы и этакъ-то про-его поглядимъ.

«Спина!.. битую спину увидятъ!» — подумалъ, колеблясь, Емельянтъ.

— Не гоже простымъ людямъ, — сказалъ онъ: — видѣть всю мою наготу... Вотъ вамъ одна грудь, смотри... вотъ они природенные царскіе знаки...

Онъ взрѣзалъ воротъ рубахи. Несмотря на сумерки, казаки ясно разглядѣли на его груди два бѣловатыхъ пятна.

Эти знаки снова отуманили Мясникова. Мысленно повторяя: «святъ-пересвятъ! избави, Господи, и помилуй!» и молча пощипывая свою бороду, онъ подобострастно смотрѣлъ на сидѣвшаго передъ нимъ Пугачова и удивлялся, какъ онъ такъ смѣло требовалъ отъ него указа на доставку платы и знаменъ.

— Всѣ ли цари такъ рождаются? — осмѣлился онъ спросить.

— Не ваше дѣло то знать!— грубо отвѣтили Пугачовъ:— а кто не повѣритъ, песь ему въ ротъ, о тѣхъ разсудитесь опося.

— Да ты что же, милостивый, гнѣваешься?— проговорил Шигаевъ, также не зная, куда дѣться отъ страха.

Чика тоже старался показаться смущеннымъ. Емельянъ съ удовольствіемъ замѣтилъ произведенное имъ впечатлѣніе. Чика, впрочемъ, лукавилъ; онъ прежде, уже не разъ, видѣлъ мнимаго царя, и близко зналъ, что онъ не царь, а донской казакъ.

— А впрочемъ, чада мои, коли желаете видѣть, какъ еще узнають царей,—смотрите!—сказалъ онъ, откидывая со лба волосы.

Казакъ увидѣли на вискѣ шрамъ.

— Вѣримъ, кормилецъ, вѣримъ! — заговорили они: — не оставь только насъ и обряды, какъ слѣдъ, а ужъ мы тебя не кинемъ до конца живота.

Собесѣдники еще нѣсколько поговорили и прилегли. Степь и оврагъ окончательно стемнѣли. До восхода мѣсяца было еще далеко. Все стихло. Слышалось только постукиваніе копытъ, да фырганье спутанныхъ коней, пасшихся по склону оврага. Свѣжая августовская ночь давала себя чувствовать. Путники укрылись, съ головой, попонами. Чика лежалъ рядомъ съ Пугачовымъ; остальные двое поодаль отъ нихъ. Прошло часа два. Высунувъ голову изъ-подъ попоны, Чика прислушался. Мясниковъ и Шигаевъ храпѣли, Пугачовъ лежалъ молча.—«Навѣрное не спитъ,— подумалъ о немъ Чика:— да и какъ ему теперь спать,—то ли въ головѣ?»

— Ваше величество, ты не спишь?—спросилъ онъ, вполголоса, тронувъ Пугачова.

Емельянъ приподнялся, зѣвнувъ и протирая глаза. Чика возлѣ него сѣлъ на корточки.

— А что, батюшка, о чемъ я тебя спрошу,—произнесъ онъ, также вполголоса: — не прогнѣвайся и не поставь въ укоръ.

— Говори, не бойся, что тамъ?

— Не въ опаскѣ дѣло, а вотъ,—началъ Чика и помолчалъ.

«Что онъ затѣваетъ?»—подумалъ Емельянъ.

— Насъ только двоечко теперь,—продолжалъ Чика,—и никто, какъ есть, насъ не слышитъ... Скажи, только по истинной правдѣ, кто ты, въ самомъ дѣлѣ, такой?

— Извѣстно кто... вашъ государь.

— Прости, кормилецъ! мы вѣдь, людишки темные, не знаемъ, какъ слово молвить, какъ сѣсть и встать. Видѣли тебя иные и опознали въ городѣ и въ скиту, да и баюють совсѣмъ уже несуразное.

— Что же говорятъ?

— Быдто ты не царь, — проговорилъ Чика: — а донской казакъ, ну, просто сказать, какъ всѣ мы, мужикъ, — Емельянъ Пугачовъ.

— Врешь, дуракъ! — вскрикнулъ, не помня себя, Емельянъ.

— Тише, батюшка, что ты! еще побудишь товарищей, — спокойно произнесъ Чика: — а лучше скажи ты мнѣ, поистинѣ... Отъ людей схоронишься, отъ Бога не уташишь.

Сильное волненіе охватило Пугачова. Онъ остолбѣнѣлъ и рѣшительно не зналъ, что отвѣтить. «Такъ и есть, — думалъ онъ, — этотъ скуластый все спозналъ и обсудилъ... Высмотрѣлъ, выслѣдилъ, стоглазый, и теперь я у него въ рукахъ. Не захочетъ — погубить, захочетъ — вознесетъ»... Емельянъ робко осмотрѣлся кругомъ. Золоторогій мѣсяць началъ вырѣзываться изъ-за вершинъ деревьевъ. Стенъ далеко освѣтилась голубоватымъ, мягкимъ блескомъ.

— Никому не скажешь? — прошепталъ, нагнувшись къ Чикѣ, Емельянъ.

— Вотъ-те крестъ.

— Побожись Иванъ!

— Убей Богъ! — отвѣтилъ, мучимый любопытствомъ, Чика.

— На образъ поклянись... чтобы ни на семь свѣтъ, ни на томъ коли что, счастья, молъ, не было бы тебѣ.

Чика вынулъ изъ-за пазухи тѣльный крестъ и, повторяя слова Емельяна, поклялся на немъ.

— Ну, ладно, — проговорилъ Емельянъ: — помни... я точно не царь, а донской казакъ Пугачовъ... принялъ на себя государево имя, чтобы помочь вамъ же, казакамъ, и всей черни...

— А намъ, кормилецъ, того вѣдь и надо! — сказалъ Чика: — день мой, вѣкъ мой! хоть на часъ, да наша власть! намъ кака нужда, царь ты, али названецъ-мужикъ? Изъ грязи слѣшимъ князя, и ужъ за тебя, Емельянъ Ивановичъ, тоже помни, вотъ какъ постоимъ! Одежа, знамена ли нужны, — все тебѣ снарядимъ; писаря — указы, да манифесты писать — и того, не печалься, найдемъ. Такъ согласенъ намъ вѣрой и правдой служить?

— Согласенъ!

Чижа медленно всталъ и подошелъ къ спавшимъ Мясникову и Шигаеву.

— Максимъ, Тимоха!—громко сказалъ онъ, расталкивая товарищей:—вставайте други! его величество, нашъ свѣтлый государь, изволить ѣхать въ путь.

Казаки растреножили, взнуздали отдохнувшихъ лошадей и сѣли на нихъ. По передразвѣтному, острому холодку, всадники быстро понеслись по пути къ Малому-Чапану и далѣе къ Усѣхъ, гдѣ и рѣшили до времени скрываться въ дикихъ, пустынныхъ мѣстахъ.

О томъ, что случилось на Таловомъ-умѣтѣ и въ сосѣдникъ съ нимъ степныхъ тайникахъ, не доходило еще въ то время вѣстей не только до Петербурга или до Москвы, но даже до ближайшихъ мѣстностей по Волгѣ. Жизнь вездѣ шла своимъ чередомъ. Начинаясь пожаръ тлѣлъ еще, въ видѣ крохотной искры, подъ пепломъ.

XXVI.

Глѣбъ подошелъ къ своему дому и позвонилъ.

— Барыня прѣехала?—спросилъ онъ слугу, забывъ, что оставилъ ее въ Кунцовѣ.

— Никакъ нѣтъ-съ, — отвѣтилъ Сергѣй, — должны скоро быть.

Подъ предлогомъ нездоровья, отказавшись отъ чая и ужина, Глѣбъ сказалъ, что заснетъ въ кабинетѣ, отпустилъ слугу, заперся, легъ, не раздѣваясь, на софу и потушилъ свѣчи. Сонъ бѣжалъ отъ него. Мрачныя представленія вертѣлись въ его головѣ. Дремота казалась дѣйствительностью. То ему видѣлось, что Маріа бросила его, бѣжала съ кѣмъ-то за границу, и онъ все усиливался вспомнить и угадать, кто ее увезъ. То онъ видѣлъ себя въ Москвѣ, на какомъ-то общественномъ гуляньѣ, гдѣ встрѣтилъ жену подъ руку съ незнакомымъ человѣкомъ. Неописанной красоты незнакомецъ, въ бархатномъ черномъ плащѣ и въ широкой тирольской шляпѣ, съ краснымъ перомъ, велъ Маріа, а она что-то громко и весело говорила. Глѣбъ, подойдя къ женѣ, поклонился; но она, прищуривъ удивленные глаза и, съ улыбкой, указывая на него своему спутнику, спросила: «Что это за господинъ? я его не знаю!» Слезы душили Глѣба.

Было уже девять часовъ утра, когда онъ проснулся. Не

вставая и сквозь грезы прислушиваясь къ домашнему движенію, онъ старался угадать, дома ли и проснулась ли жена. Наконецъ, онъ всталъ, оправилъ на себѣ платье, порылся въ портфель, взялъ что-то оттуда и вышелъ изъ кабинета. Слуга въ залѣ обмстала пыль.

— Барыня встала?—спросилъ онъ.

— Одѣлись.

— Гдѣ она?

— Въ уборной.

— Кушаютъ чай?

— Пишутъ.

Глѣбъ вошелъ въ уборную, гдѣ Мари, къ неописанной тревогѣ, сидѣла у рабочаго столика, перебирая пачку писемъ, полученныхъ въ послѣднее время отъ мужа. Она еще съ вечера узнала отъ садовника о пріѣздѣ Глѣба на мызу и о внезапномъ, необъяснимомъ его возвращеніи оттуда, безъ свиданія съ нею. Пораженная этою вѣстью, она тогда же опроретью понеслась съ мызы обратно въ городъ, но уже не догнала мужа и пріѣхала домой, когда онъ, отпустивъ слугу, заперся въ кабинетѣ и, повидимому, уже спалъ. «Что же это такое?—говорила она себѣ,—неужели опять ревность? какъ это глупо! или случилось что непріятное по службѣ?.. Онъ не хотѣлъ огорчить меня, при постороннихъ, и потому, узнавъ, что я не одна, такъ внезапно уѣхалъ. Или, наконецъ, что-нибудь другое? — пришло ей въ голову:—не писалъ ли онъ мнѣ какія-нибудь распоряженія, на которыя я, въ суетѣ, не обратила вниманія?» И она старательно просматривала его письма.

Заслышавъ, наконецъ, на порогѣ шаги мужа, Мари вскочила и, со слезами радости и тревоги, бросилась къ нему навстрѣчу.

— Здоровъ ли ты?—вскрикнула она, обнимая его:—что случилось? Какъ ты вчера меня смутилъ и напугалъ!..

Глѣбъ тихо отвелъ ея руки.

— Что произошло? — повторяла Мари: — да говори же... отчего ты вчера былъ на мызѣ, узналъ, что я въ домѣ, и не зашелъ туда?

Глѣбъ взглянулъ пристально въ глаза женѣ, вынулъ изъ кармана какую-то смятую бумажку и молча положилъ ее передъ нею на столъ.

— Что это?—спросила Мари, глядя на мужа и не понимая, что онъ дѣлаетъ

— Прочти, — сказалъ сухо Дугановъ, отвернувшись къ окну.

Марі прочла безымянный доносъ, полученный Глѣбомъ передъ отъѣздомъ въ Петербургъ. Низкія и грубыя выраженія этого пасквиля съ первыхъ словъ глубоко возмутили ее. Но когда она прочла выраженіе: «ты давно обмануть, рогать, — ищи и легко узнаешь своего соперника» — кровь бросилась ей въ голову и она ухватилась за сердце.

— Боже! да что же это, Глѣбушка, родной? — вскрикнула она: — за что такая обида? неужели допустишь?

— Тебѣ лучше все знать, — холодно отвѣтилъ Глѣбъ.

— Какъ? что? — спросила Марі: — что ты сказалъ?

— Обманутый мужъ, всѣмъ уже извѣстно, послѣдній обыкновенно узнаетъ объ измѣнѣ жены, — съ дрожью проговорилъ Глѣбъ, думая между тѣмъ: — «И какъ я могъ, въ то время, когда братъ стоялъ за кровавую расправу, такъ великодушничать насчетъ всепрощенія?»

— Безсовѣстный! — крикнула Марі: — и тебѣ не жаль? да какъ ты смѣешь такъ подозрѣвать и оскорблять меня? какой я подала поводъ?

Слезы хлынули у нея изъ глазъ. Она, видя себя, рыдая, опустилась на стулъ. Все передъ нею кружилось. Обида была слишкомъ тяжела. Глѣбъ нѣсколько мгновеній молча постоялъ возлѣ нея. Жалость прокрадывалась въ его сердце.

— Послушай, — сказалъ онъ, тихо обнявъ жену: — я готовъ не вѣрить гнусному извѣту. Но если ты... скажу откровенно... пойми меня, если тебѣ болѣе близокъ другой... не терзай меня, Маша, скажи правду, суцую правду. Она будетъ мнѣ менѣе мучительна, чѣмъ эти невыносимыя сомнѣнія, это постыдное, унижительное незнаніе.

— Да ты съ ума сошелъ? — возразила Марі, — сознаешь ли ты, что говоришь?

Мысли возвратились къ ней. Она осыпала Глѣба укоризнами. Всего сказаннаго ему, своего негодованія и горькихъ упрековъ, она не помнила впоследствии. Ей представлялось одно, что ея слова, ея негодованіе и слезы какъ бы усовѣстили Глѣба, смутили его. Это ей, впрочемъ, показалось на мгновеніе, но и того ей было достаточно. Она отраднo вздохнула и, отеревъ слезы, молча протянула мужу руку. Ей не хотѣлось вѣрить тому, что вдругъ такъ неожиданно приближало въ ея глазахъ и отталкивало отъ нея любимое существо.

Общіе знакомые, считая Глѣба Дуганова за умнаго, честнаго и дѣльнаго человѣка, находили его, однако, не то чтобы холоднымъ и черствымъ, а нѣсколько сухимъ, не въ мѣру себялюбивымъ, утверждали, что его эгоизмъ иногда въ немъ пересиливаетъ обычную ему мягкость права и доброту. Мари съ этимъ не соглашалась. «Можетъ-быть, тонкая чувствительность къ собственному достоинству,—разсуждала она о мужѣ:—къ возрожденной ему честности и чести, у него иногда и выходила изъ мѣры и казалась, пожалуй, излишнею; но холодности и сухости въ немъ нѣтъ и я не вижу». Теперь она, съ горечью, втайнѣ сознавала, что толки другихъ были какъ бы правы. Но чтобы эгоистическое раздраженіе и сухость могли въ мужѣ дойти до такихъ болѣзненныхъ размѣровъ, до подозрѣнія ея, такой любящей жены, въ невѣрности, въ измѣнѣ, этого она никогда не могла себѣ представить, даже во снѣ. Лучъ раскаянія, блеснувшій въ глазахъ Глѣба, снова расположилъ Мари къ нему.

— Слушай, недобрый,—сказала она ему:—ты, какъ вижу, наконецъ, ревнивецъ по природѣ. Зачѣмъ же было тогда жениться? зачѣмъ было оставлять такъ долго безъ себя ту, которой ты не довѣряешь и которую теперь такъ коришь?

Она обняла мужа, нѣжно прижалась къ нему.

— Вселить недовѣріе къ неповинному, близкому существу,—продолжала она, глядя ему въ глаза:—могутъ только злые люди, изъ ненависти и холоднаго расчета, или несчастныя роковыя обстоятельства. Но у разумнаго, уважающаго себя человѣка—есть средства провѣрить подозрѣнія.

Мари поцѣловала мужа.

— Ты разумный,—сказала она:—и у тебя много всякихъ средствъ... какъ ни обидно для меня, прошу тебя, справляйся вездѣ.—провѣрай.

Глѣбъ, ухватясь за голову, опустился въ кресло.

— О, что бы я далъ,—проговорилъ онъ:—если бы могъ найти гнуснаго клеветника, написавшаго этотъ безымянный извѣтъ! Мало дуэли... я нашелъ бы его и, при первой встрѣчѣ, безъ сожалѣнія убилъ бы на мѣстѣ, какъ собаку.

Слезы текли по его щекамъ.

— Успокойся,—сказала Мари, взявъ его за руку и цѣлуя ее:—не стоитъ того... общее презрѣніе—вогъ что будетъ возмездіемъ обидчику.

— Да, тебѣ это легко говорить,—отвѣтилъ Глѣбъ:—мнѣ

же иначе не смыть обиды; ты не знаешь нашего общества... огласка, очевидно, уже пущена, мнѣ не простить.

Въ это время въ уборную вошла няня съ Васей. Она объявила, что пріѣхала Шімкова — принять ли ее? Глѣбъ взялъ ребенка на руки и, нѣжно припикнувъ къ нему, сказалъ женѣ: «Выйди, прими гостью», а самъ, черезъ коридоръ, направился въ кабинетъ. Тамъ, какъ узнала впоследствии Марі, онъ нѣкоторое время, не выпуская ребенка и лаская его, смотрѣлъ въ окно, потомъ притворилъ дверь и сѣлъ у стола.

— Вотъ, Сысоевна, какъ я счастливъ, — произнесъ онъ, качая ребенка на ногѣ: — и какая у меня разумная и добрая жена.

— Спасеть васъ Господь, — отвѣтила няня, кланаясь.

— Да красивая какая!

— Еще бы, краля писанная, полновидная, кровь съ молокомъ... а косица! идетъ, всѣ не наглядятся; а у постороннихъ-то слюнки даже текутъ.

Сказавъ это, старуха заколыхалась отъ смѣха, прикрывъ ротъ рукой. Усмѣхнулся и Глѣбъ.

— А скажи, няня, — обратился онъ къ Сысоевнѣ: — дѣйствительно Маша заботилась безъ меня о ребенкѣ?

— Просто убивалась, особенно, какъ занемогъ.

— Ну, а гости у насъ часто бывали безъ меня?

— Какіе тамъ гости, при больномъ дитяти! его лѣчили, а тутъ мы и переѣхали сюда.

— Переписывалась барыня съ кѣмъ-нибудь, кромѣ меня?

— Съ кѣмъ же? къ этой самой барынкѣ посылали записки, къ дохтуру, къ Семену Захарычу.

— Кто доставлялъ письма, когда жили на мызѣ?

— Яковъ садовникъ, а больше Сергѣй, когда ѣздили за провизіей.

— Ну, а по секрету, скажи, такъ откровенно, — тебя, вѣдь, приставила старая барыня, — ухаживалъ Семенъ Захарычъ за Машей?

— И не говори, — отвѣтила, оглядываясь, няня: — все ей ручки, блюдолизъ, цѣловалъ.

— А она?

— Извѣстно, ни-ни, не позволяла, даже вотъ какъ серчала. Глѣбъ отрадно вздохнулъ.

XXVII.

Онъ отдалъ дитя Сысоевиѣ. Когда она вышла, онъ нѣкоторое время еще побылъ въ кабинетѣ. Рой странныхъ, тяжелыхъ мыслей кружился въ его головѣ. Онъ не могъ дать себѣ отчета, на что рѣшиться и что предпринять. Слуга напомнилъ ему, что онъ не умывался. Глѣбъ распаковалъ остальные вещи, умылся, тщательно выбрился и надѣлъ все чистое. Подали завтракъ. Маріи пригласила Шѣмкову въ столовую и, заваривъ на спиртовой лампочкѣ кофе, послала слугу звать мужа. Глѣбъ прибралъ разбросанныя бумаги въ столъ, заперъ его и взялъ головной гребень.

— Скажи, Сергѣй,—спросилъ онъ слугу, оправляясь передъ зеркаломъ:—часто къ вамъ ѣздили доктора?

— Какъ же, сударь, не часто? барченокъ такъ хворали!— отвѣтилъ Сергѣй.

— Кто болѣе ѣздилъ?

— Семенъ Захаровичъ,— они, сказать, только и помогли ему. Ужъ и мы, рабы, за нихъ молимся, спаси ихъ Господь. Вотъ и въ Писаніи, сударь, сказано-сь, барыня книжку такую давали... чти не токмо, выходитъ, отца, но и благодѣющаго тѣ.

— Ну, а самъ докторъ являлся или посылали за нимъ?

— Какъ случалось; иной разъ и меня отряжали.

— Ты куда за нимъ ѣздилъ? онъ живетъ на прежней квартирѣ?

— У Покрова въ Левшинѣ-сь, домъ Сусѣкиной, на верху, гдѣ и жили.

— Всегда онъ охотно ѣздилъ, или иногда и отказывался письменно? вѣдь у докторовъ капризы...

— Не ѣздили, когда сами хворали; а разъ было некогда, у нихъ шла, должно, слѣвка... и было то въ постный день...

— Какая слѣвка?—спросилъ Глѣбъ.

Сергѣй усмѣхнулся. Онъ когда-то самъ готовился въ пѣвче и кое-что въ этомъ понималъ.

— Тальянцы, что ли, на арфахъ, или нѣмцы какіе-то играли,—отвѣтилъ онъ:— татакакали, по-своему... да вовсе плохо-сь.

— У доктора—итальянцы?

— Такъ точно-сь.

— И онъ тутъ былъ?

— А какъ же-сь,—слуга ихъ сказывалъ,— по ихъ при-

глашенію, былъ и эфотъ, значить, сборъ. О, Господи, люди, сказать, постытся, а у нихъ, почитай, содомъ.

«Вотъ не ожидалъ!—подумалъ Глѣбъ,—искусствомъ тоже, мусикийствомъ, гороховый шугъ, занимается! Какая, подумаешь, вѣжливость у доктора! И эту черту также осторожно отъ всѣхъ таилъ... даже не подозрѣвали... Съ виду такъ просто, а оказывается... и вдругъ попался. Не люблю я этого Сергѣя,—ученикъ Маріи, начѣтчикъ и ханжа, а за это открытіе награжу»...

Мысленно усмѣхаясь надъ докторомъ, Глѣбъ прошелъ въ столовую, подсѣлъ къ Шимковой и былъ такъ внимателенъ къ гостѣ, такъ угощалъ ее кушаньями и виномъ и, самъ съ удовольствіемъ закусивъ, такъ искренно и спокойно подъ копецъ шутилъ съ женой и Шимковой, что Маріи не замѣтила въ немъ и слѣда давешняго его настроенія.

Шимкова собралась уѣзжать.

— Куда же вы, Надежда Павловна? — спросилъ, точно ощувшись, Дугановъ:—еще посидѣли бы съ нами.

— Надо купить гродетура и цѣлую штуку фландрскаго холста, — отвѣтила Шимкова: — получила заказъ на новую работу... приданое богатой невѣстѣ.

— Холста?—спросилъ Глѣбъ:—какого? есть у васъ образецъ? позвольте, и цвѣтъ гродетура... Я къ князю, мнѣ по дорогѣ, и я счелъ бы за особую пріятность...

— Помилуйте, что вы! — отвѣтила Надежда Павловна, смутясь отъ такой нежданной любезности:—мнѣ, право, совѣстно... я сама поѣду.

— Нѣтъ, нѣтъ, я этотъ холстъ куплю выгоднѣе, у меня знакомые, хорошіе купцы, — настаивалъ Глѣбъ:—побудьте съ Машей, а мнѣ, увѣряю васъ, по дорогѣ... гдѣ образцы?

Надя, покрасивъ въ до корней волосъ, стала неловко рыться въ дорожномъ ридикюлѣ, достала оттуда и медлила подать ему образцы. Онъ, съ улыбкой, тихо высвободилъ ихъ изъ рукъ Шимковой, завернулъ въ карманъ и направился въ прихожую.

— Лошади еще не готовы, — сказала Сысоевна, встрѣтивъ его въ залѣ.

— Я пѣшкомъ, — голова что-то тяжела! — отвѣтилъ Глѣбъ, надѣвая шляпу и шинель.

«Холстъ, — думалъ онъ, выйдя на крыльцо, — зачѣмъ, бишь,

онъ пужень? Да! этой блѣдной и милой Надѣ, пріятельницѣ жены. А какая она, бѣдняжка, худая... Я зато какъ счастливъ!.. Конечно, объяснено! Мари, разумеется, ни въ чемъ не виновата. Неосторожность праздныхъ шатуновъ и городскія шлетни, вотъ и все! Да иначе и быть не могло... Жена Цезаря должна быть безъ единого упрека, безъ тѣни подозрѣнія... а Мари моя жена; честность и честь выше всего».

У крыльца Дугановъ увидѣлъ свою водовозку и Якова-садовника, сидѣвшаго на козлахъ расхожихъ дрожекъ.

«Это онъ Шимкову привезъ», — подумалъ Глѣбъ, сперва удивясь, зачѣмъ Яковъ явился съ мызы.

— А рыжій-то опять, кажется, захромалъ?—сказалъ онъ, нагибаясь къ лошади:—ишь, какъ ногу отставляеть.

— Заковали, полагать надо, маленечко,—отвѣтилъ Яковъ, снимая шапку.

— То-то, гоньбы, видно, было не мало... Ты тоже ѣздилъ съ письмами къ доктору?

— Ёздилъ.

— Онъ, попрежнему, живетъ у Покрова въ Левшинѣ?

— Такъ точно-съ.

— Эка даль...

Глѣбъ перешелъ улицу и направился вдоль прудовъ. Коегдѣ уже тронутый утренникомъ, желтѣющей листь сыпался съ деревьевъ. Солнце весело и ярко свѣтило въ прохладномъ и тихомъ воздухѣ.

«Такъ вотъ что, однако,—мыслилъ Глѣбъ, идя тропинкой по берегу пруда:—она съ докторомъ, дѣйствительно, сносила письменно. Интимная переписка молодой замужней женщины съ холостымъ врачомъ, — какъ это мило! поздравляю, дружище,—проѣздили въ командировку»...

Сердце Глѣба сильно забило тревогу. Глаза застилали туманъ, земля точно колебалась подъ его ногами. Онъ остановился, прислонясь къ дереву. Мимо прудовъ шли вымачканные известкой каменщики и плотники съ топорами. Споря и размахивая руками, сѣвнили какія-то бабы въ кумачныхъ передникахъ. «Аны, дьяволы, ломаютъ, гадятъ,—говорила одна изъ нихъ: — а я, касатка моя, ластовка, — что мнѣ? вѣстимо, какъ на грѣхъ»... Сморщенная, красная и вспотѣвшая старушонка, пыхтя беззубымъ ртомъ и едва переваливаясь, танцала передъ собой увѣсистый узелъ съ бѣльемъ. Она его урсила на тропинку и, безсильно охая,

никакъ не могла снова его поднять. Глѣбъ помочь ей справиться съ ношей.

— Для чего, бабушка, сразу-то? — сказали онъ ей: — снесла бы по частямъ.

— Урвущкѣ, родименькій, свѣтику, ей! — съ слезливымъ канцлемъ и новымъ оханьемъ, отвѣтила старушонка, шамкающая и еще что-то бормоча подъ носъ, чего Глѣбъ уже не разобралъ.

«И у нея свое близкое существо, — подумалъ онъ: — кака-то Урвущика... урываетъ, видно, этотъ свѣтикъ остатки ея силъ. А моя-то?..»

Глѣбъ миновать пруды, оглянулся и нѣсколько мгновений не могъ понять, гдѣ онъ. То была Покровка. Съ сосѣдняго перекрестка кто-то, снявъ шапку, кланялся ему, встряхивая русыми кудрями. Чье-то веселое, съ рыжею бородкой, лицо улыбалось ему, скали бѣлые, красивые зубы. Онъ узналъ вчерашняго извозчика Фролку.

— Подвезти, что ли, ваше сіятельство?

— Подавай, — разсѣянно отвѣтилъ Глѣбъ.

— Куда прикажете?

— Прямо! — сказалъ, сбѣвъ на дрожки, Глѣбъ.

Фролъ оправился, вѣжливо перегнулся, вытянулъ руки и подобралъ вожжи. Отдохнувшій съ вечера, сѣрый рысакъ, забирая хода, понесся къ Кремлю, оттуда по Никитской и Арбату.

«Да, нехорошее, скверное дѣло, — думалъ Глѣбъ, разглядывая вывѣски харчевень, трактировъ и лавокъ: — холстъ!.. нужно кушать хорошаго, это непременно, я общаюсь... А посудить, дѣйствительно, Маша женщина молодая, красивая, притомъ неопытная... Этимъ подлиналамъ, глотающимъ слюнки, — сущая находка... Мало ли чѣмъ не изловчатся? могутъ увлечь, того и гляди, — ну, и все пропало... Фу, какая, однако, гадость — эта ревность, и неужели я, какъ сказала Маша, дѣйствительно, ревнивецъ? Глулости, бредъ разстроеннаго случайностями воображенія!»

Сѣрый мчался. Мелькали улицы, площади, переулки.

— Стой, однако, свороти! — вдругъ сказалъ Дугановъ, опомнясь, извозчику: — я и забылъ, надо въ городъ... кое-что купить...

Фролъ повернулъ снова къ Кремлю и сталъ близиться къ рѣдамъ. Подъ кремлевской стѣной, у моста черезъ рѣку

Неглинную, послышались крики. На перекресткѣ, возлѣ кабака Аганки, Завернійка-тожь, шумѣла хмельная толпа рабочихъ.

«Праздникъ сегодня! — вспомнилъ Глѣбъ: — такъ и есть; лавки, пожалуй, закрыты».

— Какъ думаешь, — обратился онъ къ извозчику: — не вездѣ торгуютъ сегодня?

— Должно, сударь... нонче воскресенье.

— Ну, такъ ступай на Кузнецкій; у заморскихъ доставь скорѣе... у нихъ всегда торгъ.

Дрожки понесли мимо Курятнаго ряда, на Кузнецкій-мость. Замелькали вывѣски нарядныхъ модныхъ магазиновъ, кондитерскихъ, брадобрѣевъ и винныхъ погребовъ! У знакомаго магазина Глѣбъ остановился, вошелъ, купилъ по образцу, не торгуясь, штуку лучшаго фландрскаго холста и потребовалъ гродетура. Услужливый купецъ, торговавшій холстомъ и кружевами, объявилъ, что у него шелковыхъ товаровъ нѣтъ и что желаемую матерію можно купить въ сосѣднемъ магазинѣ, у Дюкрѣ. Глѣбъ зашелъ къ Дюкрѣ, купилъ гродетура и, выйдя снова на улицу, увидѣлъ у дверей слѣдующей лавки, на складномъ стулѣ, толстаго, красноносаго, въ восточномъ архалукѣ и въ фескѣ, торговца-армянина.

— Есть канаусъ? — спросилъ онъ, вспомнивъ, что еще въ Петербургѣ собирался и не успѣлъ купить краснаго канауса на рубашку сыну.

— Первый сортъ, — отвѣтилъ, входя въ лавку, армянинъ.

Канаусъ былъ также купленъ. Въ лавкѣ, загроможденной разнообразнымъ пестрымъ хламомъ, высвистывалъ въ клѣткѣ черный, съ длиннымъ желтымъ носомъ, дроздъ и пахло чѣмъ-то пріятнымъ и пріямымъ. Глѣбъ остановился, соображая, чѣмъ это пахнетъ, и разглядывая товары. За стеклами, въ ящикахъ и шкапахъ, видѣлись куски яркихъ штофовъ и парчей, расшитые золотомъ кисеты и туфли, янтарные мундштуки для трубокъ, кальяны, фески и въ чеканномъ серебрѣ кинжалы, а по стѣнамъ, на коврахъ, были развѣшены ружья, бердыши и ятаганы.

XXVIII.

— Какъ у васъ хорошо пахнетъ! — сказалъ Глѣбъ.

— Масло, розовый мускатъ — желаешь?

— И оружіе у васъ, какъ вижу? — сказалъ Глѣбъ разсѣянно.

— Первый сортъ, лучшаго не найдешь.

— Кажется, и пистолеты? — произнесъ Глѣбъ, взявъ по-купку и собираясь идти.

Армянинъ подставилъ лѣсенку и быстро поднялся по ней къ стѣнѣ.

— Нѣтъ, не надо, — отвѣтилъ, не оглядываясь, Глѣбъ, уже съ порога.

— Есть, скажу тебѣ, штучка, только не парная, — сказа-лъ съ лѣсенки армянинъ: — за эту, гляди, вотъ какъ де-шево возьму.

Онъ снялъ со стѣны небольшой, двухствольный, въ про-стой отдѣлкѣ, пистолетъ и подаль его, отирая съ него слой пыли. Глѣбъ возвратился, поднесъ покупку къ окну. На стволахъ пистолета красовался штемпель знаменитаго Кухенрѣйтера.

— Цѣна? — спросилъ Глѣбъ.

— Два червонца... убей Богъ, и то дешево, одинъ князь два давалъ.

— Миѣ, впрочемъ, не нужно... А зарядить, попробовать въ цѣль можно.

— Только не тутъ, душа-баринъ, не тутъ... Я слабъ же-лудкомъ, стука боюсь.

— Разумѣется, у себя можно испробовать или за городомъ.

Армянинъ прочистилъ дула пистолета, зарядилъ ихъ пу-лями, оправилъ кремни и насыпалъ на полки пороху.

— На двадцать-пять шаговъ вотъ какую доску про-бьеть! — показалъ онъ на большой, съ насурмленнымъ ногтемъ, палецъ своей руки и хотѣлъ завернуть пистолетъ въ бумагу.

Глѣбъ что-то вспомнилъ; ему казалось, что онъ долженъ былъ еще что-то сдѣлать, что-то немедленно рѣшить.

— Не трудитесь заворачивать, я и такъ возьму, — вдругъ сказалъ онъ, вынимая и подавая продавцу деньги: — некогда, спѣшу.

Онъ быстро сунулъ пистолетъ въ карманъ брюкъ и вышелъ.

— Искушили сударушкѣ-хозяйкѣ обновокъ? — съ добро-душною улыбкой спросилъ Фролъ, придерживая коня.

— Да, теперь уже, Фролушка, прямо домой, — отвѣтилъ Глѣбъ, садясь и укладывая въ ноги свертки покупокъ.

«Обновки сударушкѣ! — думалъ онъ, уносясь съ Кузнец-каго по Мясницкой, — о, если бы этотъ добрякъ зналъ про

мою хозяйку? Нѣтъ, простыя женщины, ихъ нежеманныя, скромныя жены, въ кумачныхъ передникахъ, лучше. Не мучать такъ хитро и тонко, не терзаютъ исподтишка! Блаженъ братъ Алеша, счастливы невзыскательные и мягкіе сердцемъ слѣпцы... Но неужели же ежедневно и ежечасно такъ мучиться, ревновать? Неужели змѣя ревности такъ ненасытна и безумно-зла?»

Глѣбъ вынулъ часы, посмотрѣлъ на нихъ; до обѣда еще было далеко. Вдругъ онъ вспомнилъ, что отправляясь изъ дому, предполагалъ заѣхать къ главнокомандующему. Онъ еще не представлялся ему съ дороги. Надо было безотлагательно сообщить князю о результатѣ порученія, о петербургскихъ высшихъ и иныхъ новостяхъ; но онъ выѣхалъ изъ дому запросто, не въ полной формѣ. — «Завертѣла эта глупая исторія,—подумалъ онъ,—не бѣда, впрочемъ, успѣю завтра». — Миновавъ Мясницкую, Фролъ своротилъ вправо.

— Нѣтъ, бери налѣво,—подумавъ, сказалъ ему Глѣбъ:— я вспомнилъ одно нужное дѣло... Знаешь Денежный переулокъ, у Покрова?

— Какъ, сударь, не знать! Сколько разъ дохтура туда возилъ отъ вашей милости.

— Когда?

— Проншлою зимой.

«Всѣмъ извозчикамъ пролазь извѣстенъ! — сердито подумалъ Глѣбъ,—пожалуй, и все прочее о немъ знаютъ»...

Мучимый взрывомъ новыхъ, дикихъ предположеній и догадокъ, Глѣбъ подѣхалъ къ церкви Покрова и остановился у дома купчихи Сусѣкиной, гдѣ жилъ Спесивцевъ. Зачѣмъ онъ неожиданно рѣшилъ направиться сюда и навѣстить доктора, Глѣбъ, впоследствии, обдумывая этотъ заѣздъ, не могъ дать себѣ отчета. Помня изъ рассказовъ Спесивцева, что послѣдній обиталъ во второмъ этажѣ, Глѣбъ осмотрѣлъ этотъ небольшой деревянный домъ и вошелъ въ ворота. Со двора, надъ балкономъ второго этажа, онъ увидѣлъ парусинный навѣсъ, а подъ нимъ горшки цвѣтущихъ розъ, азалий и геліотроповъ. Глѣбъ опять нахмурился.

«Новое открытіе, медукусъ — поклонникъ жизненныхъ удобствъ и цвѣтовъ! — презрительно подумалъ онъ, взбираясь со двора, отъ палисадника, по лѣстницѣ, — и опять мы ничего этого не знали! Казался такимъ стонкомъ и простакомъ!» — Дойдя до верхней площадки лѣстницы, Глѣбъ

замедлился. Изъ-за полуотворенной, обитой клеенкой двери, на которой была выдвинута дощечка съ надписью «нѣтъ дома», слышались мелодическіе аккорды клавесина, которымъ аккомпанировалъ чей-то пріятный, грудной голосъ. Глѣбу послышались звуки женскаго контральто. — «Mia cara, carissima diva!» — выводилъ кто-то нѣжную итальянскую канцовету, разливаясь въ плавныхъ и тонкихъ, какъ паутина, «dolce» и ласкающихъ, трепетныхъ «trémolo».

«Войти ли? — подумалъ Глѣбъ, — еще нарушу романическое свиданіе. А, впрочемъ, дверь не заперта; тайны, очевидно, нѣтъ. Если нельзя, скажутъ; если же можно, окончательно увижу вкусъ этого селадона!»

Онъ вошелъ въ прихожую. Она была пуста. Не видя прислуги, Глѣбъ сбросилъ на окно шинель, отворилъ слѣдующую дверь, ступилъ и невольно остановился. Среди комнаты, уставленной раскрытыми ящиками, чемоданами и сундуками, спиной къ двери и лицомъ къ окну, безъ кафтана и камзола, у клавесина, сидѣлъ, перебирая клавиши, Спесивцевъ. Больше въ комнатѣ не было никого. — «Такъ вотъ кто пѣлъ! — подумалъ Глѣбъ, — къ пѣжнымъ привычкамъ, вдобавокъ, голосъ и склонности трубадура». — Глѣбу почему-то въ это мгновеніе, до крайности, вдругъ показалась смѣшна и красивая вообще фигура доктора, его полный, нѣжный затылокъ, съ завитками бѣлокуро-рыжеватыхъ волосъ, и его тонкая, батистовая рубаша, съ кружевнымъ воротникомъ, и приподнятыя въ послѣдней страстной ругадѣ, плотныя плечи. Онъ чуть не расхохотался на порогѣ.

— Bravo, bravo! — сказалъ онъ, подходя.

— А, это вы! — вскрикнулъ, смущенный окликомъ, докторъ, вставая и надѣвая скинутое платье: — извините, застали врасплохъ.

— Не безпокойтесь! чтò вы...

— Собрался, какъ видите, въ дорогу, — продолжалъ Спесивцевъ: — да сталъ раздумывать и засидѣлся. Не легко разставаться съ Москвой.

— Куда въ дорогу? — удивился Глѣбъ.

— Да тотъ же все чудакъ-помѣщикъ, масонъ и садоводъ, устроилъ у себя богадѣльню и при ней больницу, и меня все зоветъ къ себѣ. Не его наслѣдство, — дѣло хорошее способно увлечь. А васъ давно ли Богъ принесъ?

— Какъ видите, прїѣхаль, — сказали, спокойно усаживаясь, Глѣбъ:—и дома не ожидали... Впрочемъ, я на время.

— Все ли благополучно въ вашей семьѣ? — спросилъ Спесивцевъ.

Глѣбъ не нашелся сразу отвѣтить. — «Что онъ, издѣвается, что ли, надо мной?—процеслось въ его мысляхъ,—ахъ ты, рыжій пѣвунъ!»—Бѣшенство вдругъ охватило его. Онъ готовъ былъ броситься на Спесивцева, раскронть ему голову шандаломъ, стоявшимъ на столѣ.—«Нѣтъ, еще успѣю, подожду! — съ дрожью сказалъ онъ себѣ, — и какъ я могъ тогда такъ легко отнестись къ мысли о возмездїи за обиду?»

— Вы спрашиваете о моей семьѣ? о, у меня все и вполнѣ благополучно:—отвѣтилъ онъ съ легкимъ поклономъ.

— А наслѣдникъ? вотъ прелесть-мальченка! а, вѣдь, хвораль-съ, да еще какъ?

— И онъ совершенно оправился, — прибавилъ Глѣбъ, опять кланаясь.

— Да-съ, приплось-таки и мнѣ измѣнить принятому обычаю,—прибавилъ Спесивцевъ:—вѣроятно, изволили слышать? рискнулъ-съ, практиковалъ... да и втянулся; кажется, окончательно поѣду къ тому чудаку.

— Какъ же, слышалъ,—честь вамъ и хвала за сына,—отвѣтилъ Глѣбъ: — а главное — отмѣнная благодарность отъ матери...

— А отъ отца? — улыбнулся Спесивцевъ, лукаво глядя, мимо гостя, въ открытую дверь балкона, на цвѣтушія розы, азалии и геліотропы.

Глѣбъ промолчалъ. Спесивцевъ удивленно оглянулся на него.

— Что же вы, слѣдовательно, не довольны? — спросилъ онъ.

— О, помилуйте... сына спасли, еще бы! — отвѣтилъ Глѣбъ, покачивая ногою, перекинутой на ногу: — но скажите, милѣйшій...

Онъ откашлялся и повелъ головой, какъ бы освобождаясь изъ воротника, давившаго ему шею.

— Скажите, Семень Захаровичъ, — повторилъ онъ: — вы переписывались, за это время, съ моею женою?

— Что за вопросъ?

— Нѣтъ, такъ откровенно,—для меня,—отвѣтите: писали вы ей, а она вамъ?

— Разумѣется; было нужно, были и письма.

Глѣбъ опять повелъ головой.

— Нужно, вы говорите? — спросилъ онъ, съ тѣмъ же привѣтливымъ вниманіемъ, спокойно разглядывая доктора.

— Безъ сомнѣнія; встрѣчалась надобность, меня пригласили.

— Не будете ли вы столь добры, не покажете ли мнѣ этихъ писемъ моей жены къ вамъ?

— То-есть, какъ же это?—удивился докторъ.

— А очень просто: вѣдь, у васъ все такъ въ порядкѣ, хотя вы и собираетесь уѣзжать, вещицы и прочее на мѣстѣ, — сказалъ Глѣбъ, осматриваясь по комнатѣ: — откройте хотя бы вонъ тотъ шифоньеръ или это вонъ бюро, и достаньте письма: согласитесь сами, не всякому мужу пріятно знать, что у посторонняго человѣка хранятся письма его жены...

Спесивцевъ вспыхнулъ.

— Послушайте, — сказалъ онъ, нахмурясь: — вы или въ шутку это говорите, или не деликатно глумитесь надо мной. Развѣ можно такъ? Вспомните, если бы Марья Родіоновна сама еще пожелала; но подумайте, какъ я могу? письма женщины...

— Позвольте и вамъ напомнить, — отвѣтилъ, глядя на доктора, Глѣбъ: — Марья Родіоновна мнѣ, согласитесь, нѣсколько ближе, чѣмъ вамъ... Я настоятельно прошу письма.

«О-го,—подумалъ Спесивцевъ,—да онъ, чортъ его возьми, настаиваетъ, требуетъ»...

— Чтò бы вы ни говорили,—произнесъ онъ:—это рѣшительно невозможно... притомъ, вы въ такомъ тонѣ...

— Даю вамъ еще двѣ минуты,—ну, три!—сказалъ Глѣбъ, не спуская глазъ съ доктора.

— Никогда, ни за чтò!—отвѣтилъ Спесивцевъ:—я васъ, наконецъ, не понимаю!.. Хотя бы, повторяю, она сама...

XXIX.

Глѣбъ медленно всталъ со стула. Его лицо мгновенно поблѣднѣло.

— Никогда? — спросилъ онъ дрожащими губами: — ни за чтò?

— Да, это письма не мои, — отвѣтилъ Спесивцевъ: — и если вы, Глѣбъ Андреевичъ, подумаете спокойно... если все это...

Въ глазахъ Глѣба сверкнулъ злой огонекъ. Онъ вы-

хватилъ изъ кармана пистолеть, быстро щелкнулъ его куркомъ и навелъ его въ упоръ на доктора.

— Немедленно, слышите ли! — сказалъ онъ: — или, видите, я васъ положу на мѣстѣ.

Глаза Спесивцева удивленно раскрылись. Онъ отшатнулся и не могъ произнести ни слова.

— Такъ вотъ вы какъ, — проговорилъ онъ, наконецъ: — насиліе сумасшедшаго? не поздравляю! А, впрочемъ, Господь васъ разбереть...

Онъ подошелъ къ бюро, вынулъ изъ ящика портфель, порылся въ немъ и, отдѣливъ изъ него пачку писемъ, зажегъ свѣчу, запечаталъ пачку въ пакетъ и, написавъ на немъ имя Марьи Родіоновны, подалъ его Глѣбу.

— Я уступилъ грубому натиску, вотъ вамъ письма вашей жены! — сказалъ онъ: — но ваша совѣсть воздастъ... Я всегда и вездѣ къ вашимъ услугамъ... сочтемся!

— Мою совѣсть, господинъ Спесивцевъ, оставьте въ покоѣ, — отвѣтилъ Глѣбъ, пряча въ карманъ поданную ему пачку: — что же до моихъ правъ, то ихъ никто не оспорить... А если вы въ чемъ-нибудь остаетесь недовольны, я тоже къ вашимъ услугамъ.

Онъ взялъ шляпу, не кланяясь, вышелъ и уѣхалъ.

Желаніе немедленно, безотлагательно ознакомиться съ письмами жены къ доктору поглощало Глѣба. Онъ сперва приказалъ-было извозчику ѣхать прямо на Чистые-пруды, но раздумалъ и велѣлъ сперва завернуть къ кондитерской, мимо которой, въ ту минуту, они ѣхали по Тверскому бульвару.

— Стаканъ шоколаду! — обратился Глѣбъ къ слугѣ, войдя въ кондитерскую и сядясь поодаль, въ углу общей комнаты.

Пока приготовляли и подали шоколадъ, онъ склонился къ окну, вынулъ письма и сталъ ихъ одно за другимъ просматривать. Фразы въ первыхъ же изъ нихъ, — гдѣ Маріи, испуганная болѣзнь сына, молила доктора пріѣхать: «дорогой мой» — «голубчикъ, Семень Захаровичъ» — «свѣтикъ, золотой!» — «пріѣзжайте же, милый, добрый, жду» — бросили Глѣба въ краску и онъ, сжимая кулаки, мысленно восклицалъ: «Какая необдуманность, какое легкомысліе! молодой, замужней женщинѣ такъ обращаться къ постороннему человѣку!»

Въ письмахъ были и другія, искрення и задушевныя выраженія; на нихъ Глѣбъ и не обратилъ уже особаго вниманія. Но вдругъ онъ остановился читать. Строки запрыгали въ его глазахъ. Въ одномъ изъ писемъ онъ прочелъ нѣчто, какъ ему показалось, невозможное. Потрясающая, убійственная истина вдругъ какъ бы предстала передъ нимъ, во всей своей наготѣ. Ему бросилось въ глаза сперва выраженіе: «мужъ не знаетъ, мою, пріѣзжайте» и далѣе: «я одна,—вся утѣха теперь, всѣ надежды въ васъ». — «Да что же это?» — мысленно восклицалъ Глѣбъ. Письмо дрожало въ его рукѣ. Багровыя пятна выступали на лицѣ. Онъ, съ болью въ сердцѣ, принудилъ себя перевернуть страницу и на ней прочелъ уже нѣчто, по его мнѣнію, превосходящее всякія мѣры, нѣчто безобразно-наглое и циническое. — «Нашъ сынъ, нашъ Вася» — было сказано на этой страницѣ: «дважды обязанъ вамъ жизнью,—родившись и снова теперь».

Глѣбъ въ бѣшенствѣ бросилъ это письмо. — «Боже,—повторилъ онъ:—еще открытіе... такъ вотъ чей это ребенокъ! но какая низость и каковъ ударъ!» — Онъ хотѣлъ немедленно возвратиться къ Спасивцеву и покончить съ нимъ. — «Нѣтъ, пужна очная ставка, надо провѣрить, доказать!» — Тысячи жгучихъ мыслей и рѣшеній кружились въ головѣ Глѣба. Онъ снова бралъ письма, пробѣгалъ ихъ и опять бросалъ, не понимая уже ни прочитаннаго, ни того, гдѣ онъ находился.

— Сударь, простынетъ-съ! — раздался надъ нимъ голосъ слуги, подавшаго ему шоколадъ.

— Ахъ, да! извини, братецъ,—проговорилъ Глѣбъ:—я и забылъ... Что слѣдуетъ?

Не прикоснувшись къ стакану, онъ расплатился, сунулъ смятыя письма въ карманъ и уѣхалъ. — «Прости, мой дорогой, нынѣ злодѣйски разоренный улей!» — думалъ Глѣбъ, подѣзжая къ Чистымъ-прудамъ и издали видя свой домъ.

Марья Родіоновна сидѣла за работою, въ той же уборной комнатѣ, какъ и утромъ. Шимкова, не дождавшись обѣданныхъ покупокъ и, въ качествѣ большой трусихи, боясь возвращаться на мызу въ сумерки, по дурной дорогѣ, давно уѣхала. Заслышавъ на улицѣ стукъ колесъ, Мари рѣшила, что, наконецъ, возвратился Глѣбъ, сложила работу и собралась уже сказать прислугѣ, чтобъ подавали обѣду, — но въ

домъ было тихо, никто не появлялся въ немъ. Часы мѣрно тикали на каминѣ. Ей стало грустно. Она такъ давно не была вмѣстѣ съ мужемъ. Глѣбъ вечеромъ не видѣлся съ нею на мызѣ, а съ утра у нихъ былъ этотъ неприятный разговоръ, по поводу анонимнаго письма. Хотя они искренно, повидимому, тогда объяснились, но не вполне; прѣѣхала Шимкова, и они прекратили неоконченный разговоръ.

На улицѣ снова загремѣлъ экипажъ. Онъ остановился у крыльца. Маріи узнала шаги мужа въ залѣ и въ гостиной.

— А, наконецъ-то и покупки!—сказала она, участливо и ласково подходя къ Глѣбу:—потрудился, голубчикъ, усталъ, зато мы тебя подкормимъ... твои любимыя перенелки и уха изъ ершей.

Глѣбъ молча бросилъ покупки на диванъ, притворилъ дверь въ гостиную и дверь въ коридоръ, заперъ ихъ обѣ на ключъ и сталъ передъ женой.

— Что это? что снова съ тобой?—спросила Маріи, томимая какимъ-то неяснымъ, тяжелымъ предчувствіемъ.

Глѣбъ тихо взялъ ее за руку и нѣсколько секундъ молчалъ.

— Такъ ты ни въ чемъ не виновна? — спросилъ онъ, пристально глядя въ глаза Маріи.

— Опять глупости! да перестань, пожалуйста! — сказала она:—довольно шутить!

— Не глупости и не шутки,—проговорилъ Глѣбъ упавшимъ и, какъ показалось Маріи, молящимъ голосомъ:—дѣло идетъ о моей... о нашей чести... Ты, Маша, безжалостно поступила. Все мое дорогое погибло, разорено...

— Да что же это, наконецъ, за темные намеки и укору?—не вытерпѣла Маріи, чувствуя, какъ нѣчто страшное и холодное въ ту минуту становилось между нею и Глѣбомъ:—перестанешь ли ты, безсовѣстный, злой, терзать и мучить меня?

— Злой? — прошепталъ Глѣбъ, стискивая до боли руку жены: — темные намеки? изволь... Скажи мнѣ,—я слышала прежде мелькомъ, а въ Ракитномъ Сысоевна, какъ-то хвали мнѣ тебя, сообщила подробнѣе,—правда ли, что до меня у тебя были другіе ухаживатели и между ними одинъ даже сильно былъ въ тебя влюбленъ?

— Вотъ когда спохватился! — сказала Маріи, невольно краснѣя: — надо было бы ранѣе наводить справки. Кто же, однако, ухаживалъ? кого тебѣ называли? это любопытно...

— Спесивцевъ—отвѣтилъ Глѣбъ.

— Придумай кого-нибудь лучше и позавиднѣе для твоей жены,—сказала Марі:—пока слышу однѣ басни.

Глѣбъ молча вынулъ изъ кармана пачку скомканныхъ писемъ Марі къ доктору и поднесъ ихъ къ ея глазамъ. Сперва она не поняла, что нужно Глѣбу, и нѣсколько мгновеній растерянно смотрѣла на письма и на него; наконецъ, догадалась, въ чемъ дѣло. «Онъ, очевидно, не доволенъ, что я переписывалась съ докторомъ! — подумала она:—это, впрочемъ, еще не бѣда, надо было»...

— Въ чемъ же ты коришь меня? что доказываютъ эти письма?—спросила Марі.

— Ты... равнодушна къ Спесивцеву! — проговорилъ Глѣбъ, пряча письма: — ясно!.. ты была съ нимъ близка прежде и стала еще ближе теперь, безъ меня.

XXX.

Марі помертвѣла. Слова мужа, какъ обухомъ, ударили ее по головѣ. Полъ заходилъ подъ ея ногами. Она силилась крикнуть о незаслуженной обидѣ, о пощадѣ и не могла. «Слушай, — думала она сказать мужу: — вѣдь я знаю, ты благородень... твоя мать и всѣ близкіе считали и считаютъ тебя рыцаремъ добра и чести. За что же такіе убійственные и несправедливые укоры?» Рой мыслей съ страшною быстротою кружился въ головѣ Марі. Она теряла сознание.

— Да, да!—продолжалъ, глядя на ея смущеніе, Глѣбъ:— и ваши амуры увѣнчались успѣхомъ, даже принесли желанный плодъ... и — какъ и подобаетъ мужу — я, разумеется, узналъ объ этомъ послѣдній.

Все это онъ сказалъ, какъ потомъ вспомнила Марі, особенно отчетливо ясно.

— Что тебѣ, наконецъ, нужно? договаривай, мучитель!— произнесла Марі, все еще не вполне понимая всей тяжести нападающихъ на нее позорныхъ обвиненій.

— Договаривать? о, такъ слушай!—съ незнакомымъ для нея, язвительнымъ спокойствіемъ, произнесъ Глѣбъ: — я только что допытался, узналъ... Вася не мой, а *ваши* сынъ... твой и Спесивцева!

Безобразно-дикое обвиненіе, брошенное въ глаза Марі, окончательно взорвало ее. Мысли ея помутились. «А! такъ вотъ что, вотъ награда за мою безграничную любовь и преданность!—пронеслось въ ея головѣ: и въ своихъ укорахъ ты, гордый себялюбецъ, даже не допускаешь сомнѣній, —

стать сразу безжалостнымъ судіей и палачомъ?» Злая, страшная мысль невольно охватила ее. «Ты казнишь невиноватое передъ тобою, беспомощное существо, — сказала она себѣ: — казнись же до конца и самъ, неправедный и безчеловѣчный судія!»

Мари вдругъ почувствовала облегченіе въ душѣ. Пришедшее ей въ голову соображеніе охватило ее восторгомъ. Ей показалось, что она вдругъ вырвалась изъ какихъ-то душевныхъ потемокъ и, съ стремительною, поражающею быстротою, неслась къ воздуху и свѣту. Она скрестила на груди руки, отступила на шагъ и, съ презрительною усмѣшкой, взглянула на Глѣба.

— Если такъ... если ты, какъ говоришь, въ самомъ дѣлѣ, до всего допытался и все узналъ, — сказала она: — смотри только, не раскайся, что и меня вызвалъ на сознаніе...

Мари помолчала. «Остановись, бозумная! — шепталь ей внутренній голосъ: — будетъ поздно, все погибнетъ, улетитъ навсегда!» Ея глаза горѣли бѣшеною мезтью. Она дрожала, какъ дикій конь, закусившій удила.

— Ты спрашиваешь? --проговорила она: --изволь, не скрою; какъ ни тяжело, а дѣйствительно... ты самъ сказалъ...

Она не кончила.

Передъ нею мелькнули чьи-то исковерканныя гнѣвомъ, страшными и незнакомыми ей черты. То былъ Глѣбъ, а не кто-то иной, кого она здѣсь увидѣла впервые. Чьи-то покосившіеся отъ злобы и ненависти глаза приблизились къ ея лицу. Она почувствовала нестерпимую боль въ крѣпко стиснутой рукѣ. Въ комнатѣ раздался звѣрскій, хриплый крикъ. Что-то рвануло ее, что-то возлѣ нея затрепало... Мари, какъ подкошенная, упала къ углу софы, уронивъ съ нея вышитую гарусомъ подушку, ея подарокъ, въ Ракитномъ, мужу. Былъ опрокинутъ столъ, разсыпалась въ осколкахъ китайская ваза. Надъ нею стоялъ блѣдный, съ искривленнымъ отъ бѣшенства лицомъ и поднятыми кулаками, Глѣбъ. Онъ дрожалъ, осылая ее проклятіями...

Никому и никогда впослѣдствіи Марья Родіоновна Дуганова не говорила о томъ, что произошло, въ тѣ мгновенія, въ отдаленной отъ прочихъ комнатъ уборной. Въ ея «Запискахъ», вмѣсто всякаго разсказа, были здѣсь написаны только слова: «Власть Господня на все! А что случилось,

о томъ знаютъ только рабыни, жалкія паріи востока, да ихъ грубые, безсердечные палачи».

Марі опомнилась наверху, въ антресоляхъ, куда она вбѣжала безсознательно и дрожа всѣмъ тѣломъ. Въ слезахъ обиды и стыда, она безпомощно опустилась на тотъ диванъ, на которомъ минушею зимой, плача и дергая плечами, лежалъ Алексѣй, узнавшій о бѣгствѣ жены. «Но, вѣдь, та ему дѣйствительно измѣнила, бѣжала отъ него, — твердила Марі себѣ, собираясь съ мыслями:—а я? за чтò же это, за чтò?» Вотъ и то фарфоровое зеркало, передъ которымъ она, о масляной, допрашивала Серафиму. Думалось ли тогда, что вскорѣ случится съ нею самой?

Прошло болѣе часа. Марі не думала объ обѣдѣ и никто не звалъ ее внизъ. «Значитъ, всѣ въ домѣ знаютъ!»—ужасалась она. Надвинулись сумерки. На лѣстницѣ послышались шаги. На антресоли вошла Сысоевна, носившая ребенка, по обычаю, передъ вечеромъ, гулять и ничего, казалось, не знавшая о происшествіи въ уборной.

— Пора бы ужъ Васенькѣ ужинать и бай-бай, — сказала она и остановилась.

Измученное лицо Марі, упавшая на грудь, въ безпорядкѣ разсыпавшаяся ся коса и пальцы, судорожно перебиравшіе эту косу, сказали Сысоевнѣ болѣе, чѣмъ могли бы объяснить слова Марі. Слезы навернулись на глазахъ старухи.

— Эхма, барынька, молодой ты мой птенчикъ! — проговорила она, всхлипывая:—все перемелется, будетъ мука. Суровъ-отъ, бываетъ, хозяинъ, да отходчивъ, — молись!

«Всѣ знаютъ, всѣ!»—подумала Марі, мертвѣя отъ стыда.

— Да что, милая, — продолжала няня:—нашимъ сестрамъ-отъ и косы за провинность рѣжутъ, а, пока гнѣвъ на милость склонится, какія еще отрастутъ.

— Такъ и ты, няня, и ты?—вскрикнула Марі, заливаясь слезами:—безбожные вы всѣ, безбожные! съ вами не жить... Уйди, ради Бога, уйди!

ЧЕРНЫЙ ГОДЪ.

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

НА ВОЛГЪ.

— «Руби столбы, — заборы сами повалятся!»
Слова Пугачова.

— «Маркизь Пугачовъ, какъ его зоветъ г. Вольтеръ, мнѣ надѣлалъ много хлопотъ. Послѣ Тамерлана, не было никого, кто бы такъ истреблялъ человѣчество». (*Письма Екатерины II къ барону Гримму и Вольтеру. — 1774 г.*)

I.

Едва няня удалилась, Маріи быстро подошла къ окну, распахнула его и взглянула внизъ на улицу. Ее охватило злой, мучительный трепетъ. «Броситься черезъ это окно, разбиться! — думала, замирая, Марія, — «пусть онъ увидитъ мертвую, съ изломанными членами, съ разможенной головой!» Опомившись черезъ секунду, Марія съ ужасомъ отвернулась отъ окна. Ея голова кружилась. Мысли путались. «О, ему будетъ, разумеется, пріятно! пусть такъ, пусть насладится!» — шептала она. Ухватясь за сердце, она помедлила, тихо сошла по лѣстницѣ во дворъ и направилась въ садъ при домѣ. Нѣсколько минутъ она ходила по саду. Въ концѣ его былъ глубокий, старый колодець. Изъ него рѣдко черпали воду. «Да, да, здѣсь утониться! — вдругъ подумала Марія, — не скоро спохватятся, не скоро найдутъ!» И она, прижавъ къ колодцу, стремительно нагнулась надъ нимъ. «Вѣдь мигъ

одинъ, мигъ,—мыслила она, держась за срубъ,—и ты будешь счастлива, покойна навѣгъ!» «Мама, мама:» — послышался сзади ея знакомый голосъ. Мари оглинулась. Сысоевна несла къ ней по аллеѣ Васю, махавшаго издали пухлыми ручонками. Мари, судорожно зарыдавъ, обхватила ребенка. «Спасибо, няня, что ты его принесла, — сказала она: — мнѣ легче такъ; гуляйте». Отеревъ слезы, Мари тихо возвратилась въ домъ, прошла въ спальню, заперлась на ключъ и бросилась на колѣни передъ образами. Долго она молилась, никого къ себѣ не звала, а ночь на-пролѣтъ провела въ новыхъ мукахъ сомнѣній и безысходной тоски. «Онъ-то онъ! — восклицала она мысленно, — Глѣбушка мой! да за что же? о, Господи!» Мари представлялось, что совесть должна укорить Глѣба, что онъ вскорѣ одумается, придетъ и съ раскаяніемъ попроситъ о мирѣ и забвеніи всего, что было. Въ домѣ, какъ казалось Мари, слышались торопливые шаги, необычная возня. Сердце въ ней сильно билось. «Вотъ идутъ къ двери!» — думала она... Ея ожиданія не сбылись. Глѣбъ не явился. Сталъ брезжить разсвѣтъ, когда до-нельзя измученная Мари припала головой къ подушкѣ и забылась тяжелымъ, прерывистымъ сномъ.

Мари проснулась поздно. Открывъ глаза, она съ ужасомъ вспомнила все, бывшее съ нею. «Нѣтъ, этого не было, это привидѣлось мнѣ! — старалась она себя уѣднить. — Это невозможно!.. А если дѣйствительно все то было, какой позоръ! Этого не прощаютъ... съ такимъ мужемъ не живутъ...»

Мари встала, не торопясь одѣлась, снова помолилась передъ любимымъ кіотомъ и съ проясненною душой стала вынимать и откладывать особенно ей дорогія вещи. Все до бездѣлицы она разобрала и положила по мѣстамъ, присѣла къ столу и взялась за перо. Она написала Надѣ Шѣмковой, прося ее немедленно снова пріѣхать, чтобы выслушать отъ нея одно важное дѣло, позвонила и отплатила, черезъ поваренка, письмо на мызу. До пріѣзда Шѣмковой, она, по прежнему, не выходила изъ своей комнаты. «Ты не идешь ко мнѣ, — думала Мари о мужѣ, — не пойду и я!» Сысоевна принесла ей въ спальню чай и завтракъ. Огъ всего она отказалась.

— Нездорова, матушка? — спросила няня.

— Да, болитъ голова.

— Принести Васеньку?

— Иѣтъ, Бога ради, уйди теперь... послѣ!

Старуха еще какъ бы хотѣла что-то сказать и вышла, жалобно качая головой.

«Не утѣшишь теперь!»—мыслила ей вслѣдъ Марі.

Она продолжала укладывать венцы въ послѣднемъ изъ ящичковъ комода, когда послышался наконецъ знакомый стукъ расхожихъ дрозжекъ. Мари подошла къ окну и увидѣла на крыльцѣ Надю и Сысоевну. Старуха, очевидно, поджидала здѣсь Шимкову и что-то передавала ей, разводя руками. Сердце Марі сжалось и заняло. «Боже! о чемъ это еще онѣ?—подумала она, замирая,—неужели глухая старуха, если чтò и узнала, рѣшилась передать Надѣ? Иѣтъ, она слишкомъ предана мнѣ». Въ спальню постучались.

— Войдите,—сказала Марі, присѣвъ снова къ столу и стараясь быть какъ можно спокойнѣе.

Вошла Шимкова. На ней не было лица. Испуганные ея глаза смотрѣли странно. Снимая шляпу и мантилью, она съ трудомъ переводила дыханіе. «Да, и она, очевидно, все знаетъ!—подумала Марі.—Старуха выдала ей секретъ».— Она молча поцѣловала Надю.

— Ты всегда была мнѣ близка,—сказала она, усадивъ гостью возлѣ себя:—не правда ли, ты не оставишь меня въ тяжелую пору?

Надя тихо пожала ей руку.

— Я приняла рѣшеніе, и оно безповоротно,—продолжала Марі:—если не знаешь причины, объясню послѣ... Такъ долѣе нельзя... Либо надо окончателенс переговорить,—онѣ обязать извиниться,—либо подумать и... разстаться навѣкъ... да навѣкъ!

— Но ты не знаешь,—проговорила, взглядываясь въ нее, Надя:—ахъ, Боже мой, какъ мнѣ это тебѣ передать, объяснить?..

— Чтò такое?

Надя медлила отвѣтомъ.

— Да говори же, чтò еще? все какія-то неожиданности.

— Ты еще только думаешь,—прошептала блѣдными губами Надя:—а другіе уже и рѣшили... все кончено, и тебѣ, какъ я узнала, запрещено это сообщать.

— Чтò запрещено?—допытывала Марі:—да брось, ради Бога, загадки, говори...

— Ахъ, Мама, помнишь, чтò я, потерявъ мужа, гово-

рила тебѣ? Пить въ свѣтѣ прочнаго счастья... все шатко, все тлѣно и прахъ... Я сію минуту узнала, — Глѣбъ Андреевичъ съ вечера началъ дѣлать распоряженія... Онъ, очевидно, уѣзжаетъ...

— Ну, уѣзжаетъ, такъ что же?

— Да вѣдь онъ въ Петербургъ, слышишь ли, ѣдетъ и, кажется, навсегда...

Маріа вскрикнула и, въ безпамятствѣ, упала со стула.

Съ трудомъ придя въ себя, она не хотѣла слушать никакихъ увѣщаній пріятельницы. Когда Шимкова, по возможности успокоивъ ее, уѣхала, она рѣшила немедленно бросить мужа и разорвать съ нимъ всякія сношенія. «Но куда ѣхать?» — терялась въ догадкахъ Маріа. Въ Ракитное, имѣніе свекрови? это было, по ея мнѣнію, невысказано. Если Глѣбъ еще не извѣщалъ матери о своемъ разрывѣ съ женой, то навѣрное скоро долженъ былъ ее о томъ извѣстить. Маріа не могла рассчитывать на покровительство и помощь свекрови, такъ любившей своего сына и вѣрившей въ правоту всѣхъ его дѣйствій. Оправдываться передъ нею значило — обвинять ея кумира, любимца. И какую цѣну старуха Дуганова могла бы дать ея голословнымъ объясненіямъ? Обиженная гордость не позволяла Маріа и думать о Ракитномъ. Она вспомнила о вдовѣ своего брата; послѣдняя, незадолго передъ тѣмъ, вторично вышла замужъ и находилась въ Петербургѣ, гдѣ ея мужъ служилъ въ сенатѣ. Но, поѣхавъ къ ней, Маріа могла тамъ встрѣтиться съ Глѣбомъ, и онъ, пожалуй, подумалъ бы, что она ищетъ его прощенія и примиренія съ собой. Она безуспѣшно перебирала разные предположенія.

На Усіхѣ Емельяны и его сообщники остановились на плоской, безлюдной равнинѣ, подъ высокимъ яворомъ, одиноко стоявшимъ у обрывистаго берега. Сюда не было никакихъ дорогъ. Мѣсто за то было «караулисто». Съ полузасохшаго дерева, на которомъ чернѣло нѣсколько опустѣлыхъ коршуновыхъ гнѣздъ, далеко виднѣлась пустынная степь, съ синѣющими холмами и курганами.

Распоряжавшійся государевымъ станомъ и всѣмъ его обиходомъ, Чика разбилъ для Пугачова, подъ яворомъ, палатку изъ конскихъ попонъ. Самы казаки расположились подъ открытымъ небомъ. Отсюда, по одиночкѣ, они сдѣлали нѣ-

сколько развѣдокъ въ окрестные хутора и въ Яицкій-городокъ. Добывъ свѣтныхъ припасовъ, а также цвѣтныхъ тканей, позументовъ и шнура для знаменъ, они привезли изъ городка нѣсколько новыхъ охотниковъ послужить государю, въ томъ числѣ и столь желаннаго для него грамотѣя.

Это былъ почти еще мальчикъ, весьма смысленный и наторѣлый въ войсковой канцеляріи, сынъ богатаго яицкаго казака, Иванко Почиталинъ. Бѣлокурый и румяный, не по лѣтамъ высокій, сутуловатый и съ неуклюжими крупными руками, онъ сильно трусилъ, когда впервые его подвели къ государственной ставкѣ. Въ рукахъ Иванко держалъ подарки отъ старика-отца, благословившаго его на служеніе царю, новый, синій, китайчатый зипунъ, персидское, съ вышивками, сѣдло, бешметъ изъ бухарской, зеленой термаламы, малиновую бархатную шапку и желтые сафьяновые сапоги. Мясниковъ объяснилъ Пугачову, что это грамотный человекъ.

— А это что?—указалъ Емельянъ на подарки, оглядывая сторбленную и длинную фигуру Иванки, у котораго на поясъ висѣла мѣдная чернильница, а изъ кармана выглядывали пучекъ бумаги и перо.

— Отъ тятеньки, — отвѣтилъ Иванко, кланяясь и подавая гостинцы.

— Ростомъ хоть и въ гвардію, — сказалъ Емельянъ, принимая дары: — а что такъ сутулишься? въ школѣ, чай, изогнули?

Иванко только моргалъ бѣлесоватыми, испуганными глазами. Прочіе казаки громко разсмѣялись.

— Ну, оставайся, будь при мнѣ секретаремъ, — объявилъ Пугачовъ: — служи вѣрно и лиши, что вѣлю.

— Худо, ваше величество, шину, — отвѣчалъ Почиталинъ.

— Ничего, письма будеть мало, больше дѣловъ!

Емельянъ одѣлся въ платье, привезенное Иванкой. Казаки собрали сухого бурьяна, разложили въ разсѣлинѣ берега огонь и стали въ походномъ котелкѣ варить на обѣдъ кашу. Но едва запылалъ костеръ, вдали показалась какая-то движущаяся точка. Сталъ виденъ скакавшій къ Усѣхѣ всадникъ. Онъ близился, маяча надъ собой пикой. То былъ гонецъ, посланный къ Пугачову, окольными путями, изъ Яицка. Казаки узнали въ немъ посланца отъ войсковой руки и пропустили его къ ставкѣ царя.

— Бѣги, государь! — проговорилъ гонецъ, доскакавъ къ

ставкѣ и спрыгнувъ съ измореннаго коня:—о твоёмъ прибытіи сюда провѣдано и за тобой послана сильная погоня.

— На-конь, ребята!—крикнулъ Емельянъ:—спасайтесь, да вызволяйте, дѣтушки, и меня.

Онъ растерялся и, блѣдный, бѣгалъ по берегу. Казаки мигомъ осѣдлали лошадей. Бросивъ палатку, костерь и съѣстные припасы, всѣ стремглавъ ускакали внизъ по Усихѣ. Столбъ пыли несся за ними пустынною степью по пути на Толкачевы хутора. Скакали до ночи и всю ночь. Вечеромъ отдыхали на растахѣ, у какого-то провалья. Пока провожатые пасли лошадей, Пугачовъ подозвалъ Почитайлина.

— Доставай свою бумагу, пиши манифестъ!—сказалъ онъ ему—да проворь, чадо мое, не люблю мѣшкоты...

Иванко присѣлъ на землѣ, вынулъ бумагу и перо, откупорилъ походную свою чернильницу и, на снятомъ лѣнчикѣ сѣдла, сталъ писать то, что ему говорилъ Пугачовъ. Выслушавъ написанное, Емельянъ сказалъ: «Добре, — проба хороша».

На Толкачевы хутора прѣехали рано утромъ. Чѣка разослалъ гонцовъ по сосѣднимъ зимовникамъ и умѣтамъ. Къ избѣ, гдѣ остановился Пугачовъ, стали собираться бездомные казаки, бродяги и калмыки съ ближнихъ кочевокъ. Вечеромъ, на сборномъ пунктѣ, среди хутора, гудѣла уже толпа, человекъ въ триста. Чѣка объявилъ, что вскорѣ выйдетъ государь. Всѣ почтительно смолкли, съ жаднымъ любопытствомъ глядя на низенькую, покосившуюся дверь, изъ которой долженъ былъ, наконецъ, объявиться народу давножданый императоръ. Тутъ же сидѣлъ отбитый казаками по пути, изъ-подъ стражи, въ сосѣднемъ хуторѣ, пересылавшійся изъ Мечетной въ Ляцкѣ, старикъ Оболяевъ. Умѣтчика трудно было узнать. На немъ былъ снятый съ убитаго старшины новый, зеленый, тонкаго сукна, кафтанъ, съ позументомъ, и новая, черная смупковая шапка. Изъ избы на крыльцо вышелъ широкоплечій, бородатый и дюжій человекъ, въ зеленомъ бешметѣ и красныхъ сапогахъ, съ саблей у пояса. Онъ, исподлобья, медленно оглянулъ толпу и направился къ ней. «Батюшка! сильный, да статный какой!—шептали въ толпѣ, снимая шапки,—кормилецъ нашъ! вотъ оно, царское-то древо!» «Экъ, брешутъ! да развѣ можно? слѣные вы! въ бородѣ-то развѣ бываютъ цари?—толковали другіе. «И виражь, — прибавляли третьи: — не

царь, а нашъ братъ, казакъ, либо, какимъ обманомъ купецъ!» «Дурни вы, дурни!—перебивали первые, вѣрившіе, что къ нимъ выйдетъ царь:—былъ бы обманъ, развѣ долго побриться?»— «Да, дѣлать нечего, —вздохали старики:—допустили, такъ надо привить; иначе, коли оплошаемъ, бабы засмѣютъ!»—Емельянь вошелъ въ кругъ. Всѣ пали передъ нимъ на колѣни.

— Здравствуйте, други мои, войско яицкое! —сказалъ Емельянь, самъ не снимая шапки.

Цотъ крупными каплями выступилъ у него на лицѣ. Лѣвый глазъ подергивался судорогой.

— Опознайте меня, дѣтушки, смотрите! —продолжалъ онъ:—вотъ я весь теперь тутъ,—вашъ государь; не умеръ, а живъ... Одиннадцать годовъ странствовалъ... Богъ, за старую, прямую мою вѣру, опять вручаетъ мнѣ царство. Служите по правдѣ,—будете у меня первые люди... Держитесь за мою правую ногу, соколята, орлами будете.

— Рады, батюшка! до послѣдней капли крови... бери всѣ пали животы, родимый, ваше величество!

Пугачовъ оглянулся къ избѣ.

— Иванушка! —крикнулъ онъ стоявшей тамъ своей свитѣ:—читай имъ манифестъ; слушайте, братцы-станичники.

Почиталинъ подошелъ къ кругу, досталъ изъ-за пазухи заготовленную на растѣхѣ бумагу, развернулъ ее и сталъ читать.

Толпа, съ любопытствомъ и страхомъ, слушала то, что па-распѣвъ, по-дьячковски, произносилъ писарь. «Самодержавнаго ампратора... какъ вы, други мои, прежнимъ царямъ служили» —вычитывалъ Иванушка:— «и ни источить ваша слава... и которые мнѣ, ампраторскому величеству, винные бѣли, прощаю... и жаловаю я васъ—рядю, съ вершинъ и до уся, и порахомъ, и провіянтамъ, я великій ампраторъ,—жаловаю васъ, Петръ Ѳедоровичъ... 1773 года, 18-го сентября».

— Веди насъ, государь, куда хочешь!—крикнули всѣ:—мы твои; отстоимъ, поможемъ тебѣ!

II.

Пугачовъ подозвалъ Чіуку.

— Па-конь, ребята, походъ!—объявилъ онъ молодецки и громко, вспоминая, какъ при немъ точно также, на стоянкахъ въ Пруссіи, командовали его бывшіе полковники:—а

ему, — крикнулъ онъ, подзывая Еремкина-курицу: — вручаю мою походную икону и главный штандартъ. Ты, старикъ, потрудились; заслужи еще, береги то и другое!

Казаки засуетились, развернули пять смятыхъ, заготовленныхъ въ торбахъ, знаменъ, съ нашитыми на нихъ восьмиконечными крестами, преклонили ихъ передъ новоявленнымъ царемъ, сѣли на коней и направились вверхъ по Яику. Впереди, на небольшомъ, пѣгомъ иноходцѣ, ѣхалъ самъ Пугачовъ. За нимъ, недавно еще кряхтѣвшій, при взлѣзаніи на коня, бодрымъ скокомъ послѣдовалъ теперь Оболяевъ, со значкомъ въ рукѣ и съ небольшою, на лентѣ, иконкой, поверхъ кафтана. — «Господи, Боже Ты нашъ, — думалъ, сквозь радостныя слезы, старый умѣтчикъ: — кто явился и обрященъ къмъ? Обѣщаетъ семиглавая церквн строить, потрудиться Богу, миловать и жаловать всѣхъ! какъ за такого не положить жизни, не пострадать?» — Казаки приблизились къ Яицку.

У Чаганскаго моста ихъ встрѣтилъ высланный противъ нихъ, для развѣдки, комендантомъ Яицкой крѣпости, небольшой отрядъ пѣхоты и казаковъ, съ пушками. Емельянь, засѣвшій въ обрывѣ, подъ мостомъ, бросился изъ засады и охватилъ часть этой команды; остальные ушли. Отрядъ Емельяна усилился до семисотъ человѣкъ. Его сообщники связали одиннадцать плѣнныхъ и стали усиленно просить Емельяна казнить пойманныхъ. — «То все твои супротивники, — говорили они: — великіе злодѣи, кумовья и посланцы старинныя. Веревокъ! на надолбы ихъ!»

«Что-жь, надо ихъ доволествовать! — подумалъ Емельянь, оглядывая запыленные и потныя лица плѣнныхъ, испуганно смотрѣвшихъ на него, — таперича на всякъ грѣхъ не намолишься!»

Онъ далъ знакъ Чикѣ и отѣхалъ съ нимъ въ сторону.

— Какъ думаешь? — спросилъ онъ, перебирая въ рукахъ уздечку.

— Да что, батюшка, — отвѣтилъ Чика: — между плѣнными попалъ не причастный, сторонній офицеръ... ѣхалъ по своему дѣлу изъ Яицка, его, значитъ, и схватили.

Говоря это, Чика поглядывалъ на бриченку, въ которой сидѣлъ связанный офицеръ и гдѣ было не мало цѣнной поклажи. Плѣнный офицеръ былъ братъ Травкина, Павелъ.

— Такъ что же? — спросилъ Емельянь.

— Барина слѣдовало бы помиловать, — отвѣтилъ Чика, сообразивъ, что за свое ходатайство заработаетъ съ офицера хорошиі бакшингъ.

— Барина? — сердито спросилъ Емельянь, всплывъ и покраснѣвъ до поту: — меня учить? да не за алтынъ всякаго удавлю! Надъ самими висить петля, а ты о господахъ? бей ихъ, дави, полосуй, отъ прапорнаго до енерала! чего жалѣть проклятый родъ дворянъ? Руби столбы, — заборы сами повалятся...

Пугачовъ отдалъ приказъ. Чика отошелъ къ мосту.

На старыхъ пѣляхъ и надолбахъ, изъ конскихъ обротей, устроили первыя рѣли. На нихъ повѣсили всѣхъ одиннадцать плѣнныхъ. Особенно долго боролся и бился повѣщенный офицеръ. Болѣе другихъ надъ нимъ положилъ труда Оболяевъ, такъ недавно еще мыслившій о милованіяхъ и печалованіяхъ найденнаго имъ царя. Отдавъ подручному значекъ, Ерёмкинъ-кураца, съ болтающеюся на груди иконкой, лихорадочно копошась у почернѣвшей мостовой пѣли, торопливо наладилъ веревку и, шепча поблѣвными губами: «О, Господи-Исусе! о, Господи, помилуй грѣшныхъ!» — первый дрожащими руками затянулъ петлю надъ связаннымъ Травкинымъ и пинкомъ столкнулъ его съ моста. И когда повисшій надъ омутомъ, нѣсколько секундъ, еще вертѣлся на веревкѣ, Оболяевъ, глядя на его поблѣвнѣвшее лицо и въ ужасѣ широко-раскрытые глаза, не переставалъ твердить: «Господи, Пречистая... ой, грѣхъ! помилуй насъ, Исусе, и спаси!»

Раздѣливъ по-ровну, межъ всѣми, одежду казенныхъ, Пугачовъ двинулся къ Янцкому-городку. Въ коляскѣ повѣннаго офицера нашли ящикъ съ виномъ; у сосѣдняго кабатчика прихватили къ нему еще увѣсистый боченокъ съ водкой. Всѣ дружно выпили. Въ передней кучкѣ казаковъ оказалось нѣсколько блѣлыхъ малороссовъ. Сильно подвыпивъ водки и вина, кто-то изъ нихъ затянулъ пѣсню, подъ которую запорожцы, въ недавнемъ набѣгѣ за Днѣпръ, громили, жгли и били польскія села. Загвѣвало началъ:

«Да прибѣмо папа
До стѣны плечіма,
Щобъ на насъ дивівся
Черными очіма»...

Хоръ подхватилъ. Густая пыль столбомъ понеслась вслѣдъ

за отрядомъ, скакавшимъ къ виднѣвшимся вдали мельницамъ и предмѣстьямъ Яницкаго-городка.

Марі терзалась, не находя выхода изъ томительныхъ колебаній. Переходя отъ одного предположенія къ другому, она рѣшилась-было ѣхать въ Самару, гдѣ когда-то жилъ ея отецъ, небогатый отставной офицеръ, имѣвшій подъ городомъ небольшую деревеньку, Свиблово. Въ этой деревнѣ родились Марі и ея покойный братъ, въ ней была похоронена ихъ мать и здѣсь же теперь доживала вѣкъ старая ихъ тетка, сестра покойнаго отца. Марі изрѣдка переписывалась съ нею и знала, что старуха еще бодра и что въ Свибловѣ есть небольшой уютный домикъ, гдѣ Марі провела однажды цѣлое лѣто, въ бытность свою въ самарскомъ пансіонѣ. Но Марі могла бы найти пріютъ и въ Горкахъ, у Алексѣя и Серафимы. Они же, кстати, такъ убѣдительно, послѣ отказа Глѣба ѣхать къ нимъ, упрасивали Марі навѣстить ихъ въ это лѣто непременно. — «Мы сильно огорчены вашимъ отказомъ,—писалъ ей еще недавно Алексѣй:—но, милая сестра, помните, что наша кровь и все наше всегда къ вашимъ услугамъ. Братъ Глѣбъ, какъ мы знаемъ, теперь не съ вами; онъ въ Петербургѣ, и вы навѣрное скучаете въ одиночествѣ. Пріѣзжайте къ намъ въ Горки, да не только, какъ говорится, собакъ подразнить, а если осчастливите заѣдомъ, то со всѣми домочадцами, и по искренней къ вамъ пріязни, просимъ васъ пробыть хоть и вплоть до возвращенія брата въ Москву. Тогда даемъ слово и лично васъ проводить туда, если братъ не явится самъ, велѣвъ за вами, въ наши мѣста».

«И кстати,—подумала Марі, вспомнивъ это письмо Алексѣя:—ѣхать прямо въ Свиблово, съ дитятею, не совсѣмъ удобно,—осень, дожди не за горами, да и хорошо ли еще теперь прилаженъ тамошній домъ? Предупрежу тетку, она такаа добрая,—будетъ навѣрно рада мнѣ и внуку; а по пути сперва заѣду въ Горки, и оттуда уже все устрою и всѣмъ распоряжусь».

Марі снова вызвала къ себѣ Шимкову, сѣздила съ нею къ знакомому ювелиру и заложила у него алмазный браслетъ и ожерелье, свадебный подарокъ свекрови. Но отъѣздъ Шимковой, она написала большое письмо въ Свиблово, предупредивъ тетку, что отвѣта будетъ ждать въ Горкахъ, на-

скоро уложилась и, въ слѣдующее утро, узнавъ, что Глѣбъ у князя, отправилась въ извозничьей коляскѣ, съ няней и сыномъ, за городъ, въ Донской монастырь. Помолясь тамъ въ церкви и, со слезами, приложась къ иконамъ, она, не заѣзжая домой, проѣхала на мызу въ Кунцово. Тамъ она оставила Шимковой, для передачи мужу, слѣдующія строки: «Ты оскорбилъ меня, повѣривъ гнусной клеветѣ и моею умысленной неправдѣ, которою я хотѣла тебя окончательно испытать, и рѣшилъ бросить меня. Предупреждаю твое намѣреніе. И если ты, какъ я теперь убѣждена, послѣ всего происшедшаго между нами, начнешь и доведешь до конца дѣло развода,—не мнѣ когда-нибудь придется о немъ пожалѣть». — Городской извозчикъ былъ отпущенъ. Пока гости Шимковой закусывали, къ крыльцу мызы подѣхалъ заранѣе приготовленный, синій берлинъ, подарокъ свекрови Дугановой. Марья Родіоновна простилась съ Надеей, сѣла съ Васей, няней и Сергѣемъ въ берлинъ и, выѣхавъ просѣкой парка на рязанскую дорогу, отправилась, на Тамбовъ и Саратовъ, въ Горки.

Послѣ утомительной ѣзды на долгихъ, съ отдыхами въ пыльныхъ городахъ и на душныхъ, постоялыхъ дворахъ,—путники приблизились къ окрестностямъ Волги, поздно вечеромъ. Въ воздухѣ посвѣжѣло. До Горокъ еще оставалось верстъ десять. Лошади, по гористому проселку, тянулись медленно. Темнота сгушалась. Мѣсяць еще не выходилъ. Сѣрая, туманная мгла покрывала небо. Выѣхавъ съ послѣдняго постоялаго двора, Маріа сперва то и дѣло торопила ямщика; теперь же, боясь, чтобы лошади вовсе не пристали, сидѣла молча, прижимая къ себѣ спавшаго у нея на рукахъ ребенка и высматривая, скоро ли мелькнутъ вдали знакомыя плѣса Волги.

— Мѣсяць всходитъ! — сказала, полуоборотясь, сонная Сысоевна, сидѣвшая на передкѣ берлина, спиной къ кучеру:—теперь будетъ виднѣе...

Маріа взглянула туда, куда смотрѣла няня. Нѣсколько влѣво отъ берлина, между невысокихъ песчаныхъ холмовъ, стали видны бѣлесоватые заводи Волги, а надъ ними вдругъ дѣйствительно засвѣтилось что-то круглое и яркое, только не мѣсяць. Нѣчто красно-огненное и ослѣпительное, съ поражающею быстротой, понеслось по небу, бороздя туманъ и оставляя за собою какъ бы кровавый, длинный слѣдъ.

Пролетѣвъ надъ рѣкой, огненный шаръ съ оглушительнымъ трескомъ лопнулъ и разлетѣлся надъ головами путниковъ. Маріи въ ужасѣ вскрикнула, невольно закрывъ ослѣпленныя глаза.

— Съ нами крестная сила!—шептала, крестясь, Сусоевна.

— Полыхаетъ, — произнесъ, подбирая вожжи, ямщикъ:—сказываютъ, къ вѣдру! эхъ вы, дѣтки!

Онъ ударилъ по лошадямъ. Четверня, спустившись на равнину, побѣжала крупною, дружною рысью. Кровавый метеоръ не покидалъ смущенныхъ мыслей Дугановой... «Что-то онъ пророчить?»—невольно думалось ей.

Пріѣздъ Марьи Родіоновны въ Горки былъ всеми встрѣченъ съ искреннимъ сочувствіемъ. Алексѣй и Серафима всячески старались ей угодить. Въ огромномъ деревянномъ домѣ Горокъ, Дугановой, съ сыномъ и прислугой, отвели лучшую и удобнѣе устроенную половину нижняго этажа. Сами хозяева, съ своими дѣтьми, перебрались для того въ верхній этажъ, спускаясь внизъ, въ общую столовую, только къ чаю, обѣду и ужину. Въ нижнемъ этажѣ по другую сторону столовой, дѣлившей эту часть дома пополамъ, помѣстилась гостившая въ Горкахъ, со дня освященія церкви, Нинетъ Ладыженцева.

Въ день пріѣзда Маріи, для нея и ея спутниковъ вытопили баню. Послѣ бани все сошлись къ Маріи пить чай и застали ее въ дорожной блузѣ и въ чепцѣ поверхъ еще мокрыхъ волосъ, среди кучи полуразвязанныхъ, нагроможденных по столамъ, стульямъ и диванамъ, укладокъ, корзинъ и узловъ. Посынались новыя привѣтствія, поцѣлуи и рассказы.

— Такъ вы, душенька сестра, говорите, что командировка Глѣба еще не кончилась? — спросилъ Алексѣй, усаживаясь возлѣ каналѣ, на которомъ, кутаясь поданною шалью, полулежала раскраснѣвшаяся Маріи.

— Да, не кончилась.

— И онъ отъ этого васъ не провожалъ?

— Вслѣдъ за моимъ отъѣздомъ, вѣроятно, на другой же день, уѣхалъ въ Петербургъ.

— Жаль, жаль, а мы васъ обоихъ ожидали.

— Порученное ему дѣло очень важное. Имъ интересуется сама государыня.

Марі все это говорила и объясняла такъ спокойно, что никому въ то время и въ голову не могла придти мысль о печальной драмѣ, которая разыгралась въ Москвѣ между ею и мужемъ и привела ихъ къ неожиданному и, какъ убѣдилась Марі, полному разрыву. «Узнаютъ огь другихъ,—думала она,—можетъ статься, съ первою же почтой, напишетъ онъ и самъ, это въ его духѣ, тогда по-неволѣ все расскажу и я».

— Ну, какъ же ты ѣхала?—спросила Серафима:—вотъ воображаю... эта пыль, духота, остановки на постоялыхъ дворахъ.

— И такой дальній путь вы ѣхали однѣ, только съ прислугой,—удивлялся Алексѣй, ероша волосы и счастливо улыбаясь радостными, близорукими глазами:—вотъ какая храбрая!... а ужъ подарокъ намъ, никогда не забудемъ!

И онъ рыцарски-вѣжливо, нагибая свою богатырскую фигуру, цѣловаль маленькія руки покраснѣвшей еще болѣе свояченицы. Марі едва успѣвала отвѣчать на разспросы.

— Ромку, сестра, въ чай!—вскрикнулъ Алексѣй:—Нина Александровна, прикажите.

— Да мнѣ и такъ жарко, уфъ!—отвѣчала Марі, обмахиваясь концомъ шали.

Нинѣтъ принесла флаконъ съ ромомъ.

— Кушай, Мама, это полезно съ дороги!—сказала она, подливая въ чашку дорогой гостыи.

— А мнѣ можно войти?—раздался голосъ за дверью.

— Кто это?—въ смущеніи прошептала Марі, кутаясь въ шаль по горло.

— Не лишите узрѣть нашу залетную птичку! — молилъ голосъ за дверью:—очаровательная богиня, дозволю...

— Нельзя, нельзя!—отрицательно качала головой Марі.

— Да это Сила Ѳомичъ,—произнесъ Алексѣй:—это Травкинъ... ему можно... уже провѣдалъ селадонъ, прискакалъ съ хутора.

III.

Дверь отворилась. Вошелъ и среди комнаты замеръ кругленькій, румяный и подвижной старичокъ. Онъ былъ въ суконномъ кафтанѣ свѣтло-песочнаго цвѣта, въ голубомъ камзолѣ и въ завитомъ парикѣ. Поднявъ руки къ потолку, онъ нѣсколько секундъ, въ безмолвномъ умилении, смотрѣлъ на нежданную гостью, почтительно шаркнулъ ножкой и подкатился къ казанѣ Марі.

— Какое счастье! какое!—вскрикнулъ опъ, отирая искреннія, радостныя слезы:—послѣ одиночества—такое свиданіе, послѣ бѣды—утѣшеніе... и я притомъ не одинъ. Позвольте ли, милая путница? здѣсь за дверью плетенецъ, которому вы первая вселили любовь къ прекрасному, къ музыкѣ и стихамъ... помните, въ вашъ первый пріѣздъ сюда? онъ былъ еще вотъ какой шарикъ... а теперь ужъ самъ играетъ на флейтѣ и лихо танцуетъ... Боря! входи!

Травкинъ отворилъ дверь и ввелъ въ нее своего крестника. Двѣнадцатилѣтній Боря, въ коричневой драдедамовой курточкѣ, съ бронзовыми пуговками, и въ большихъ, бѣлыхъ, отложныхъ воротничкахъ, войдя, смущенно и робко поцѣловалъ руку Маріи. Его умные, черные глаза также блестяли счастьемъ и радостью. Общій разговоръ сталъ еще оживленнѣе. Вспоминали прошлое. Маріи разспрашивала о другихъ дальнихъ и ближнихъ сосѣдяхъ. Тѣ умерли, тѣ поженились.

Пришли на поклонъ гостиѣ старыя слуги: сѣдой, главный слуга Дронъ и сморщенная, подъ пару ему, сѣдая буфетчица и чайщица, Софьюшка. Они кланялись, вспоминая, какъ гостила и горевала здѣсь Марья Родіоновна, еще дѣвушкой-невѣстой. «А теперь вы, спаси васъ Господь, уже барыня, да какая красивая и съ дитемъ!»

Остановили, съ привѣтомъ, и вошедшаго за чѣмъ-то сюда, слугу Маріи, Сергѣя, родомъ изъ Свиблова. «Поѣдешь туда, закормятъ тебя родичи!» — шутилъ Алексѣй. Обласкали и вошедшую съ ребенкомъ Сысоевну. Васю познакомили съ дѣтьми хозяевъ. Послѣднія, широко раскрывъ на гостя глаза, сперва молча и съ суровымъ любопытствомъ разглядывали тоже въ началѣ строгое и озадаченное личико незнакомаго имъ Васи, который молча, даже какъ бы враждебно слѣдилъ за ихъ странными для него лицами и движеніями. Но кто-то изъ дѣтей крикнулъ: «А у насъ котенокъ и повозочка!» — и всѣ шумною гурьбой увели Сысоевну съ Васей къ себѣ наверхъ.

Растроганная общими ласками, Маріи чуть не расплакалась. За обѣдомъ не прерывались новые разспросы. Послѣ ужина, передъ сномъ, всѣ собрались въ кабинетъ Алексѣя Андреевича и такъ снова здѣсь заговорились и засидѣлись, что когда опомнились, было уже недалеко до разсвѣта. Травкинъ, съ племянникомъ, даже заночевалъ въ Горкахъ, хотя

отсюда до его хутора считали не болѣе трехъ-четырехъ верстѣ. То же повторялось и въ слѣдующіе дни. Алексѣй и Серафима водили Марію осматривать передѣланную церковь. Марію любовалась ея благоліпиемъ и въ первое же воскресенье, послѣ обѣдни, отслужила въ ней благодарственный, ва счастливый свой путь, молебенъ.

Разспросы и толки обо всемъ, что могло на первыхъ порахъ особенно занимать хозяевъ и гостей, изсякли. Вспоминались еще кое-какія семейныя и постороннія событія, о которыхъ не успѣли подробно поговорить. Но и всѣ подробности, наконецъ, были изложены и обсуждены до мелочей. Марію, тѣмъ временемъ, все установила и по-своему распредѣлила въ отведенныхъ ей комнатахъ. Въ свободные часы, между общими сборами въ столовой или наверху у хозяевъ, она осмотрѣла садъ, гдѣ такъ давно не была, и даже заглянула въ сосѣдній, прилегающій къ саду, лѣсъ. Дорожной усталости и душевнаго волненія у Маріи не осталось и слѣда. Ея мысли приняли обычное, спокойное теченіе. Упрощенная не торопиться съ отъѣздомъ, она рѣшилась долѣе погостить въ Горкахъ. Такъ прошелъ мѣсяць.

Еще въ первое время по пріѣздѣ въ Горки, Марію, въ разговорахъ Алексѣя съ Травкинымъ и съ Нинетъ, нѣсколько разъ слышала имя «Пугачовъ». Оно при ней упоминалось вполголоса и какъ бы неохотно. Видя, что отъ нея нѣчто скрываютъ, повидимому, не желая на первыхъ порахъ тревожить ее, она вспомнила, что это имя мелькомъ она уже слышала въ Москвѣ, и рѣшилась при удобномъ случаѣ разспросить о всемъ Серафиму.

— Скажи, дорогая, я все собиралась и забывала у тебя узнать,—обратилась она къ Серафимѣ, когда та послѣ ужина, однажды, проводила ее наверхъ и присѣла у нея въ спальнѣ:—этотъ, какъ его, Пугачовъ, что ли,—что слышно о немъ?

— Ахъ, ужъ и не говори,—отвѣтила педовольно Серафима:—сколько вѣсти о немъ испортили крови! Въ первое время, когда прослышали о немъ, мы не спали по нѣскольку ночей. Положимъ, отсюда до мѣста, гдѣ появился и дѣйствуетъ этотъ звѣрь, далеко, болѣе трехсотъ верстѣ... а все-таки, жутко! Alexis ѣздилъ въ Саратовъ, справлялся; воевода и всѣ увѣряють, что неопасно,—а какъ подумаешь...

— Гдѣ онъ и что съ нимъ?—спросила Марію, расчесывая и свертывая на ночь, передъ зеркаломъ, распущенную косу.

— Нѣтъ, уволь, разспроси лучше мужа.

— Ну, полно, расскажи.

— Но я могу спутать... мало ли что толкуютъ! Охота объ этомъ говорить на ночь?

— Ахъ, нѣтъ, за меня не бойся... лучше знать, быть готовой.

— Да что готовой? Говорятъ тебѣ, что здѣсь неопасно... Ну, этотъ бунтовщикъ поднялъ на Янкѣ казаковъ и часть мужиковъ, увѣряетъ, что онъ государь Петръ Ѳедоровичъ... только сюда ему не дойти, кругомъ войско и приняты мѣры.

— А тамъ на Янкѣ?

Серафима не отвѣчала.

— На Янкѣ, надѣюсь, его одолѣли, разбили?—спросила Марі, оглядываясь на нее.

— Нѣтъ, онъ тамъ усилился, взявъ какую-то крѣпостцу или двѣ, казнилъ нѣсколько офицеровъ, истеранилъ ихъ семьи и теперь, по слухамъ, обложилъ Оренбургъ.

— Какъ? дѣлный городъ? И это считаютъ пустяками?—спросила, снова обернувшись отъ зеркала, Марі.

— Да и я говорю, — дождетесь вы его здѣсь, — смѣются надо мной. Онъ въ лагерѣ подъ Оренбургомъ устроилъ себѣ настоящій дворецъ; стѣны оклеилъ золотою бумагой, отдѣлалъ зеркалами и на-показъ всѣмъ тутъ же помѣстилъ гдѣ-то отбитый портретъ цесаревича Павла, — вотъ, молъ, мой первенецъ, — дойду до Шитера, посажу его съ собой на престолъ.

— Ловкій враль!—сказала, двинувъ плечами, Марі.

— Это еще что! На знаменахъ у него Святой Спасъ и угодникъ Николай, — сказала Серафима: — а едва одолѣетъ какое мѣсто, хуже всякаго людоѣда.

— Что же онъ дѣлаетъ?

— Да нѣтъ, не спрашивай, — говорили страшныя вещи, — можетъ-быть, этого и не было...

— Даромъ не станутъ сочинять.

— И я спорила и доказывала то же. Помилуй, аптекарша изъ Саратова пріѣзжала, также здѣшній землеѣръ, — передавали слышанное отъ бѣглецовъ изъ того края, множество дворянъ онъ убилъ прямо дубьемъ, другихъ повѣсилъ, застрѣлилъ, засѣкъ... тѣхъ казаки пришибли кистенемъ, закололи никами, либо заживо сожгли, а съ какого-то офицера съ живого сняли кожу. Считаютъ злодѣйства сотнями... Страшно!

— Да, небывалые ужасы! — сказала Марі: — что же начальство? посланы ли туда войска?

— Посланы, но ничего не подѣлаютъ; самозванецъ подъялъ помѣщичьихъ, дворцовыхъ и монастырскихъ крестьянъ. Слепой народъ вѣритъ и помогаетъ ему; да и какъ не слушаться его, онъ считаетъ его за настоящаго государя; а что велитъ государь, то, по мнѣнію народа, должно исполнять.

— Согласна, народъ, — но какъ могла вооруженная крѣпость сдать нестройной черни?

— Это дѣйствительно ужасно, — сказала Серафима: — случайность все погубила. Жители, городскіе мѣщане взлѣзли на колокольню и зазвонили въ колокола; гарнизонные солдаты съ испуга повѣрили, что и впрямь со стѣни идетъ, съ войскомъ, самъ государь, не послушались офицеровъ, растворили ворота и вышли навстрѣчу злодѣю, съ знаменами, хлѣбомъ-солью и съ распущенными по плечамъ волосами. Ждали, что онъ всѣхъ помируетъ и наградитъ за вѣрность. Да и какъ было этого не ждать гарнизоннымъ инвалидамъ, когда вслѣдъ за ними вышло духовенство и встрѣтило злодѣевъ съ иконами и крестами?

— И самозванецъ всѣхъ помиловалъ? — спросила Марі.

— Какое! Съ солдатъ снялъ мундиры, обрѣзаль имъ косы, остригъ ихъ въ скобку и всѣхъ обратилъ въ казаковъ, а офицеровъ, торговцевъ и кто случился тамъ изъ дворянъ — безъ жалости повѣсилъ... Итъ не могу, ты лучше спроси Алексѣя или Силу Ѳомича; они все знаютъ.

— Но какъ же вы тутъ живете такъ спокойно? — спросила Марі: — далеко-то, далеко, но злодѣи могутъ нагрязнуть и сюда.

Серафима не знала, что отвѣчать.

— Успокойся, — сказала она: — какъ это ни страшно, Alexis да и всѣ говорятъ, что эти скопища скоро разсѣютъ; туда форсированнымъ маршемъ пошли свѣжіе отряды, а мы, сверхъ того, имѣемъ защиту въ гарнизонѣ и пушкахъ Саратова.

Несмотря на завѣренія золовки, Марі въ ту ночь спала очень плохо. Въ первый же заѣздъ Травкина она сказала ему: «Вы давно такъ любезно предлагаете мнѣ взглянуть на вашу усадьбу, — сегодня я готова, ѣдемъ» — и, когда обра-

дованный Травкинъ, послѣ обѣда, объявилъ ей, что его одноколка подана, она сѣла съ нимъ безъ кучера и, выѣхавъ изъ Горокъ въ поле, спросила его: «Скажите, Сила Ѳомичъ, что это толкуютъ о Янкѣ? невѣроятные ужасы какіе-то, ничего не пойму...»

— Да, дорогая Марья Родіоновна, — отвѣтилъ, подгоняя савраску, Травкинъ: — постигла насъ лютая, политическая чума. Шутка сказать, сбродъ всякой голытьбы, самомерзостныхъ каналій охватилъ, взбудоражилъ цѣлый край и держитъ въ тискахъ, какъ въ нравственномъ лабиринтѣ... И этой гидрѣ, столговому змѣю, нѣтъ до-нынѣ конца; звѣрояростная сволочь, къ позору и огорченію всѣхъ истинныхъ патриотовъ, держитъ нынѣ въ осадѣ, что же? губернской городъ Оренбургъ!

— Да, я слышала. Говорятъ о неистовствахъ злодѣя, о замученныхъ имъ офицерахъ, помѣщикахъ; именъ мнѣ не называли...

— Тамъ погибъ мой братъ Павелъ, я оплакалъ его, жалѣю, но его мало знали въ свѣтѣ... а вотъ храбрый комендантъ Харловъ, трагическая судьба взятой въ плѣнъ красавицы его жены!

— Какъ? погибъ Павелъ Ѳомичъ? гдѣ, когда?—въ ужасѣ спросила Марі.

— А вы этого не знали? что же, однако, я? Алексѣй Андреевичъ вѣдь запретилъ беспокоить васъ...

— Расскажите, гдѣ, когда и какъ погибъ вашъ братъ?— сказала Марі, отирая слезы:—Боже мой, давно ли онъ былъ у насъ въ Москвѣ?

Травкинъ поникъ головой и нѣсколько мгновений молчалъ. Савраска шла въ гору шагомъ.

IV.

— Павелъ былъ у тестя въ Яицкомъ-городкѣ, — началъ Травкинъ, стараясь говорить спокойно, и рассказалъ переданное бѣглецами съ Яицка о Харловыхъ и о томъ, какъ его братъ Павелъ, при возвращеніи оттуда, встрѣтился съ Пугачовымъ, былъ имъ схваченъ и только потому, что онъ дворянинъ и офицеръ, повѣшенъ.

Въ концѣ разказа Травкинъ не осилилъ себя и, тихо всхлипнувъ, отвернулся.

— Но какая причина этого бунта? — спросила Марі,

чтобы хотя нѣсколько развлечь его: — что тянетъ темный народъ къ самозванцу?

— Здѣсь, сударыня моя, — отвѣтилъ Сила Ѳомичъ: — дѣло понятное, а если хотите, такъ и совершенно простое, — возстаніе мужика-армяка противъ боярина, сѣраго порваннаго зипунишки — противъ шелка и пудры, кабацкой голи — противъ всякаго порядка и властей, — чья, молъ, возьметъ?

— Слѣдовательно, возстаютъ недовольные. Но чѣмъ же? Нынѣшняя государыня такая милостивая, о помѣщичьихъ былыхъ насиліяхъ не слышно.

— Чернь, народъ всегда недоволенъ властью, какъ бы она ни была справедлива и добра.

— Но почему же такія неистовыя злодѣйства: висѣлицы, убійства кистенями, дубинами, сдираніе кожъ съ живыхъ людей?

— Какъ повелѣваетъ самозванецъ, народъ такъ и дѣйствуетъ. Злодѣй отлично знаетъ, что дворяне, офицеры и духовенство — противники ему, какъ врагу порядка, и разсылаетъ пріятные черни приказы — не отбывать барщины, не платить и казнѣ, а истреблять дворянъ и всякія власти. Кто разоритъ десять дворянскихъ усадебъ и домовъ, объявилъ онъ, да еще убьетъ столько же помѣщиковъ, въ награду тому онъ обѣщаетъ тысячу рублей и генеральскій чинъ.

— Но какъ же, Сила Ѳомичъ, не пойму я, — отвѣтила Марі: — народъ нашъ религіозенъ, а слыю слушается такихъ варварскихъ приказаній и исполняетъ ихъ! гдѣ же его христіанскія вѣрованія, совѣсть?

— Да какъ же, Марья Родіоновна, и не слушаться ему! Вѣдь, повторяю вамъ, это, по мнѣнію его, то-есть по убѣжденію, хотя и ложному, повелѣваетъ ему самъ императоръ, государь... Какъ же послушаться? Живъ, молъ, идетъ къ вамъ царь Пётръ Ѳедоровичъ!

— Да народъ-то нашъ, вѣдь, добрый, — не могла успокоиться Марі: — онъ вѣрующій, повторяю вамъ, знаетъ, слышалъ, наконецъ, что неповинныхъ ни въ чемъ не казнить, не истязуютъ... Этого я не могу взять въ толкъ!

— Хороши вѣрующіе! — сказалъ Травкинъ: — большинство бунтовщиковъ, вѣдь, раскольники. Чтò о нихъ говорятъ? налетаютъ они на церковь, рвутъ съ иконъ оклады, поповскія ризы отдають женамъ на исподницы, на дискосахъ мясо ѣдятъ, утираются антимиссами, какъ полотенцами. Это ли христіане?

— Но что же имъ нужно? чего они добиваются? — спросила Марі.

Одноколка въ это время вѣхала въ дѣсь.

— Казаки, знающіе, что самозванецъ не государь, — отвѣтилъ Травкинъ, снова придерживая коня: — думаютъ, дай, молъ, на престолъ посадимъ мужика-царя... всякой голытьбѣ будетъ благодать! Мужичье царство оснуемъ... Потому-то въ помощь къ нимъ и къ самозванцу охотно шествуетъ такая же всякая подлость, все холоństwo и чернь, какъ они сами, и всѣ они, съ своимъ вождемъ, ждутъ не дождутся растерзать всѣхъ чиновниковъ, офицерство и дворянъ. И какіе у него подобраны помощники палачи! — одні клички, поистинѣ сказать, чего стоятъ! Въ камергерахъ у злодѣя состоитъ казакъ Давилинъ, а въ капитанахъ Мертецовъ.

Травкинъ смолкъ. Марі въ волненіи обдумывала все роковое и ужасное, слышанное отъ него.

— Скажите откровенно, Сила Ѳомичъ, — спросила она его: — здѣсь не безопасно? не за себя боюсь, за ребенка... не уѣхать ли отсюда?

Травкинъ подумалъ.

— Оно точно, — отвѣтилъ онъ: — Алексѣй Андреевичъ и другіе не раздѣляютъ моихъ сомнѣній. И надо прибавить, въ здѣшнихъ разсказахъ и письменныхъ ремаркахъ отъ стороннихъ лицъ немало всякихъ преувеличеній и авантюрьерскаго вранья. Что же до здѣшнихъ мѣстъ, то по совѣсти скажу, во-первыхъ, наши палестины далеко отъ того края, а во-вторыхъ, и народъ здѣсь въ полной еще тишости и не таковъ сумнителенъ и зломысленъ, какъ въ тѣхъ дикихъ, стенныхъ пустыряхъ, по этому Янку и хоть бы по Узенямъ. Здѣшняя чернь спокойна, и неслышно еще промежъ нея бездушныхъ и крови жаждущихъ мутьяновъ. Да и чего нашимъ-то здѣшнимъ мутиться? Алексѣй Андреевичъ, по чести сказать, не владѣлецъ, а отецъ своимъ подданнымъ, — и всѣ подтвердятъ, добрѣйшій; воды не замутитъ и скорѣе послѣднюю рубашку отдастъ мужику, чѣмъ обидитъ его. Таковы и прочіе помѣщики въ здѣшней окольности... не говорю о себѣ, но и другіе — Шихматовы, Толыгины, Болѣтины, вы ихъ знаете, Лаптевъ, ну, всѣ... ни насилій, ни стѣсненій подданнымъ. Скажу, наконецъ, болѣе: и тамъ, въ той дикой глуши, если бы не колеблемость нерегулярныхъ, сирѣчь казачества, коего

неспорядочное житье правительство рѣшило нынѣ ограничить,—не было бы открытаго мятежа и тамъ.

— Странно, — сказала Марі: — мой мужъ служить при главнокомандующемъ въ Москвѣ, а тамъ объ этомъ почти не знаютъ, и если говорили, то вскользь, увѣряя, что смуты ѡскорѣ будутъ прекращены.

Одноколка, миновавъ лѣсъ, стала спускаться съ холма въ долину.

— Вонъ мое жилие, — указалъ Травкинъ съ холма: — то мой садъ, а среди него домишко... Надеждъ, сударыня, и у насъ не мало, а на дѣлѣ что-то не такъ; злодѣй открыто разсылаетъ манифесты, грозитъ взять Оренбургъ и двинуться оттуда къ Волгѣ и къ Москвѣ. Всѣ мы давно погибли бы, извините, аки черви капустные, и злодѣй перебилъ бы и передумилъ бы насъ всѣхъ, если бы не такіе патріоты, какъ князь Голицынъ и Маисуровъ. Тѣ уже двигаются къ нему...

— Манифесты, вы говорите? что же онъ въ нихъ оновѣщаетъ?

— Казакамъ сулитъ на Яикѣ поставить главное царство и Яикъ объявить на мѣсто Петербурга и Москвы, а всеи вообще черни, на многія лѣта, оовѣщаетъ разныя льготы и перевѣсъ надъ прочими сословіями. Въ Саратовѣ ходила письменная ремарка съ одного изъ такихъ его воровскихъ листовъ.

— Ну, и что же это за произведеніе? вы его читали?—спросила Марі, когда одноколка уже вѣзжала во дворъ, обсаженный вербами.

— Безграмотно-съ и совсѣмъ дѣтски-грубо, — сейчасъ видно, что у него нѣтъ еще знающихъ, толковыхъ секретарей... народу же это, разумѣется, невдомекъ.

Травкинъ ввелъ гостью въ домъ. Они обошли его и садъ и сѣли на крыльцѣ, у котораго крестникъ Травкина Боря держалъ подъ уздцы савраску.

— Видѣлъ ли кто этого Пугачова?—спросила Марі Травкина:—каковъ онъ изъ себя? Похожъ ли на покойнаго императора Петра Федоровича?

— Ничуть,—отвѣтилъ Травкинъ:—злодѣй средственнаго роста, сутулый, рябоватый и невзрачный мужичонка, шьяница, грубіянь и притомъ волокита, похитилъ въ разныхъ мѣстахъ и держитъ при себѣ нѣсколько не только простыхъ дѣвокъ, но и боярскихъ дочерей. А какъ сядетъ на коня,

сущая, говорятъ, картина, — молодецъ и безстрашенъ, кидается прямо въ огонь; не только мужики, — солдаты, глядя на него, говорятъ: и впрямь онъ царь, — его, моль, и пуля не беретъ... Одно, впрочемъ, дѣло толки, а другое — настоящее войско; онъ его еще не видѣлъ, а какъ встрѣтить, всѣмъ его шаикамъ не сдобровать.

Маріи встала, прощаясь.

— Такъ вы думаете, во всякомъ случаѣ, здѣсь еще нечего опасаться? — спросила она.

— По совѣсти спрашиваете?

— Да, вамъ я повѣрю отъ души.

Травкинъ радостными глазами взглянулъ на Дуганову.

— Для васъ, Марья Родионовна, — сказалъ онъ, снова подсаживая гостью въ одноколку: — за вашу лестный для меня визитъ, не только услуги, жизнь готовъ отдать... Да-съ, густой, беспросвѣтный туманъ, нечего сказать, еще носится надъ нами. Но, голубушка вы моя, дорогая барынька, велика милость Господня... надо именно думать, что зло не пойдетъ далеко, — здѣшніе крестьяне еще снокофны, и сѣмя бунта, смѣю думать, въ скорости, на общее благо, будетъ истреблено.

Савраска весело помчалась обратно въ Горки.

Травкинъ былъ правъ: не только горѣцкіе, но и всѣ окрестные крестьяне вели себя вполне смирно, охотно исполняли свои работы, съ барщины возвращались съ иѣсьями, а идя мимо господскихъ хоромъ, вѣжливо снимали шапки и кланялись, хотя бы въ окнахъ никого не видѣли изъ баръ. — «Что, ребята, слышно о злодѣѣ?» — спрашивалъ ихъ иногда на работахъ Алексѣй. — «О комъ, батюшка?» — «Да о Пугачовѣ...» — «А Господь его знаетъ, далеко онъ и ничего мы о немъ не слыхамши». — «Сказываютъ, въ царіи мѣтитъ», — улыбался Алексѣй. — Мужики строго смотрѣли на барина. — «Путишь, сударь, — отвѣчали они: — куда сиволалому до царя!.. вонъ Ѳедька въ старосты норовиль, да и то шею ему добре набили». — Толпа громко хохотала. Алексѣй, успокоенный, возвращался домой. — «Ну, наши еще надежны, — ихъ скоро не собьешь!» — разсуждалъ онъ и старался еще болѣе угождать крестьянамъ, — далъ имъ лѣсу на избы, инымъ съ весны обѣщавъ отвести лишняго сѣнокоса, бабамъ къ посту простилъ срочный взносъ холстовъ, куръ и яицъ. Въ Гор-

какъ и кругомъ въ окрестныхъ деревьяхъ все, дѣйстви-
тельно, было вполне спокойно.

Какъ ни старалась также быть спокойной, Маріи не на-
ходила въ себѣ желанной, душевной тишины. Она стала
рассказывать, что, вмѣсто тихой, далекой Малороссіи, при-
ѣхала сюда. Раздумывая о предположенной поѣздкѣ въ Сви-
блово, она пришла къ убѣжденію, что, поселясь въ той, еще
болѣе глухой деревушкѣ, она будетъ менѣе безопасна, чѣмъ
въ Горкахъ, въ близкомъ сосѣдствѣ съ такимъ большимъ
городомъ, какъ Саратовъ, гдѣ, по слухамъ, было достаточно
войска и всякихъ средствъ къ оборонѣ, не говоря уже о
лучшихъ удобствахъ къ жизни. Рѣшивъ поэтому еще про-
быть въ Горкахъ, она послала въ Свиблово, съ письмомъ
къ теткѣ, слугу Сергѣя, который кстати просился туда, такъ
какъ его сестра была замужемъ за кѣмъ-то изъ тамошнихъ
крестьянъ. Давъ ему письмо и денегъ на дорогу, она снаб-
дила его наставленіями, какъ получше и не возбуждая по-
дозрѣній осмотрѣть тамошній домъ, удобенъ ли онъ для зимы,
есть ли тамъ особая теплая комната для Васи, да съ ле-
жаночкой, не дуетъ ли въ окна и чѣмъ топится домъ,—
дровами или гречаною трухой, отъ которой заводится
много мышей.

— Тебя жду обратно черезъ три недѣли,—сказала Маріи
Сергѣю:—а тетушкѣ кланяйся и передай, что если не за-
хвораю и все будетъ благополучно, мы съ Богомъ двинемся
и приѣдемъ къ ней по первому санному пути.

Шли недѣли; прошелъ мѣсяць и начался другой. Настала
половина октября. Сергѣй не возвращался. Маріи написала
теткѣ въ Самару; отвѣтъ пришелъ, что Сергѣй, съ родными
сестры, ѣздилъ на богомолье въ какой-то монастырь, возлѣ
Самары, гдѣ свихнулъ ногу, хотя началъ уже оправляться.
Тетка просила Маріи скорѣе обрадовать ее приѣздомъ. Но-
выхъ слуховъ о самозванцѣ въ Горки не приходило. Знали
только, что онъ все еще подъ Оренбургомъ, гдѣ, по саратов-
скимъ свѣдѣніямъ, ожидалось полное его истребленіе отря-
домъ шедшаго туда Голицына. Кстати настала ранняя стужа,
степи замело.

Съ первымъ снѣгомъ жизнь въ Горкахъ потекла уютнѣе
и веселѣе. Алексѣй не стѣснялся въ домѣ расходами. Въ
теплыхъ и свѣтлыхъ комнатахъ просторнаго дома чуть не

каждый день были гости. Кромѣ Травкина, вблизи проживалъ другой, тоже страстный любитель музыки, старикъ-вдовецъ, изъ отставныхъ военныхъ, Лаптевъ, прозванный, за жизнь въ лѣсномъ своемъ хуторѣ, Волкомъ. Онъ игралъ на скрипкѣ. Двѣ его дочери обучались въ пансіонѣ, въ Саратовѣ, и тоже на праздники посѣщали Горки. На одиночествѣ Лаптевъ, кромѣ скрипки, короталъ время охотой, хотя уже плохо видѣлъ, и въ шутку говорилъ, что на охотѣ надо такъ выпить, чтобы изъ одного взлетѣвшаго вальдшнепа казались три... «бей въ средняго, и навѣрное попадешь!»—Сосѣди цѣлыми семьями съѣзжались съ утра поиграть въ карты, побесѣдовать и послушать музыку. Радужное гостепріимство состоятельной и домовитой, стародворянской семьи охватывало всѣхъ, въ томъ числѣ и Марію, своими ласкающими, мягкими волнами. Короткіе дни и длинные вечера пролетали незамѣтно. Гости въ этомъ, искони радушномъ, пріютѣ, среди общаго довольства, жизни нараспашку, искренняго смѣха и веселостей безъ загвѣй, чувствовали себя, какъ дома. Свѣтлое настроеніе сошло и на душу Маріи. Ничто въ окружающемъ болѣе не волновало и не тяготило ея. Вася окрѣпъ и поздоровѣлъ; дѣти хозяевъ были также здоровы. Цѣлый день весело раздавались по комнатамъ ихъ голоса. Одно подчасъ смущало Марію: она съ ужасомъ стала замѣчать, что никогда, до сей поры, не сознавала она себя настолько спокойною и счастливою, какъ теперь. Образъ мужа невольно воскресалъ и оживлялся въ ея душѣ.—«Что, если бы онъ увидѣлъ меня теперь?»—разсуждала она:—«если бы перенесся, заглянулъ сюда? Что же, самъ ты, подозрительный, злой и неправый, оттолкнулъ отъ себя это тихое счастье, эту мирную, искреннюю жизнь; ты далеко, даже не подозрѣваешь этого,—ну, и казись...»

Слушая пѣніе Серафимы подъ арфу, на которой та въ послѣднее время выучилась играть у сосѣдки, Баратаевой, Марія и сама вспомнила свою временно-забытую любовь къ музыкѣ, отыскала въ нотахъ Серафимы нѣсколько пьесъ Скарлатти, Пасквини и Баха, которыя когда-то здѣсь разучивала, и съ увлеченіемъ занялась игрой на клавикордахъ. Съ ея легкой руки, въ Горкахъ стали исполняться не только итальянскія рондо и пасторали, сонаты и фуги Баха, но и кантаты и цѣлыя аріи изъ гайдновскихъ оперъ и ораторій. Здѣсь, благодаря Серафимѣ и Маріи, начали устраиваться

даже трио и квартеты. Серафима пѣла, Марі играла на клавинодахъ, Травкинъ на віолончели, его крестникъ на флейтѣ, а Лаптевъ-Волкъ на скрипкѣ. Послѣ успѣшнаго опыта съ баховскими прелюдіями и саньтусами, въ Горкахъ, наконецъ, задумали къ Рождеству исполнить цѣлый концертъ изъ ораторіи Гайдна «Сотвореніе міра».

Небольшое, дружно-слоченное общество не замѣчало въ этихъ занятіяхъ, какъ текло время.

V.

Однажды, послѣ ужина, когда ближніе изъ гостей разѣхались, а болѣе дальніе разошлись по отведеннымъ имъ комнатамъ, Серафима, разговаривая съ Марі и доведя ее со свѣчей въ спальню, собралась уже съ нею проститься и остановилась. Выславъ горничную и продолжая какой-то обычный разговоръ, начатый наверху, она подождала, пока Марі раздѣлась и легла въ постель,—сказала: «Ну, пора, однако, мнѣ и тебѣ спать»,—и поцѣловала Марі, но вмѣсто того, чтобы уйти, сѣла на кресло у ея кровати и задумалась.

— Чтò странно,—произнесла она: — ты, Маша, ни единымъ словомъ до сихъ поръ не намекнула мнѣ объ одномъ обстоятельстве.

— О какомъ?—спросила, вспыхнувъ, Марі.

«Это о Глѣбѣ, навѣрно о немъ!»—подумала она, замирая.

— Послушай, будемъ откровенны, — проговорила Серафима:—отчего ты такъ недовѣрчива со мной? относишься ко мнѣ, какъ бы съ какимъ-то снисходительнымъ... не то, что прощеніемъ, а даже—презрѣніемъ.

— Чтò ты, дорогая? да развѣ я могу, смѣла бы?—вскрикнула Марі, вскакивая и садясь на кровати.

— Нѣтъ, нѣтъ, не отпирайся... Почему ты ни полусловомъ не намекнула, не спросила меня о томъ печальномъ прошломъ... о кіевскомъ событіи?

На душѣ Марі отлегло.

— Да о чемъ же спрашивать?—сказала она:—ну, развѣ непонятно? было мимолетное, легкомысленное увлеченіе... ну, глупая и, разумѣется, невинная вспышка безумной и слѣпой молодости, не больше... о чемъ же спрашивать?

Серафима схватила руку Марі и съ чувствомъ пожала ее.

— Такъ ты вѣришь мнѣ, допускаешь,—спросила она:—что я, при всемъ безобразіи этого поступка, осталась... могла остаться ненорочной?

— Успокойся, милая, дорогая,—клянусь тебѣ, я ни въ началѣ, ни потомъ, когда все это произошло и огласилось, иначе не думала и не могла думать о тебѣ...

Серафима взглянула на кіотъ съ образами, передъ которыми, заботами Сысоевны, въ комнатѣ Маріи постоянно горѣла лампада.

— Слушай, — сказала она, вставъ и съ чувствомъ протирая руки къ кіоту:—моими дѣтьми и всѣмъ святымъ я клянусь тебѣ, — я дѣйствительно, благодаря Промыслу Господню, осталась правою и чистою передъ совѣстью и мужемъ... Alexis, этотъ дивный, божественно-добрый человекъ,—продолжала, сдерживая слезы, Серафима:—отъ сердца простилъ мою глупость, далъ слово все забыть и забытъ... Я боялась одного, — да, да!—день и ночь я мучилась, что подумаешь и скажешь обо мнѣ ты?

Маріи обхватила Серафиму и нѣжно привлекла ее къ себѣ, осыпая поцѣлуями.

— Ахъ, Маріи, что я пережила и что испытала, — продолжала, удерживая рыданія, Серафима:—это было какое-то дикое, слѣшое, необъяснимое безуміе. Начать съ того... Приѣздъ тогда отсюда, изъ тихой деревни, въ шумную Москву... началось какое-то нравственное опьянѣніе, вѣчные выѣзды въ театры, на концерты и балы... Масса новыхъ знакомыхъ вскружила голову. То и дѣло мелькали новыя лица. Меня хвалили, льстили мнѣ. А тутъ этотъ домашній спектакль. Я почей не спала, твердя роль и думая, какъ это я выйду, — сотни глазъ на меня глядятъ... И вотъ, я очутилась, сама не своя, на сценѣ передъ публикой. Помню, какъ охватилъ меня трепетъ, какъ я была потрясена собственною игрой и пѣніемъ. Гдѣ-то далеко гремѣли шумные аплодисменты; я чуть не упала въ обморокъ отъ восхищенія и боязни за себя. Потомъ поѣздка съ факелами на мызу, танцы тамъ чуть не до зари, ужинъ съ шампанскимъ, а кстатѣ, притомъ, всѣ упранивали меня пить и, вѣроятно, усердно подносили. Этотъ несчастный Прядышевъ, сильно влюбленный въ меня, давно молить меня съ нимъ бѣжать; я, разумѣется, на это только смѣялась... а пастушка, которую я играла, тоже,—какъ помнишь, въ пьесѣ, на сценѣ,—куда-то бѣжала съ обожателемъ... Ну, я въ непонятномъ забытьѣ, недолго думая, сѣла въ сани, — бѣшеная тройка помчалась; хмельная молодежь все это устроила... Мнѣ грезилось, что я ѣду

обратно въ Москву, и только утромъ я увидѣла, что это не Москва и что мы уже въ Подольскѣ... Ты спросишь, почему я не возвратилась? Одно скажу—меня охватывало то же безуміе, тотъ же полусонъ... Мнѣ мерещилось, что мы несемся въ какой-то опьяняющей сказкѣ; спать хотѣлось и было такъ весело, а мой сопутникъ все твердилъ мнѣ за-вѣренія, что вотъ-вотъ снѣгъ, ухабы, тройки кончатся, мы промчимся черезъ холодную Россію и скоро очутимся въ невиданныхъ, теплыхъ, райскихъ странахъ, съ пальмами и вѣчно-цвѣтущими розами, подъ небомъ роскошной Италіи. Мысль о Москвѣ не пугала, а смѣшила меня... Вотъ,—думала я, наслаждаясь бѣшеною ѣздой:—тамъ ахаютъ, бьютъ тревогу, ищутъ! пускай...

— Чудеса ты рассказываешь! — не утерпѣла замѣтить Маріи.

— Безумный мальчикъ,—продолжала Серафима:—платилъ двойные и тройные прогоны; мѣняя лошадей и едва успѣвая обогрѣваться на станціяхъ чаемъ, мы неслись, какъ на крыльяхъ. Въ Серпуховѣ, пока мнѣ подали обѣдать, Прядышевъ вдругъ какъ бы что-то вспомнилъ, ушелъ куда-то и возвратился самъ не свой. Я въ ужасѣ чуть не лишилась чувствъ: — взглянула, онъ былъ навеселѣ... ласковый, такой же вѣжливый, но едва стоялъ на ногахъ. Гдѣ? спрашиваю:—какъ? молчитъ. Что же тутъ было еще говорить или дѣлать? Возвратиться? я и молила его... онъ обѣщавъ взять обратную подорожную изъ ближайшаго города—и обманулъ... А ужъ что было потомъ—и не спрашивай:—далѣе онъ просто напивался! Этой страсти мнѣ и въ голову не могло придти, а онъ, появляясь въ Москвѣ, среди лучшаго общества, тайно кутилъ и пилъ въ грязныхъ притонахъ, о чемъ никто тогда и не зналъ. На остальномъ пути я уже не позволяла ему садиться рядомъ съ собой; онъ ѣхалъ либо на облучкѣ, либо отъ станціи до станціи безпробудно спалъ у меня въ ногахъ, на двѣ саней. Опять порывалась я бросить его, ѣхать назадъ, но у меня не было ни пас-порта, ни обратной подорожной, ни денегъ.

Серафима закрыла руками глаза.

— Воображаю, бѣдная, твое положеніе,—сказала Маріи.

— Ужасъ! а лошади мчатся, мѣняются станціи. Да еслибы и удалось какъ-нибудь достать денегъ и лошадей, какъ было бросить его, среди незнакомыхъ людей, на дорогѣ? онъ пока

велъ себя тихо, а увидя мою попытку къ бѣгству, съ-пьяну могъ бы поднять шумную исторію, безобразничать... Спасъ меня Кіевъ... При вѣздѣ въ него, Придышевъ увидѣлъ нѣсколько троекъ съ цыганами и цыганками, узнать между ними свою прежнюю Дульцинею и пришелъ въ неописанный восторгъ:—вотъ, кричить, услышишь божество, соловья: что за голосъ, душа!.. Едва мы прибыли въ гостиницу и помѣстились,—разумѣется, порознь, — онъ наскоро умылся, нарядился и вылетѣлъ... сейчасъ, говоритъ, буду, привезу ее сюда!.. Остальное ты знаешь; болѣе мы не видѣлись. Приѣзжалъ звать меня Глѣбъ... но не будемъ вспоминать! Онъ такъ неожиданно и такъ сухо, свысока, объявилъ мнѣ о прощеніи мужа... ахъ, могла ли я вдругъ тогда опомниться, принять это великодушное прощеніе?

Кончивъ разсказъ, Серафима склонила голову. Ея щеки пылали, грудь тяжело дышала.

— И вотъ все мое горе, мой бывший грѣхъ! — сказала она, щипля конецъ мокраго отъ слезъ платка:—долго я не рѣшалась писать мужу, думала покончить съ собой, либо скрыться навсегда, идти въ монастырь... да и теперь иной разъ совѣстно людямъ въ глаза смотрѣть... а вѣдь и въ помыслахъ, клянусь, и въ помыслахъ не было у меня тѣни грѣховной...

Маріи быстро спустила ноги на коврикъ у кровати, поймала ими туфли, обула ихъ и, накинувъ на плечи кофту, сѣла на краю постели, рядомъ съ Серафимой.

— О, да, ты чиста, повторяю тебѣ, чиста, и твой дѣтски-взбалмошный проступокъ тебѣ прощень не однимъ мужемъ, всѣми!—сказала она:—но ты, все-таки, подала поводъ, небдуманно бѣжала... Вѣдь, правда же, ты открыто пренебрегла приличіями—съ постороннимъ человѣкомъ бѣжала въ такую даль? другія ничего подобнаго не дѣлали...

Серафима вспыхнула. Ея глаза съ изумленіемъ устремились на Марію.

— Что ты хочешь этимъ сказать?—спросила она:—я недостойна, по-твоему, прощенія?

— Не о тебѣ, дорогая, ахъ, не о тебѣ! — отвѣтила Маріи:—есть другія... ты меня также поймешь и можешь быть пожалѣешь.

Она ломала руки, не находя словъ.

— Слушай, Серафима, — сказала она: — ты все мнѣ от-

крыла, а я была неискренна съ тобой. Тебѣ не все извѣстно; я стѣснялась, не имѣла духа все тебѣ объяснить. Между тобой и твоимъ мужемъ былъ хоть какой-нибудь, по существу, пустой, виѣшній, но все-таки поводъ къ разладу. Ты откровенно сознала свою вину; великодушный, честный, добрый мужъ понялъ дѣло и все тебѣ простилъ, все забылъ; вы снова живете въ полномъ согласіи и счастьѣ. А я... знаешь ли ты?—сказала Марі, ухвативъ Серафиму за руку:— между мною и Глѣбомъ все кончено... Да, я бросила его, мы разстались навсегда!

Серафиму, какъ громомъ, поразило это признаніе. Она безъ движенія, безъ словъ, молча смотрѣла на золовку широко открытыми глазами.

— Какъ? разстались? когда? почему? — выговорила она наконецъ.

— Изъ дикой, слѣпой ревности Глѣбъ придрался къ ничтожному поводу, — отвѣтила Марі: — и глубоко оскорбилъ меня, неповинную ни въ чемъ.

— Но ты могла же оправдаться, доказать?

— Мнѣ доказывать?—вскрикнула Марі: — кому? въ тѣ часы, — когда я умирала отъ страха за жизнь ребенка, а онъ былъ въ отсутствіи... когда я по цѣлымъ днямъ молилась, прибѣгая къ помощи врачей... сперва онъ получилъ безымянный извѣтъ, а потомъ угрозой вытребовалъ отъ Спесивцева мои письма... и рѣшился обвинять меня по нимъ.

Слезы не дали продолжать Марі. Осливъ себя, обрываясь и снова плача, пугаясь въ словахъ и забывая подробности, она кое-какъ рассказала исторію своего столкновенія и разрыва съ Глѣбомъ.

— И это за пять лѣтъ брака, честный мужъ и семьянинъ!—сказала, кончивъ, Марі:—осыпать позорными укорами и ни слова, ни признака раскаянія. Что же, буду, по волѣ его, вдовой живого мужа!

— Пустяки, забудется! — старалась утѣшить ее Серафима:—посуди, наконецъ, сама... вѣдь между вами ничего же въ сущности не было, даже тѣни какихъ-либо сердечныхъ съ твоей стороны увлеченій. Я знаю тебя... ты осмотрительна, горда, всегда любила мужа, а рыжий и лысый Спесивцевъ—ну, развѣ могъ онъ явиться соперникомъ—и кому же?—Глѣбу!

— Да, да,—вскричала Марі: — это-то и возмутительно!

Никогда и ни за что я не прощу ему этого. Такое возмутительное обхожденіе; безпощадный укоръ въ измѣнѣ, въ развратномъ поведеніи... онъ даже посягнулъ на неповиннаго ребенка!—бѣшено кричала Марі:—въ глаза мнѣ бросилъ упрекъ, что это не его дитя... Вася-то, Васенька!

Марі, рыдая, упала головой въ подушку.

— И все это, повѣрь мнѣ, кончится миромъ и раскаяніемъ,—успокоивала ее Серафима:—завтра же я ему напишу.. мы объяснимъ ему, онъ явится, и ты охотно простишь ему злую, ревнивую выходку.

— Никогда! ни за что! на всю жизнь, конечно, слышишь ли?—вопила, глядя на образъ, Марі:—ты не знаешь этого самолюбиваго, сухого чудовища... Онъ сразу высказался... Языкъ отсохни, если я позволю себѣ хоть единымъ словомъ намекнуть ему о примиреніи. Пусть помнитъ, если смотрѣлъ на меня, какъ на рабыню, пусть знаетъ, что есть самолюбіе и у рабы!

«Ну, ты серднисься, еще зла на него, — подумала Серафима:—а мы съ Alexis все-таки ему напишемъ, чтобы онъ не дурилъ и скорѣе пріѣзжалъ бы сюда. А тутъ ужъ устроимъ примиреніе. Она клянетъ его, осыпаетъ обвиненіями, — и онъ стѣдитъ ихъ, — но и въ гнѣвѣ видно, какъ онъ дорогъ ей и какъ горячо, попрежнему, она любитъ его!»

Серафима еще посидѣла у Марі. По возможности успокоивъ ее, она уложила ее, поправила ей подушки, прикрыла одеяломъ, даже перекрестила и, съ облегченнымъ сердцемъ, поднялась къ себѣ наверхъ, гдѣ утромъ все и рассказала мужу. Въ тотъ же день они оба написали и послали по почтѣ письма Глѣбу въ Петербургъ.

VI.

Узнавъ объ отъѣздѣ жены изъ ея письма черезъ Надю Шимкову, Глѣбъ впалъ въ крайнее смущеніе и раздраженіе. Послѣ рѣзкаго и до неприличія грубаго объясненія съ нею, онъ самъ, рѣшившись бросить ее, могъ ожидать и отъ нея всякаго, крайняго поступка, новой бурной сцены съ нимъ, присылки къ нему, съ требованіемъ объясненій, Спесивцева, но столь рѣшительнаго, быстрого и открытаго разрыва онъ никакъ не ожидалъ. Тѣнь нѣкотораго раскаянія и даже жалости къ женѣ шевельнулась въ душѣ Глѣба. Избѣгая всякой огласки и чтобы не дать домашнимъ ни малѣйшаго повода къ подозрѣніямъ и пересудамъ, онъ по-

звалъ слугу, спокойно приказалъ ему отложить запряженный и поданный уже къ крыльцу экипажъ, вышелъ какъ бы прогуляться, крикнуть на Покровѣ того же извозчика Фролку, сѣлъ въ его дрожки и велѣлъ везти себя къ Покрову въ Левшинѣ. Глѣбъ увидѣлъ знакомый домъ и взошелъ по лѣстницѣ къ Спасивцеву.—«Удивится этотъ гусь, да чортъ его возьми!—думалъ онъ:—нечего церемониться! допрошу его,—навѣрное знаетъ и скажетъ, куда уѣхала жена».—Отворивъ дверь, онъ увидѣлъ, что передняя и кабинетъ доктора были совершенно пусты; валявшійся на полу соръ и клочки бумажекъ показывали, что жилецъ оставилъ эту квартиру. Въ полуотворенную дверь изъ коридора выглянулъ, съ метлой въ рукахъ, старикъ-дворникъ, изъ отставныхъ солдатъ.

— Вамъ кого?—спросилъ онъ.

— Гдѣ докторъ?

— Съѣхали.

— Куда?

— Не можемъ знать.

— На новую квартиру, что ли?

— Должно, совсѣмъ изъ города.

— Но куда же?

— Не можемъ, ваше благородіе, знать.

— Послушай, ты мнѣ скажи; я требую, — возвысилъ голосъ Глѣбъ: — я служу при главнокомандующемъ, — не можетъ-быть, чтобъ ты не зналъ отъ его прислуги.

— Извольте, ваше сіятельство, спросить у хозяйки; мы что? они съ нею разсчитывались, а мы, сейчасъ помереть, въ томъ непричинны.

Глѣбъ пошелъ къ хозяйкѣ. Его приняла больная и полуглухая старуха, давно не встававшая съ постели. То и дѣло камля и оправляя сползавшій съ сѣдой головы платокъ, она спросила, что ему нужно. Глѣбъ объяснилъ.

— Семень Захарычъ, известное дѣло, — отвѣтила старуха:—былъ жилецъ изъ жильцовъ, тихій, аккуратный и не токмо платилъ въ срокъ, жилъ безъ всякаго окаянства, а еще лѣчилъ, сказать, даромъ... Куда же выѣхалъ, не знаю, не то къ сродственникамъ куда-то, не то на кондиціи въ деревню, къ какому-то богатому человѣку, за Тверь.

— На-время?

— По видимости, надолго, если не навсегда... распродалъ небель и прочее... дешево распродалъ, сгнѣшилъ...

— На почтовыхъ онъ уѣхалъ или на долгихъ?

— Кажись, батюшка, на почтовыхъ,—я хвораю, не встаю,—входили ямщикъ, въ армякѣ и съ орломъ на шапкѣ.

«Такъ вотъ оно что, теперь ясно, — разсуждалъ Глѣбъ, выйдя на улицу:—они, очевидно, условились и все заранѣе обдумали; выѣхали порознь, а гдѣ-нибудь далѣе и встрѣтятся».

Бѣшенство овладѣло Глѣбомъ. Онъ, едва помня себя, возвратился домой, упалъ на диванъ, стоналъ, билъ себя кулакомъ въ голову и до крови грызъ себѣ ногти. Онъ было рѣшилъ ѣхать въ Кунцово, допытаться, кто изъ ямщиковъ и на какую дорогу вывезъ его жену съ мызы? Предполагалъ обратиться и въ полицію, также на почту, чтобы узнать, по какому виду и куда именно выѣхалъ изъ Москвы Спесивцевъ,—но тутъ же безнадежно и злобно махнулъ на все рукой.—«Какая польза,—сказалъ онъ себѣ:—освѣдомляться, слѣдить и раскапывать эту грязь? Не все ли равно? такъ или иначе, но я одураченъ и проведенъ... Проклятіе измѣнницѣ и ея соблазнителью! пусть будетъ, чему быть суждено. А съ нею отнынѣ исторія разъ навсегда кончена!»

На другой день Глѣбъ явился къ главнокомандующему. Онъ доложилъ ему, что устроилъ домашнія дѣла, для которыхъ пріѣзжалъ, и что, если князь разрѣшитъ, онъ готовъ немедленно снова возвратиться въ Петербургъ. Получивъ согласіе князя, онъ откланялся, взялъ нужныя бумаги, заѣхалъ къ себѣ домой, все заперъ тамъ на замки, сдалъ подъ охрану оставленной прислугѣ, уложился, послалъ за почтовыми и въ тотъ же вечеръ выѣхалъ обратно въ Петербургъ. Расписываясь въ Клину объ уплатѣ прогоновъ и въ полученіи лошадей, онъ хотѣлъ было освѣдомиться, откуда куда проѣхалъ Спесивцевъ, и уже сталъ перелистывать книгу, но остановился и съ презрѣніемъ отбросилъ ее на конецъ стола.—«Нѣтъ, Господь съ ними! — рѣшилъ онъ: — забыть ихъ, забыть окончательно и скорѣй. Украденной души не воротили! Начать новую, спокойную жизнь... Служба—вотъ отнынѣ моя задача, вотъ удѣлъ! она спасала не разъ меня прежде, спасетъ и теперь!»

Въ первое время, по возвращеніи въ Петербургъ, Глѣбъ былъ сильно не въ духѣ. Одинокая жизнь въ номерѣ гостиницы тяготила его, и онъ очень обрадовался, когда ему представилась возможность устроиться на квартирѣ съ давнимъ своимъ знакомымъ, гвардейскимъ офицеромъ Галахо-

вымъ, состоявшимъ также и при канцеляріи фаворита государыни, князя Орлова. Покойный отецъ Галахова былъ въ молодости друженъ съ отцомъ Глѣба. Возлагая теперь всѣ свои надежды на Орлова, какъ по дѣлу, порученному ему Волконскимъ, такъ и относительно своей дальнѣйшей карьеры, Глѣбъ былъ радъ, что и Галаховъ, близкій къ Орлову, могъ ему пособить. Но его сожитель, откровенный съ нимъ во всемъ, лично объ Орловѣ и о поручаемыхъ ему дѣлахъ молчалъ. Выбравъ удобный часъ, Глѣбъ навѣстилъ Орлова. Князь милостиво и ласково встрѣтилъ его.

— Очень радъ, Дугановъ, что ты возвратился,—сказалъ онъ:—государыня склоняется окончательно къ мнѣнію моему и твоего шефа, по жалобѣ обиженной матери на непослушную дочь; отъ сената ожидаются послѣднія справки. Вотъ тебѣ экстрактъ изъ производства; составь изъ него краткую ремарку для меня, на случай, если потребуется для послѣдняго доклада ея величеству; дѣло во всякомъ случаѣ теперь уже не затянется, о чемъ можешь отписать и князю Михаилу Никитичу... Обрадуй его, — хотя, по-правдѣ сказать, государыни теперь не до того... По случаю пріѣзда певсты цесаревича Павла Петровича и предстоящаго ихъ обрученія, а затѣмъ и свадьбы, при дворѣ будетъ цѣлый рядъ торжествъ. Ты здѣсь будешь скучать, но что же дѣлать, — служба! могу, впрочемъ, посоветовать,—заклучилъ съ улыбкой князь:—ремарку составилъ скорѣе, а затѣмъ — вмѣстѣ со всѣми — веселись и ты.

«Не до веселья мнѣ», хотѣлъ отвѣтить Глѣбъ. Онъ, въ смущеніи, молча сталъ откланиваться.

— Вѣдь, кстати, и ты получишь доступъ на всѣ торжества, тебя не забудемъ, велю записать!—сказалъ Орловъ, по свѣдому объяснивъ растерянность и смущеніе своего гостя:—ты хоть не вынешь рангомъ, удостоишься доступа, какъ москвичъ, расскажешь тамъ всѣмъ впечатлѣніи, какъ очевидецъ.

Польщенный такою любезностью, Глѣбъ не рѣшился въ этотъ разъ беспокоить князя просьбой о покровительствѣ ему на дальнѣйшемъ служебномъ пути. Обѣщаніе Орлова касательно придворныхъ торжествъ вскорѣ осуществилось: Глѣбу прислали форменный ордеръ съ разрѣшеніемъ ему, въ качествѣ адъютанта московскаго главнокомандующаго, присутствовать на всѣхъ придворныхъ выходахъ, раутахъ,

балахъ и иныхъ собраніяхъ, по случаю ожидаемаго бракосочетанія наслѣдника-цесаревича.

Лѣтніе маневры гвардіи, въ лагерѣ подъ Краснымъ Селомъ, въ 1773 году, были окончены въ половинѣ августа. Дворъ возвратился изъ Царскаго Села въ Петербургъ. Въ день обрученія цесаревича и его невѣсты, 16-го августа, на придворной сценѣ Эрмитажа давали итальянскую оперу «Антигона». Здѣсь впервые, въ теченіе цѣлаго вечера, Дугановъ имѣлъ случай видѣть въблизи императрицу Екатерину, ея сына, его невѣсту и всю ближнюю свиту государыни. Вскорѣ ему удалось быть на представленіи во дворцѣ и другой итальянской оперы «Психе и Кушдонъ». Блескъ роскошно убранной залы, раззолоченные мундиры гвардіи и высшихъ гражданскихъ чиновъ ослѣпили Глѣба. Но его взоры были обращены на государыню.

Не смѣя изъ кресель, какъ я другіе, наводитъ на царскую ложу зрительной ручной трубки, Глѣбъ восторженно вглядывался въ лицо Екатерины, приподнимаясь изъ-за высокихъ дамскихъ причесокъ и шляпъ, мѣшавшихъ ему вдоволь на нее смотрѣть. «Боже, какъ бы я желалъ услужить ей чѣмъ-либо особеннымъ, пожертвовать для нея жизнью, совершить передъ нею какой-либо, выходящей изъ ряду, высокій подвигъ»—думалъ Глѣбъ, замирая и почти не слыша арій и нѣжныхъ рудадъ, которыми заморскіе пѣвцы и пѣвицы плѣняли и потрясали слушателей, переполнявшихъ залу. При вызовѣ, подъ громъ рукоплесканій, артистамъ аплодировали, какъ видѣлъ Глѣбъ, сама императрица и стоявшій за ея кресломъ, въ пудрѣ и голубой лентѣ, счастливо улыбающійся, худенькій и стройный цесаревичъ Павелъ. Дугановъ слѣдилъ за небольшими, обтянутыми въ длинныя перчатки, руками императрицы и, когда она, улыбаясь на сцену, хлопала ими, думалъ: «И эти маленькія, въ перчаткахъ по локоть, руки правятъ судьбою милліоновъ! по ихъ мановенію, созидаются и разрушаются союзы, движутся громадныя арміи... О, если бы этотъ взоръ, хотя бы случайно, унелъ когда-нибудь на меня, если бы судьба избрала меня для принесенія ей жертвы моимъ умомъ, силами, жизнью!» Опера кончилась, занавѣсъ опустился, публика, среди послѣднихъ вызововъ, разъѣзжалась. Дугановъ, на котораго никто не обращалъ вниманія, возвращался домой взволнованный, съ чувствомъ необъяснимой досады и душевной

пустоты. Нѣхотя и сухо отвѣчая на разспросы своего сожителя, которому, вслѣдствіе порученныхъ ему, неотложныхъ работъ по канцеляріи, не удавалось понадать на эрмитажные спектакли, онъ долго не засыпалъ, обуреваемый разнообразными и тягостными мыслями. Проситесь въ дѣйствующую армію, въ Турцію? — думалъ онъ: — но что изъ того толку? Тамъ достаточно такихъ же заурядныхъ, малопомѣстныхъ дворянчиковъ и безъ меня, да и не предвидится особыхъ дѣлъ. Войска стоять на Дунаѣ, въ выжидательномъ положеніи; вмѣсто боевого подвига, попадены еще въ лапы гнилой горячки или чумы, безвѣстно околѣены въ какомъ-нибудь голодномъ и грязномъ госпиталѣ. А главное — все это будетъ невѣдомо ей, великой монархинѣ, вдали отъ нея».

Приходя затѣмъ въ себя и зрѣло обдумывая свои мысли, Глѣбъ иной разъ даже зло смѣялся надъ собою. «Чего захотѣлъ,—разсуждалъ онъ:—заслуги, подвига передъ лицомъ самой государыни! да это въ цѣлой міровой исторіи если и выпадетъ, то рѣдко и на долю одного, много двухъ счастливицевъ изъ милліоновъ подданныхъ монарха. Несбыточные грезы, пустыя надежды жалкаго мечтателя. Ниже, ниже, у ногъ твоихъ, на землѣ, нищи обычной людской доли!»

Въ началѣ сентября Дуганову снова удалось близко увидать государыню и весь ея близкій штатъ, при посѣщеніи ею работъ, заложеннаго тогда, мраморнаго Исаакіевскаго собора. Фундаментъ собора былъ въ то время уже конченъ и пачали класть на немъ цоколь. Дугановъ не зналъ о предстоявшемъ заѣздѣ сюда государыни. Идя отъ сената мимо изгороди, окружавшей эту постройку, онъ вдругъ увидѣлъ четверню сѣрыхъ пугомъ, открытую, высокую коляску императрицы и ѣхавшаго за нею, на дрожкахъ, запряженныхъ тройкой, князя Орлова. Князь подбѣжалъ къ коляскѣ, отворилъ дверцу, откинулъ складныя ступеньки и подаль государынѣ руку. Не успѣла она сойти съ послѣдней ступеньки, пристыжная коляска испугалась чего-то и, бросаясь въ сторону, поднялась на дыбы. Глѣбъ успѣлъ ухватить се за уздцы и придержалъ. «Теперь увидятъ, замѣтятъ меня!» — подумалъ онъ, замирая и продолжая держать испуганную лошадь. Но князь Орловъ, грозно взглянувъ на кучера, поспѣшилъ къ калиткѣ, къ которой шла, улыбаясь и кланяясь столпившимся прохожимъ, императрица Екатерина. Свита послѣдовала за нею. Калитка захлопнулась. «И чего я нищу,

чего мнѣ надо?—горько усмѣхнулся Глѣбъ, возвращаясь домой:—мнѣ поручены ремарки; надо получше заняться ими». Онъ засѣлъ за окончательное изготовленіе выборокъ изъ дѣла.

Въ Петербургѣ всѣ заговорили о предстоявшей 13-го сентября поѣздкѣ двора на дачу Нарышкина, гдѣ государыня изъявила готовность принять предложенную охоту на оленей и обѣдъ въ лѣсу. Дугановъ также получилъ разрѣшеніе ѣхать туда, но раздумалъ и рѣшилъ сказаться больнымъ. «Лишнія развлеченія и лишняя трата времени!»—сказалъ онъ себѣ, сидя надъ сенатскими бумагами.

VII.

Наканунѣ назначенной охоты поднялся сильный вѣтеръ съ моря. Нева къ утру вздулась, началось наводненіе, изъ-за котораго цугъ придворныхъ каретъ, шарабановъ и липеекъ не могъ переѣхать по Калинкину мосту, черезъ разлившуюся Фонтанку. Императорскій поѣздъ по-неволѣ возвратился назадъ. Въ городѣ по этому поводу проишла молва, будто государыня, подѣхавъ къ мосту и увидѣвъ, что вода бушевавшей Фонтанки доходила уже до осей колесъ, открыла окно и сказала кучеру: «Что же, на мосту будетъ не выше дна кареты, мы подождемъ ноги, ступай!»—но въ это мгновеніе порывомъ вѣтра сорвало съ головы государыни парковую, съ соколинымъ перомъ, охотничью шляпу, которая улетѣла за ограду набережной и понеслась по волнамъ. Всѣ и больше всѣхъ сама императрица много смѣялась этому на возвратномъ пути. «Гляжу, она уже, какъ корабль, на водѣ, — покатывалась со смѣху императрица: — перо точно парусъ... а вы, какъ слѣдуетъ рыцарю, и не вздумали броситься въ рѣку, спасать мой нарядъ!» — сказала она толстому Нарышкину, сидѣвшему противъ нея въ каретѣ. «И зачѣмъ меня тамъ не было? — съ досадой думалъ, слыша рассказъ объ этомъ, Дугановъ, — я не Нарышкинъ; я не задумался бы броситься вилавъ и спасъ бы шляпку государыни». «Сумасшествіе! безумныя, несбыточныя мечты! — сказалъ онъ себѣ черезъ минуту: — въ этотъ прозаическій, холодный вѣкъ, такимъ поступкомъ только навлечешь на себя насмѣшки, разыграешь роль общаго забавника, шута! Нѣтъ, кончу работу, сдамъ ее князю и стану проситься на Дунай; тамъ Суворовъ,—онъ какъ-то зналъ отца, вспомнить и меня... тамъ поле чести, не все же будутъ даромъ стоять наши войска».

Наступилъ день бракосочетанія цесаревича. Вѣнчаніе совершилось, 29-го сентября, въ Казанскомъ соборѣ. Императрица выѣхала изъ дворца въ раззолоченной, сквозной каретѣ, запряженной восемью бѣлыми, разубранными въ страусовыя перья, лошадьми. Въ каретѣ передъ государыней сидѣлъ цесаревичъ, рядомъ съ нимъ его невѣста, великая княжна Наталья Алексѣевна. Государыня была одѣта въ русскомъ платьѣ, изъ алаго атласа, расшитаго жемчугомъ, и въ горностаевой мантии. Карету сопровождали верхомъ командиры кавалергардскаго конвоя, князь Григорій и его братъ, графъ Алексѣй, Орловы; впереди, также верхомъ, гарцовали, въ шляхахъ съ плюмажемъ и въ залитыхъ золотомъ мундирахъ, камергеры и камеръ-юнкеры. Въ концѣ вѣнчанія раздалась пушечная пальба. Площади и улицы города оглашались радостными кликами.

Послѣ торжественнаго обѣда, въ тронной залѣ, съ новою салютаціонной пальбой, всѣ перешли въ боковыя залы, гдѣ начались танцы. Императрица, новобрачные и всѣ гости были веселы. Дугановъ въ новомъ, съ иглочки, снитомъ для этого бала мундирѣ, стоялъ у одного изъ оконъ. Изъ-за цвѣтущихъ азалий и олеандровъ, онъ любовался толпой разряженныхъ красавицъ, подъ пѣвучій стоиъ и ревъ струннаго оркестра, то граціозно присѣдавшихъ и медленно плывшихъ въ менуэтѣ, то рѣзво уносившихся въ веселомъ котильонѣ.

Между танцующими болѣе всѣхъ выдѣлялась, въ бѣломъ, тяжеломъ серебряномъ платьѣ, усыпанномъ алмазами, и въ серебряной, унизанной жемчугомъ, коронѣ, утомленная и блѣдная повобрачная. Императрица въ особой ложѣ, на возвышеніи, радостно слѣдила за общимъ оживленіемъ и веселостью. Въ промежуткахъ, среди менуэтовъ, гавотовъ и котильона, скрытый за колоннами, въ глубинѣ залы, хоръ придворныхъ пѣвчихъ, въ алыхъ кафтанахъ, съ золотомъ, возглашалъ кантату, написанную къ этому торжеству:

«Пойте, музы восхищенны,
«Родъ Петровъ воскреснетъ днес!»

Другой хоръ пѣвчихъ, въ голубыхъ кафтанахъ, съ серебромъ, подхватывалъ этотъ стихъ, на другомъ концѣ залы, и потрясая густыми басами слухъ, выкрикивалъ: «Родъ Петровъ, родъ Петровъ воскреснетъ... воскреснетъ днес!»

Любуясь танцами, музыкой и пѣніемъ, отуманенный всѣмъ, что происходило въ этомъ пышномъ, горѣвшемъ тысячами свѣчей, царскомъ чертогѣ, Дугановъ вдругъ замѣтилъ, что общее веселье и общія торжественность какъ бы стихли и мгновенно стали блѣднѣть. Онъ услышалъ за собою странный, сперва сдержанный шопотъ.

— А каково? на Яикѣ-то? — виолголоса сказалъ кто-то камергеру, стоявшему возлѣ Глѣба, за боскетомъ изъ живыхъ цвѣтовъ:—слышали? рассказываютъ страхи.

— Нѣтъ, не слыхалъ,—отвѣтилъ камергеръ.

— За Волгой, на Яикѣ, появился самозванецъ,—продолжалъ вѣстовщикъ: — и представьте, дерзнулъ принять имя покойнаго государя, собралъ войско и взялъ уже нѣсколько крѣпостей... Сейчасъ прибылъ курьеръ изъ Москвы, государыня очень опечалена и удалилась во внутренніе покои.

Дугановъ оглянулся: ложа императрицы, дѣйствительно, опустѣла.

Говоръ въ разныхъ группахъ гостей сталъ явственнѣе, толки громче.

— Да, батюшка, вотъ тебѣ и «родъ Петровъ воскрес!»—сказалъ важный сановникъ, въ александровской лентѣ, съ толстыми икрами ногъ, туго обтянутыми въ бѣлые, съ золотымъ лампасомъ, панталоны, проходя съ худымъ и тонкимъ, трясущимъ головою, адмираломъ, мимо цвѣтовъ, за которыми продолжалъ стоять Дугановъ: — днесъ, днесъ... а грозная тѣнь покойника воскресла-таки изъ гроба.

— *Salvez les morts! sauvez!*—насмѣшливо шамкалъ адмиралъ, двигаясь къ выходу на тонкихъ, слабыхъ ножкахъ.

Начался общій развѣздъ. Внизу, въ сѣняхъ, Глѣбъ впервые изъ группы уѣзжавшихъ услышалъ и прозвище того, кто дерзко принялъ на себя имя покойнаго императора. «Донской казакъ, Емельянъ Пугачовъ», — повторяли гости, развѣзжавшіеся изъ дворца.

На другой и въ слѣдующіе дни, Дугановъ старался болѣе подробно узнать о самозванцѣ. Къ кому онъ ни обращался, всѣ оказывались знающими не болѣе его. Сожитель его, Галаховъ, бывшій наканунѣ дежурнымъ при гауптвахтѣ, у военной коллегіи, даже видѣлъ того фельдъегеря, который прискакалъ съ первою вѣстью изъ Москвы, но и отъ фельдъ-

егеря, снова услапнаго съ бумагами въ Москву, онъ не до-
вѣдался, будто бы, ничего.

Новыя торжества и веселости, послѣ брака цесаревича, продолжались, впрочемъ, безъ перерыва, еще около двухъ недѣль. Подъ ихъ впечатлѣніемъ, въ городѣ хотя и говорили о событіяхъ за Волгой, но уже безъ особаго вниманія и тревоги. Нѣкоторые еще утверждали, что бунтъ на Ликѣ дѣло нешуточное, что волненіе и мятежъ тамъ разрастаются съ неимовѣрною быстротою и что, если государыня еще показывается на придворныхъ празднествахъ, то либо она это дѣлаетъ съ цѣлю, наружнымъ спокойствіемъ, хотя нѣсколько ослабить толки общества, либо сама не знаетъ важности событія, такъ какъ министры скрываютъ отъ нея истинное положеніе дѣлъ. Тѣмъ не менѣе, вскорѣ стало слышно о посылкѣ свѣжихъ войскъ за Волгу, къ осажденному Оренбургу.

— Карръ назначень!—радовалась нѣмецкая партія:—онъ примѣрный служака, неутомимъ и честенъ; къ нему присо-
единили Фреймана; зададутъ они этой казацкой сволочи!

— Но отчего же не русскіе?—ворчали патріоты.

— Да гдѣ же ихъ, отцы вы наши, взять?

— Какъ гдѣ? а Суворовъ, Бибиковъ?—возражали русскіе.

— Но первый за Дунаемъ, а второй, будто не знаете, въ опалѣ.

— Какая тутъ, сударь, опала, когда повторяются времена Разина и Дмитрія царевича и всѣмъ грозятъ смертныя бѣды? Увидите, увидите.

Толки о самозванцѣ стали затихать среди дальнѣйшихъ брачныхъ торжествъ, завершившихся пышнымъ придворнымъ маскарадомъ, на три съ половиною тысячи гостей.

Иностранные принцы, родичи цесаревны и ихъ свита разъѣхались въ чужіе края. Императрица съ семействомъ, въ началѣ ноября, возвратилась въ Царское-Село. О событіяхъ подъ Оренбургомъ болѣе не говорили. Жизнь Петербурга, съ началомъ зимы, пошла обычнымъ порядкомъ. Въ частныхъ домахъ, попрежнему, собирались для игры въ бостонъ, макао и въ вистъ, по десять копеекъ партія. Въ видѣ отзвука недавнимъ придворнымъ баламъ и маскарадамъ, высшій и средній круги столицы наперерывъ стали также давать балы и маскарады. Молодежь, по утрамъ, гуляла по дворцовой набережной и носилась на рысакахъ

по Певской перспективѣ, а вечеромъ толпилась въ итальянскихъ и швейцарскихъ кондитерскихъ, гдѣ пѣли арфянки, и въ бильярдныхъ модныхъ гостиницахъ, гдѣ игра кончалась шумными попойками. Кромѣ придворной итальянской оперы и русской комедіи, столичное общество посѣщало также представленія заѣзжихъ эквилибристовъ Прони и Брамбилла, поражавшихъ всѣхъ невиданнымъ дотолѣ и изумительнымъ балансированіемъ на тугонатянутой проволоцѣ, причемъ, одѣтая Коломбиной, красавица Брамбилла, по словамъ видѣвшихъ ее, такъ быстро вертѣлась на проволоцѣ, что совершенно, казалось, исчезала въ воздухѣ.

Близилось, наконецъ, къ рѣшенію и дѣло Кординой, порученное Дуганову. Его раза два вызывали въ сенатъ для дачи послѣднихъ разъясненій, о чемъ онъ и успѣшилъ сообщить въ Москву главнокомандующему. Но встрѣтилась новая затяжка. Сенаторы, какъ предполагалъ Глѣбъ, подъ вліяніемъ небезгрѣшнаго тутъ оберъ-секретаря, потребовали дополнительныхъ справокъ. Послѣднія были затребованы не только изъ Москвы, но, по жительству отвѣтчицы, даже изъ Калуги, и дѣло, сверхъ всякаго ожиданія, опять очутилось подъ сукномъ. Оставшись, въ ожиданіи затребованныхъ справокъ, снова безъ всякихъ занятій, Дугановъ рѣшительно не зналъ, что ему дѣлать, и сильно скучалъ. Возвратиться на время въ Москву онъ не рѣшался, — справки могли придти безъ него. Отъ скуки онъ посѣтилъ нѣсколько разъ театръ, заглянулъ и къ эквилибристамъ, но все это мало развлекало его. Зайди какъ-то съ Галаховымъ въ гостиницу, гдѣ тотъ условился съ кѣмъ-то сыграть на бильярдѣ, Глѣбъ усѣлся въ общей залѣ и около часа пробылъ здѣсь, съ давно-неиспытаннымъ удовольствіемъ слѣдя за состязаніемъ игроковъ. Самъ братья за кій онъ не рѣшался, боясь увлечься игрой, когда-то чуть не разорившей его. Около двухъ недѣль, послѣ того, онъ не только не посѣщалъ гостиницъ, но даже далеко обходилъ подѣзды, надъ которыми красовались вывѣски съ изображеніемъ бильярда и шаровъ.

По пріѣздѣ въ Петербургъ, Дугановъ изрѣдка переписывался только съ матерью. Къ брату, послѣ своего разрыва съ женой, онъ не писалъ ни разу, довольный и тѣмъ, что и Алексѣй, вообще большой неохотникъ до корреспонденцій, также не напоминалъ ему о себѣ. «И о чемъ я буду ему

писать? — разсуждалъ, желчно усмѣхаясь, Глѣбъ: — что неожиданно сталъ рогагъ и что безъ вѣсти пропала моя благовѣрная? есть о чемъ оповѣщать и чѣмъ хвастать!»

Иди однажды по Гороховой, Глѣбъ увидѣлъ Галахова, подѣхавшаго къ какому-то трактиру.

— Ты сегодня дома обѣдаешь? — спросилъ онъ его.

— Врядъ ли, обѣдай безъ меня, — отвѣтилъ Галаховъ: — тутъ проявился восточный какой-то искусникъ на бильярдѣ, всѣхъ обыгрываетъ нановаль... какъ я ни занятъ, хочу посмотреть, зайдемъ!

— Итъ, уволь, — я далъ зарокъ никогда болѣе не брать гя въ руки.

— Вздоръ, зайдемъ, погляди только.

Глѣбъ зашелъ съ Галаховымъ и увидѣлъ въ небольшой, наполненной табачнымъ дымомъ комнатѣ нѣсколько игроковъ, напряженно слѣдившихъ за невысокимъ, тощимъ и лысымъ человѣкомъ, въ красной восточной фескѣ, неумѣло въ то время садившимъ въ лузы свой шаръ, вмѣсто шаровъ противниковъ. «Плуть, — подумалъ о немъ присматривавшійся къ игрѣ Дугановъ, — заманиваетъ, поддается! и удивительно, какъ это не замѣчаютъ другіе!» Онъ кивнулъ многозначительно Галахову: — «берегись, моля, дѣло не чистое!» — и ушелъ.

Возвратясь домой, онъ нашель у себя на столѣ два письма, съ почтовыми клеймами. Онъ прежде всего узналъ руку брата и вскрылъ его письмо. Алексѣй поздравлялъ его съ днемъ рожденія, о которомъ Глѣбъ и забылъ, и вскользь прибавилъ: — «что же до Марі, то она и Вася совершенно здоровы, а съ ихъ пріѣздомъ и у насъ все благополучно». «И ужъ какъ было бы хорошо, — приписалъ къ концу письма Алексѣй, — если бы и дорогой нашъ Глѣбушка скорѣе покончилъ свои служебныя комиссіи и также пожаловалъ бы къ намъ. Какіе у насъ составляются музыкальные вечера! Марья Родіоновна вспомнила свои дѣвическія упражненія на клавикордахъ, Серафимочка свое пѣніе, а при помощи окольныхъ, доморощенныхъ виртуозовъ на виолончели, скрилкѣ и даже на флейтѣ, у насъ происходятъ, говоря не въ шутку, цѣлые концерты прензрядной камерной музыки. Другое коротенькое письмо было отъ Серафимы. Оно заключалось только въ слѣдующихъ словахъ: «Дорогой братъ! Не все то вѣрно, что кажется. И неужели

всякое рѣшеніе безусловно? Ахъ, спросите ваше сердце,— оно вамъ скажетъ: любившее васъ существо не достойно ли васъ и теперь?»

VIII. 1

«Такъ вотъ гдѣ она! — сказалъ себѣ Дугановъ, дочитавъ письма и озадаченно потирая лобъ:—пріютилась у нашихъ и, очевидно, не все имъ открыла... Что жъ, и съ Богомъ! Живи, матушка, хоть и тамъ; ѣзди, куда знаешь и хочешь,— скатертью дорога. Сокровенный же другъ, счастливый соблазнитель, вѣроятно, вскорѣ гдѣ-нибудь устроится по близости, въ Саратовѣ или въ иномъ мѣстѣ, уладятся тайныя свиданія, нежданья будто бы встрѣчи. Въ городъ легко съѣздить, голубки и увидятся. Меня же ты, сударыня, разумѣется, уже никогда болѣе не увидишь!» Глѣбъ еще разъ пробѣжалъ письма брата и невѣстки, скомкалъ ихъ, разорвалъ и бросилъ въ печь.

Не обѣдавшій дома Галаховъ возвратился въ тотъ день поздно. Зайдя въ комнату Глѣба, онъ засталъ его сидящимъ, съ ногами, на канapé и спокойно читающимъ у канделябра модный французскій романъ, который онъ ему откуда-то привезъ и чтеніемъ котораго давно уговаривалъ его развлечься.

— А я, дружище, проигрался,—сказалъ Галаховъ, сѣвъ въ кресло возлѣ Глѣба и позѣывая:—зато этотъ искусникъ въ фескѣ, хоть обобралъ насъ, угостилъ превосходнымъ обѣдомъ, то-есть, собственно,ужиномъ... Какіе вина, ликеры! Только что изъ-за стола.

— Такъ ты-таки отдалъ дань? — спросилъ Глѣбъ, не отрываясь отъ книги.

— Да, обыгранъ, но счастливъ! Что за удары, что за ходы, быстрота зрѣнія, а сперва... какъ бы нарочно уступалъ...

Дугановъ на это не отвѣчалъ. Прошло нѣсколько минутъ общаго молчанія.

— И тебѣ не скучно?—спросилъ съ сожалѣніемъ Галаховъ, когда Глѣбъ, дочитавъ страницу, закрылъ книгу:— удивляюсь тебѣ, жить въ одиночествѣ, въ холостой обстановкѣ, когда есть и свой домъ, и милая, достойная подруга жизни, есть, наконецъ, семья... ты извини меня, но такія блага... я давно хотѣлъ тебѣ сказать...

— Слушай, Александръ Павловичъ,—отвѣтилъ Глѣбъ:—

и я давно собирался тебѣ объяснить... Иного счастья не желаю, да лучшаго, пожалуй, и нѣтъ на землѣ.

— Какъ? жить въ разлукѣ съ ближними, бобылемъ?

— Да, бобылемъ.

Галаховъ удивленно взглянулъ на Дуганова.

— Ты шутишь, или я тебя не понимаю,—сказалъ онъ.

— Не понимаешь? Изволь, поясню. Я потому несчастливо, именно здѣсь, въ одиночествѣ, въ этой нашей холостой конурѣ,—сказалъ Глѣбъ, указывая кругомъ по комнатѣ:—что я здѣсь свободенъ, какъ воздухъ, ничѣмъ не связанъ и, главное, ничѣмъ не смущенъ, а еще болѣе потому, что тамъ,—прибавилъ онъ, указывая за дверь, на прочія комнаты квартиры:—живешь только ты и нѣтъ за этою дверью ни тѣни какой-либо, по твоему, очаровательной Клеонатры или Пентефріи Николаевны.

— Что ты этимъ хочешь сказать? — смущенно спросилъ Галаховъ, даже покраснѣвъ при мысли о томъ, какъ могъ его сожитель такъ выразиться о своей женѣ.

— Да, да, милый мой! — продолжалъ Глѣбъ: — ты самъ троцулъ этотъ вопросъ, буду откровененъ до конца. Ты холостъ, никогда не былъ связанъ рабскими пѣнями гименя,—а въ бракѣ, да будетъ тебѣ извѣстно,—непремѣнно одна сторона является злосчастною, искушительною жертвою. Не испытавъ брачныхъ оковъ, ты не можешь вѣрно и судить о семейныхъ событіяхъ, драмахъ, комедіяхъ, а подчасъ и трагедіяхъ. Одиночество... да что можетъ быть выше его? Знать, что никакая въ мірѣ Пентефрія, или тамъ Клеонатра, сейчасъ вотъ, каждую секунду, не появится изъ-за этой вотъ двери,—злбно указывая худымъ, длиннымъ пальцемъ Глѣбъ:—что она, эта обольстительница, не зашуршитъ своимъ очаровательнымъ платьемъ, не склонится къ тебѣ любящей шейкой, съ надушенными локонами, и при этомъ не станетъ тебя безпощадно, разными милыми попреками, да экивоками, пилить, пилить и пилить,— да развѣ, милый, это не великое благо на свѣтѣ, не своего рода земной эдемъ?

Проговоривъ это, Глѣбъ всталъ и нервно захохоталъ.

— Именно эдемъ, и тѣмъ болѣе истинно благодатный и вѣчный, что безъ Евы! — сказалъ онъ, прохаживаясь по комнатѣ и продолжая смѣяться: — удивляешься? Не уди-

вляйся — поживешь, увидишь... Эхъ ты, простота! Кстати, у меня вышли сигары, есть у тебя лишняя?

«Онъ рехнулся!» — подумаль Галаховъ, торопливо вынувъ и подавая Дуганову свертокъ сигаръ.

— А, впрочемъ, не думай, я говорю не о себѣ, а вообще, — продолжалъ, закуривая сигару и какъ бы спохватясь, Глѣбъ: — холостяку все это кажется въ идеаль, въ розовомъ свѣтѣ; отъ женатаго ничто не ускользнетъ, нѣтъ, нѣтъ! Повторяю, рѣчь не обо мнѣ. Я счастливъ, да иначе не можетъ и быть. Ты вѣрно выразился, — у меня молодая, умная и, прибавлю, красивая жена. Но представь себѣ такой милый случай, что въ одно прекрасное утро безмѣрно-блаженный и совершенно спокойный мужъ вдругъ очнется и во-очію убѣждается, что своимъ счастьемъ онъ пользуется не одинъ, а что оно, съ добраго согласія его жены, раздѣляется еще другимъ, что онъ, этотъ фепоменально-довѣрчивый мужъ, такъ-сказать, состоитъ въ долѣ, на паяхъ, еще съ такимъ-то! Не о себѣ говорю, а тебѣ надо знать... вотъ и въ этомъ романѣ то же.

Проговоривъ это, Дугановъ замолчалъ и какъ-то осунулся, точно истомясь отъ подъема непосильной тяжести. Галаховъ тоже молчалъ.

— Да, подольше береги свое одиночество, — сказалъ Глѣбъ: — тебѣ оно кажется убійственнымъ, а въ немъ бывають свои прелести. Углубляешься въ свою душу, перебираешь... Кстати, что новаго? Я эти дни не видѣлъ никого.

«Не рехнулся, а блажить не даромъ! — подумаль, глядя на него, Галаховъ, — надо его какъ-нибудь развлечь!»

— У князя Орлова, подѣ Гатчиной, затѣвается большая охота, — сказалъ онъ: — облава на медвѣдей.

— Да, знаю.

— Будешь на ней?

— Получилъ приглашеніе, но врядъ ли поѣду.

— Отчего?

— Будетъ толпа всякаго люда, выпивка, суета; намерзнешься, а толку мало... я не пью, и хотя стрѣляю, но какой же я охотникъ?

— Что касается меня, — сказалъ Галаховъ: — то я бы тоже очень желалъ туда попасть, но отъ князя привезли новую кучу бумагъ, весь столъ заваленъ, — прибавилъ онъ

указывая на свой кабинетъ, дверь въ который онъ обыкновенно держалъ на запорѣ.

— Не спрашиваю тебя, что за дѣла, но скажи, что слышно о самозванцѣ?

— Да что, Оренбургъ, попрежнему, въ осадѣ,—отвѣтилъ Галаховъ:—жители терпятъ голодъ и между ними большая смертность.

— Все это, разумѣется, скоро кончится, — возразилъ Глѣбъ:—туда подходятъ усиленными маршами и, вѣроятно, уже подошли свѣжія войска... Осаду не сегодня, завтра отобьютъ.

— Нѣтъ, Дугановъ, ошибаешься, — отвѣтилъ, подумавъ, Галаховъ: — говорятъ... этотъ, между прочимъ, восточный кудесникъ вынулъ французскую газету и намъ за обѣдомъ прочелъ кое-какія вѣсти... Нашему сермяжному Аттилѣ охотно несутъ присягу не только села и мѣстечки, чуть не цѣлые уѣзды. И онъ ошеломляетъ народъ; безъ сожалѣнія передъ нимъ вѣшаетъ и разстрѣливаетъ помѣщиковъ, офицеровъ, чиновниковъ и купцовъ. Женъ ихъ мучитъ, обращаетъ въ своихъ стряпухъ, то-есть, попросту въ любовницъ.

Глѣбъ измѣнился въ лицѣ. Онъ вспомнилъ, что его жена была теперь на Волгѣ, а шайки самозванца могли проникнуть и туда.

«Что же, — пронеслось въ его головѣ, — не жилось тебѣ, измѣнница-сударушка, въ мирѣ и честномъ согласіи съ мужемъ, испытываешь, можетъ-быть, долю и стряпухи самозванца - мужика». — Злобная вспышка мстительной мысли смѣнилась инымъ раздумьемъ: «Сынъ... Вася!.. что будетъ съ нимъ? Неужели братъ не спохватится и въ-время не вывезетъ всѣхъ изъ Горокъ?»

— Твои вѣсти прискорбны, — сказалъ Глѣбъ: — но Богъ не безъ милости, а наше войско таково, что если только ему дадутъ настоящаго вождя, оно разобьетъ и развѣетъ полчища какого-угодно Атилы.

Однажды въ декабрѣ, незадолго до новаго года, Галаховъ, послѣ новаго крупнаго проигрыша, вовсе прекратившей игру на бильярдѣ, вѣдучи съ Дугановымъ по Гороховой, указалъ ему на трактиръ, гдѣ онъ проигрался.

— А представь,—сказалъ онъ при этомъ:—тотъ восточный магъ, что обобралъ насъ, исчезалъ-было куда-то, а

теперь, какъ говорятъ, вновь появился въ Петербургѣ и царить у Шлейеля.

— Гдѣ это?

— На углу Вознесенскаго и Мѣщанской.

— Да онъ просто шулеръ, если только въ бильярдной игрѣ бывають шулера,—сказалъ Глѣбъ.

— Ну?—удивился Галаховъ.

— А ты и не подозрѣвалъ?

— Да, не вѣрится...

— Не плутъ. не картежникъ, такъ, ночной подорожникъ, и всѣ его ухватки—чисто-мошенническія; знаю я ихъ, испыталь, меня не проведешь.

— Что же полиція? отчего его не вышлютъ?

— А вотъ поди же,—многозначительно замѣтилъ Глѣбъ:—хорошо, что ты сказалъ; увижу оберъ-полицеймейстера и сообщу ему, надо принять мѣры.

И Дугановъ ихъ принялъ. Онъ вечеромъ того же дня взялъ полный кошелекъ золота, зашелъ въ трактиръ Шлейеля, засталъ тамъ человѣка въ фескѣ, съ полчаса послѣдилъ за его игрой и, подойдя къ нему съ кіемъ, небрежно предложилъ ему партію въ три шара. Игроки сразились; ставка была небольшая. Глѣбъ подъ-рядъ выигралъ двѣ партіи. Его противникъ предложилъ увеличить ставку. Глѣбъ проигралъ. И пошло... Его глаза горѣли, руки дрожали. Соперникъ его также, повидимому, горячился. Посторонніе зрители тѣсною толпою окружили бильярдъ. Ставки увеличивались. Глѣбъ опомнился за полночь.

— Не прекратить ли игру?—спросилъ его противникъ (разговоръ между партнерами шелъ по-французски).

Глѣбъ всникнулъ. Онъ вспомнилъ, что въ опустѣломъ его кошелекѣ осталось на днѣ только два червонца. Онъ взглянулъ на своего партнера; тотъ, съ невинной улыбкой, щурясь на свой кій, молча намѣливалъ его.

— Да,—отвѣтилъ Глѣбъ, вынувъ часы и глядя на нихъ:—поздно... кончимъ завтра.

Противникъ вѣжливо поклонился ему. Игроки разстались.

— Нѣтъ, онъ не шулеръ,—объявилъ Галахову блѣдный, съ измученнымъ лицомъ, Дугановъ, возвратясь домой:—это, по-истинѣ, магъ какой-то, истинный кудесникъ! Такого я еще и не видывалъ... Завтра условились снова... о, я отыграюсь, разобью!

— Увы! — улыбнулся на это Галаховъ: — отложи попеченіе; безъ тебя привезли изъ Гатчины повѣстку; завтра у князя сборъ на охоту... приглашенъ и я, отказываться нельзя, надо ѣхать... Утромъ займемся приготовлениями. Я досталъ тебѣ и себѣ отличные штуцера, даже испробовалъ ихъ, бьютъ превосходно... кромѣ того, почистилъ свои и твои пистолеты.

— Ну, ладно, голубчикъ, — отвѣтилъ со вздохомъ Дугановъ, все еще въ туманѣ отъ впечатлѣній того вечера: — спасибо за все! теперь давай спать, а свой проигрышъ и наверстаю!

Онъ легъ, погасилъ свѣчу, но сонъ не скоро сошелъ на его усталую голову.

Давно-условленная охота состоялась въ гатчинскихъ, лѣсныхъ дачахъ князя Орлова. Сборнымъ мѣстомъ для охотниковъ былъ назначенъ лѣсной домъ арендатора главной изъ дачъ. Старикъ-арендаторъ, отставной гвардеецъ, былъ записной хлѣбосоль, любитель компанства и весельчакъ. Онъ когда-то оказалъ услугу бывшему еще въ бѣдности и неизвѣстности князю и съ тѣхъ поръ, состоя при его частныхъ дѣлахъ, былъ однимъ изъ его любимцевъ. Онъ встрѣтилъ съѣзжавшихся съ вечера охотниковъ роскошнымъ ужиномъ и обильною выпивкой. Для гостей, въ лѣсномъ домѣ и въ нѣсколькихъ при немъ флигеляхъ, приготовили отлично-натопленные комнаты, мягкія постели и отъ главнаго управителя Гатчины вдоволь прислуги.

— Ну, господа, — сказалъ гостямъ, въ концѣ ужина, арендаторъ, строго соблюдавшій правила охоты: — обойдено въ трехъ мѣстахъ пять медвѣдей; надо вставать и выѣзжать на линію до разсвѣта. Князя знаете, онъ и спать не будетъ, и явится, какъ сиѣтъ па голову, прямо на мѣсто. А потому, не угодно ли приказать снести къ себѣ недопитыя бутылки и стаканы — и за мною! удостойте по своимъ аппаратамъ...

— Вѣрно, вѣрно, отецъ командиръ! надо знать егерскіе порядки! — заговорили гости и, поднявшись, веселою гурьбой, въ сопровожденіи слугъ, несшихъ за ними напитки, разошлись, по двое и по трое, въ отведенныя имъ комнаты.

Всѣ раздѣлись и улеглись, но долго еще, попивая англійскій портеръ, бисшофъ и другіе напитки, бесѣдовали, передавая другъ другу обычные и, какъ всегда, на половину

преувеличенные и даже неправдоподобные рассказы о своих и чужих охотничьих подвигахъ. Дуганову съ Галаховымъ ночлежъ былъ отведенъ во флигель, невдали отъ дома арендатора.

IX.

Осмотрѣвъ еще разъ, передъ сномъ, оружiе, прiатели заридили по одному стволу въ штудерахъ пулями, а другiе—картчью, обмѣнялись нѣсколькими словами о предстоящей облавѣ и стали раздѣваться. Изъ сосѣдней комнаты, вблизи которой стояла кровать Дуганова, сквозь тонкую перегородку слышались оживленные голоса другихъ охотниковъ. Кто-то тамъ, очевидно, смѣшилъ зашедшихъ къ нему сопочлежниковъ, покрывавшихъ его слова взрывами дружнаго хохота. Скоро голоса въ этой комнатѣ стали тише; въ ней, какъ надо было полагать, остались, наконецъ, и продолжали разговаривать только двое.

— А этотъ весельчакъ-арендаторъ, нашъ хозяинъ, поистинѣ предусмотрительный человекъ, — сказалъ Галаховъ, улегшись въ постель и завертываясь въ одѣяло.

— Почему?

— Да какъ же, и лѣкаря съ инструментами, на всякій случай, добылъ отъ Тарбѣева; говоритъ, медвѣдь не свой братъ, выскочитъ на иного, всяко случится.

— Отъ какого Тарбѣева? — спросилъ Глѣбъ, тоже уже лежавшiй на кровати, задувая свѣчу.

— Здѣшнiй по сосѣдству помѣщикъ, масонъ, богачъ и замѣчательный чудакъ. У него въ помѣстьѣ школа для мужиковъ, больница и какiя-то особыя правила насчетъ барщины.

— Не слышалъ, — отвѣтилъ Дугановъ: — онъ тоже будетъ здѣсь на охотѣ?

— О, нѣтъ, онъ въ параличѣ, съ весны собирается куда-то въ теплые края и для того выписалъ этого доктора изъ Москвы, такого же, говорятъ, какъ и самъ онъ, чудака.

Глѣбъ наострилъ уши.

— Ты видѣлъ этого лѣкаря? — спросилъ онъ.

— Не видѣлъ; за нимъ посылали съ утра, но онъ прiѣхалъ въ концѣ ужина, усталый, — отвѣтилъ Галаховъ: — и прошелъ прямо во флигель спать.

— Кто тебѣ это сказалъ?

— Нашъ хозяинъ; видя, что мой сосѣдъ по ужину мало

ѣсть, почти ничего не пьеть и все кашляетъ, онъ подошелъ къ нему, освѣдомился о его здоровьѣ, не простудился ли онъ, и предупредилъ его, что, если бы встрѣтилась надобность, у нихъ и докторъ къ его услугамъ.

«Докторъ-чудакъ и изъ Москвы! — не безъ волненія подумалъ Дугановъ: — да неужели же такая странная случайность? неужели это Спесивцевъ? быть не можетъ!» — Онъ завернулся съ головой въ одѣяло, закрылъ глаза и старался, не думая о дикой мысли, пришедшей ему на умъ, скорѣе заснуть. Но голоса за стѣнной перегородкой не унимались и, въ виду общей тишины, мало-по-малу наставшей въ комнатахъ флигеля, стали еще слышнѣе. Явственно раздавались два голоса. Глѣбъ не вытерпѣлъ и освободилъ голову изъ-подъ одѣяла.

Одинъ изъ говорившихъ въ сосѣдней комнатѣ былъ, очевидно, тотъ охотникъ, который за ужиномъ ничего не ѣлъ и не пилъ; онъ и теперь изрѣдка покашливалъ, рассказывая своему сопочлежнику о какихъ-то своихъ страданіяхъ. Ему коротко и вразумительно отвѣчала другой голосъ, по всей видимости, доктора; за стѣной слышались медицинскіе термины и обстоятельныя порицанія принятаго больнымъ способа лѣченія. И вдругъ Дугановъ вскочилъ, какъ ужаленный, и присѣлъ на постели. Его охватила дрожь. Зубы его стучали... Онъ вполнѣ разслушалъ и узналъ голосъ Спесивцева: тѣ же приемы и тѣ же знакомыя поговорки.

— Бросьте вы, батенька, всѣхъ этихъ нашихъ врачей! — сказала, между прочимъ, голосъ за перегородкой: — всѣ-то мы, не исключая и меня, никуда не годимся; пейте то, что вамъ совѣтуетъ эта ваша знахарка, Степанидушка, — свѣжій морковный сокъ, по стаканчику утромъ, днемъ побольше теплаго, парного молока, ѣшьте разварную кашу, съ гусинымъ салъцемъ, и запивайте рюмочкой-другой хорошей настойки, да избѣгайте простуды, — словомъ, все, какъ говорить ваша Степанидушка. Это вамъ никоимъ образомъ не повредитъ и ужъ во всякомъ случаѣ, какъ другія ваши лѣкарства, не отправитъ васъ на тотъ свѣтъ.

«Онъ, онъ! — говорилъ себѣ въ волненіи Дугановъ, отыскивая ногами у кровати сапоги и пѣскоро ихъ обувая: — судьба, — странная и загадочная судьба! и ею надо воспользоваться безотлагательно!» — Затанувъ дыханіе, онъ бережно опущалъ сосѣдній стулъ, нашелъ на немъ свое платье и,

не зажигая свѣчи, наскоро одѣлся. Галаховъ уже спалъ. Съ другого конца комнаты, впотьмахъ, доносилось его мѣрное, тихое дыханіе. Глѣбъ взглянулъ къ сторонѣ выходной двери. Изъ-подъ нея, у порога, виднѣлась слабая полоса свѣта; коридоръ, слѣдовательно, былъ еще освѣщенъ. Дугановъ помедлилъ. Голоса за перегородкой затихли.— «Заснули тоже,—подумалъ онъ,—ну, да ничего, увидимъ.»

Онъ на цыпочкахъ, беззвучно, подошелъ къ двери, тихо отворилъ ее и коридоромъ приблизился къ сосѣдней комнатѣ. Его сердце сильно билось. Онъ минуты двѣ постоялъ у входа въ эту комнату; голоса въ ней дѣйствительно смолкли; тамъ была полная тишина,— «Отворить ли? войти ли?—колебался Дугановъ.—если дверь занерга на замокъ, придется постучать — и кто первый очнется? разумѣется, этотъ больной... объясненія, переговоры, нежелаемый свидѣтель... Но, можетъ-быть, у нихъ еще горитъ свѣча, этотъ гусь не спитъ и сразу меня узнастъ... что я ему скажу?»—Горло Дуганова сжалось судорогой; онъ едва не раскашлялся:— «Везуміе!—сказалъ онъ себѣ,—приходи, объясненіе ночью,—какая чепуха! надо уйти...».

Въ коридорѣ, также какъ и въ комнатахъ, было сильно тепло; пахло сѣномъ, изъ котораго вечеромъ устраивали постели для гостей. Гдѣ-то мирно позванивалъ сверчокъ. Глѣбъ съ минуту подумалъ, отошелъ въ сторону, сталъ лицомъ къ стѣнѣ, постоялъ такъ минуты двѣ, круто обернулся, подошелъ опять къ двери, которую оставилъ, и тихо тронулъ ее ручку. Дверь оказалась занертой снутри на задвижку. Онъ еще помедлилъ и осторожно стукнулъ въ дверь. За нею никто не отзывался. Онъ еще разъ постучалъ. За дверью было тихо.— «Ну, не судьба,—подумалъ Глѣбъ.— время есть, объяснюсь и завтра; а то и впрямь, крадусь, точно воръ!»—Онъ ступилъ шагъ отъ двери. Дверная задвижка щелкнула.

На порогѣ темной комнаты, въ мерцаніи коридорнаго ночника, обрисовалась босая, и въ одномъ бѣльѣ, знакомая фигура. Передъ Дугановымъ стоялъ Спесивцевъ.

— Это вы? что вамъ?—спросилъ тотъ, въ изумленіи разглядывая Глѣба.

— Да... вы, разумѣется, не ожидали?

Докторъ молчалъ.

<http://rcin.org.pl>

— Прощу безъ шума и отказа,—сказаль Глѣбъ:—время дорого... одѣньтесь, на пару словъ.

Спесивцевъ растерянно смотрѣль на него.

— Я только сію минуту узналь, что мы, то-есть, что вы,—проговориль, путаясь, Дугановъ:—и надѣюсь, вы не откажетесь поэтому объясниться.

Спесивцевъ съ секунду подумаль, оглянулся въ полураскрытую дверь, скрылся за нею и вскорѣ вновь показаль оттуда одѣтый. Дугановъ знакомъ пригласиль его и провель въ глубь коридора, куда свѣтъ ночника едва достигаль слабою, трепетною полоской.

— Послушайте, — началъ, приблизясь къ нему, Дугановъ:—не вамъ удивляться,—миѣ! Вы исчезли изъ Москвы такъ неожиданно быстро, безъ слѣда.

— Вы слышали ранѣе... я, сколько помню, васъ предупредаль...

— Никто, рѣшительно никто не зналь, куда вы скрылись, — продолжалъ, не слушая возраженій, Дугановъ: — а между тѣмъ—дѣло такъ просто и ясно...

— Что же вамъ угодно отъ меня?—спросиль Спесивцевъ.

— Марья Родіоновна, моя жена, одновременно съ вами, тоже скрылась... И если она, какъ я убѣдилься, не съ вами еще пока, то, согласитесь, никто не поручитъ, что послѣ всего, что совершилось, вы сба виослѣдствіи...

— Не понимаю, — перебилъ Спесивцевъ:—какъ все это можетъ относиться ко миѣ?

— Не понимаете? вамъ не ясно?—торопясь и обрываясь, продолжалъ Дугановъ:—извольте-сь, поясню. Но зачѣмъ отговорки, зачѣмъ комедію ломать? Вы тогда выразились, что всегда будете къ моимъ услугамъ. Я это помню; а вы, какъ честный человекъ, скажите, помните ли это?

— Отлично помню.

— О, такъ извольте,—заговориль, еще болѣе торопясь и глядя въ уголь, Дугановъ,—только никому, слышите ли, ни слова... Утромъ, черезъ нѣсколько часовъ, здѣсь охота. Медвѣди обойдены въ трехъ или четырехъ мѣстахъ. У меня плашь и вы, надѣюсь, поймете меня... Вамъ починить... Не угодно ли выбрать болѣе отдаленное, помлше мѣсто и покончить тамъ между нами, прямо и безъ свидѣтелей, разъ навсегда?

Глѣбъ смолкъ. Зубы его стучали, какъ въ лихорадкѣ.

— То-есть, какъ же покончить? — спросилъ, не совсемъ понявъ его, Спесивцевъ:—дуэль предполагаете, что ли?

— Именно, дуэль-съ... и одинъ-на-одинъ.

— Но какъ же безъ свидѣтелей?

— О, разумѣется, не изъ-за угла же васъ или меня убить,—лепеталъ, странно улыбаясь, Глѣбъ: — а впрочемъ, если хотите, то, пожалуй, и даже именно почти изъ-за угла, то-есть... ну, изъ-за дерева... изъ-за куста...

Удивленіе Спесивцева возрастало. Едва улавливая несвязныя слова Дуганова, онъ старался въ полусвѣтѣ рассмотреть его лицо. Передъ нимъ мелькали только странно-расширенные глаза и блѣдныя губы Глѣба.

— Объясните, прошу васъ, подробнѣе,—сказалъ Спесивцевъ: — вы говорите, безъ свидѣтелей, слѣдовательно, безъ секундантовъ?

— Да-съ, безъ нихъ! — отрѣзалъ, вспыхнувъ, Глѣбъ:—на что они, въ нашемъ положеніи? лишняя только огласка! Вы же человѣкъ безъ предрасудковъ... Мы съ вами пройдемъ туда, станемъ, понимаєте, невдали другъ отъ друга, ну, съ краю какой-либо линіи, взведемъ курки, — даже цѣлить заранѣе дозволяется,—если хотите... и, вслѣдъ за криками гонцовъ, съ первымъ чымъ-либо выстрѣломъ на нашей линіи,—такъ это уже и положимъ, условимся,—пустимъ другъ въ друга нули. Повторяю, съ криками гонцовъ—цѣлиться, а при первомъ выстрѣлѣ въ цѣли—спускать курки...

— Дуэль на пистолетахъ? — спросилъ, какъ бы просыпаясь отъ тяжелаго сна, Спесивцевъ.

— Разумѣется, не на охотничьихъ же длинныхъ штуцерахъ.

— Но мнѣ дали здѣсь штуцеръ, у меня нѣтъ пистолета.

— Выберите изъ моихъ, я приготовлю,—сказалъ Глѣбъ.

«Онъ рѣшительно съ ума сошелъ,—мыслилъ Спесивцевъ, глядя на дико-сверкавшіе глаза и блѣдныя, странно-шевелившіяся губы Дуганова:—доказать ему его безуміе, неправоту? но развѣ это теперь возможно? Отъ помѣшаннаго, безумнаго — нигдѣ не уйти! да при этомъ его раздраженіе, и все равно,—не здѣсь, въ другомъ мѣстѣ,—даже здѣсь же въ лѣсу, на этой самой охотѣ, онъ нарвется вдругъ или подкараулить и подстрѣлить также изъ-за угла. Впрочемъ, и терять-то особенно нечего, хотя тутъ еще роковой вопросъ, жребій, — я или онъ? Чего мнѣ жалѣть въ жизни?

жалъ вопъ кого — бѣдную, брошенную имъ, превосходную женщину... А она и не подозреваетъ, въ эту минуту, что за нее рѣшается судьба двухъ жизней. Если онъ свернется, въ видѣ подстрѣленного бекаса, — самъ заслужилъ такую собачью судьбу!.. Ну, а если я?..»

— Вы этого действительно требуете? — спросилъ, помолчавъ, Спесивцевъ.

— Безповоротно и окончательно, — сказалъ Глѣбовъ: — при томъ, не далѣе сегодняшняго утра... Надѣюсь, все до времени останется въ полномъ секретѣ. Выстрѣлъ окажется потомъ какъ бы случайный... Охотники вѣдь нерѣдко сами въ себя, по неосторожности, пускаютъ зарядъ, -- не только въ грудь, но часто и въ животъ... и это бываетъ очень мучительно, — съ злою улыбкой прибавилъ Дугановъ: — намъ съ вами, впрочемъ, не такъ ли, все равно...

Сердце Спесивцева било тревогу. Онъ боролся съ собой.

— Извольте, я согласенъ, — отвѣтилъ онъ, наконецъ: — справлюсь о мѣстѣ, сообщу вамъ при отъѣздѣ, мы и встрѣтимся тамъ.

Дугановъ и Спесивцевъ, поклонясь другъ другу, разошлись по своимъ комнатамъ. Возвратясь въ раздумьѣ къ себѣ, Спесивцевъ зажегъ у ночника свѣчу, раскрылъ походную папку, съ инструментами въ суковномъ чехлѣ, досталъ оттуда клочекъ бумаги и карандашъ, и нѣсколько минутъ съ разстановками что-то писалъ. Кончивъ письмо, онъ сложилъ его, написалъ надъ нимъ адресъ, снова заперъ папку, положилъ письмо возлѣ себя, на столъ и, задувъ свѣчу, улегся въ постель. Онъ лежалъ, не смыкая глазъ. Тяжелыя мысли носились передъ нимъ. Ему вспоминалось прошлое, годы ученія, путешествіе въ чужихъ краяхъ, молодая женщина, которую онъ когда-то страстно любилъ и которая, лѣчась у него, неожиданно скончалась на его рукахъ, возвратъ въ Москву, горькое одиночество и отрадные часы, проведенные въ кругу Дугановыхъ. И вдругъ такой случай, это невозможное подозрѣніе и дикая месть озлобленнаго слѣпою ревностью человѣка. — «О, его не переубѣдить, не разуверить! — мыслилъ Спесивцевъ: — такъ тому и быть! значить, судьба!» — Во дворѣ послышались голоса. Фыркали лошади. — «Запрягаютъ, скоро ѣхать!» — подумалъ Спесивцевъ. Въ окнахъ сосѣднихъ зданій замелькали свѣчи. Коридоръ огласился шагами прислуги, поднимавшей господъ и выносив-

ней вещи. Спесивцевъ разбудилъ своего соночлежника. То былъ морской офицеръ.

— Не откажите, — сказалъ онъ ему: — доставить въ городъ по адресу это письмо.

— Запечатано? — спросилъ тотъ съ просонья.

— Сейчас попрошу въ конторѣ сургуча, запечатаю.

— Такъ положите въ карманъ моей шинели; вонъ она на стулѣ...

— Да пора и вамъ, вставайте, всѣ уже одѣты. Ыдутъ! — сказалъ Спесивцевъ, выходя въ коридоръ: — а если хотите знать мое искреннее мнѣніе, то еще лучше, вовсе не вставайте и спите себѣ, не рискуя въ конецъ простудиться.

Соночлежникъ перелегъ на другой бокъ и, съ мыслью: «а и въ самомъ дѣлѣ, чего я поѣду туда на толкотню и морозъ, когда еще такъ рано, а здѣсь такъ уютно и тепло?» — укрылся получше одѣяломъ и снова заснулъ.

X.

— Мы ѣдемъ вмѣстѣ? — спросилъ приноздавнѣй съ одѣваніемъ Галаховъ, увидѣвъ уже одѣтаго Дуганова, который, въ высокихъ сапогахъ и въ теплой па енотѣ шинели, укладывалъ свой шпугеръ не на вчерашнія, городскія извозчичьи сани, въ которыхъ они прѣѣхали, а на крестьянскія дровни, съ намощенной на нихъ соломой.

— Иѣтъ, голубчикъ, поѣзжай съ другими, — отвѣтилъ Глѣбъ: — я приглашенъ тутъ однимъ знакомымъ, на дальнюю цѣпь.

Охотничій поѣздъ двинулся. Скоро ожидался разсвѣтъ, но было еще темно. Вереница саней, скрипя по крѣпкому морозу, двинулась изъ усадьбы, миновала паркъ и понеслась къ ближнему лѣсу. Едва охотники въѣхали въ его просѣку, сзади раздалось звяканье серебристыхъ бубенчиковъ и мимо поѣзда, въ клубахъ снѣга, лѣтѣвшаго изъ-подъ четверки сѣрыхъ жеребцовъ, промчался широкія, брытые персидскимъ ковромъ пдшевні, на которыхъ сидѣлъ, кланяясь обгоняемымъ гостямъ, закутанный въ соболя и зъ высокой куньей шапкѣ, съ заломленнымъ бархатнымъ верхомъ, весь опущенный инеемъ, князь Орловъ. — «Останусь живъ, — думалъ Дугановъ, провожая его глазами, — отличный случай, — здѣсь же попрошу его о переводѣ на Дунай»...

Гостей и княжескіе стрѣлки устанавливались на назначен-

ныхъ мѣстахъ. Сани сворачивали съ дороги то въ одну, то въ другую просѣку. Между посеребренными деревьями, въ начинавшемся, блѣдномъ разсвѣтѣ, виднѣлись колошнвиіеся, съ рогатинами и дубинами, гонцы, разставленные съ ночи вокругъ обойденныхъ медвѣжьихъ берлогъ.

— А гдѣ же докторъ? — спросилъ кто-то управляющаго, подлѣхавшаго къ ближайшей линіи стрѣлковъ.

— О, у него на все особыя соображенія; онъ пробрался на самый край, къ лѣсной сторожкѣ.

— Почему?

— Туда, говорить, всѣмъ сходиться; въ началѣ всѣ будутъ осторожны, а въ концѣ разгоричатся и онъ тамъ будетъ, по его мнѣнію, полезнѣе.

Цѣль стрѣлковъ, въ концѣ лѣса, у сторожки, была расположена на песчаномъ взгорьѣ, у непролазной гущины сосенъ, кустарниковъ и березъ, спадавшихъ къ небольшому, круглому озерку. Узкій, чуть виднѣвшійся въ снѣгу, проселокъ шелъ вдоль этого мѣста къ озеру. Дугановъ и Спесивцевъ расположились у лѣваго края послѣдней линіи стрѣлковъ, ставшихъ за деревьями, лицомъ къ озеру, изъ-за котораго ожидался выходъ звѣрей.

Когда охотники заняли мѣста и Дугановъ вправо, за можжевелевымъ кустомъ, разглядѣлъ бѣлую, барашковую шапку и сѣрый, на лисьемъ мѣху, бениметь Спесивцева, онъ, нѣсколько подумавъ, подошелъ къ нему.

— Выбирайте, — сказали онъ, протягивая ему пистолеты.

— Заряжены? — спросилъ Спесивцевъ.

— За кого же вы меня принимаете? — отвѣтилъ, презрительно пожавъ плечами, Дугановъ: — вотъ вамъ и патроны.

Спесивцевъ сталъ заряжать выбранный имъ пистолеть. Дугановъ занялся своимъ. Его руки дрожали. Докторъ, по-видимому, былъ совершенно спокоенъ. Только его лицо было нѣсколько блѣдно, да глаза отъ бессонницы красноваты.

«Это, наконецъ, вѣдь, чортъ знаетъ, чтò такое! — думалъ, глядя на Дуганова, Спесивцевъ, — ну, хоть бы словомъ его образумить, показать ему все безобразіе этого дикаго и бессмысленнаго рѣшенія. Будь свидѣтели, секунданты, какъ у другихъ, я все разъяснилъ бы, остановилъ... А такъ... какое возмугительное безуміе! И ничего не подлѣаешь; все онъ перетолкуеть въ гнусную сторону, огласить, ославить трусомъ, подлцомъ».

Пистолеты были заряжены. Спесивцевъ взвелъ курокъ, насыпалъ на затравку пороха, снова прикрылъ затравку, и въ раздумьё поглядывалъ на пистолетъ, какъ бы не зная, что далѣе съ нимъ надо дѣлать.—«Скажу я ему: слушайте!—мыслилъ онъ;—не страхъ смерти, не сожалѣнiе о чемъ-либо изъ прожитаго останавливаетъ меня... Но согласитесь, вѣдь это злая нелѣпность и чепуха!.. Мы съ вами не глухие люди, разберитесь, наконецъ, хладнокровно!»

— А теперь, можете, для практики, и цѣлиться въ дерево, а то и въ меня,—объявилъ Дугановъ, спокойно уходя на свое мѣсто:—не забывайте главнаго, при первыхъ окрикахъ гонцовъ—наводить пистолеты, а при первомъ выстрѣлѣ въ нашей цѣпи, кто бы ни выстрѣлилъ, спускать курки.

Окраина лѣса, гдѣ за деревьями и кустами размѣстились охотники, болѣе и болѣе свѣтлѣла. Къ Спесивцеву съ линии, промежъ кустовъ, подошелъ, съ огромною старомодною винтовкой черезъ плечо, высокій и румяный старикъ-помѣщикъ, въ мѣховой курткѣ и шапкѣ съ наушниками. Въ его рукахъ были дорожная фляга и серебряный стаканчикъ.

— Не хотите ли?—сказалъ онъ, показывая на флягу.

Дугановъ, поблагодаривъ, отказался. Спесивцевъ съ удовольствiемъ выпилъ.

— Да у васъ тутъ и вполнѣ безопасно, — сказалъ, проходя мимо Глѣба, помѣщикъ: — докторъ подъ рукой... вѣдь вашъ сосѣдъ—докторъ, кажется?

Дугановъ утвердительно кивнулъ головой.

— И отлично, на всякій случай... изранить медвѣдь, по мощъ и готова.

— Ну, ужъ и изранить, почему же, — сказалъ Глѣбъ.

— Медвѣжій ходъ, государи мои, какъ разъ сюда съ озера, — сказалъ, затыкая флягу, старикъ: — въ прошломъ году, на этомъ самомъ мѣстѣ одного гонца медвѣдница свалила и такъ изгрызла, что пока подоспѣли сосѣди-стрѣлки, онъ и душу Богу отказалъ... Берегитесь, миленькiе; да цѣльте подъ лопатку, вотъ сюда... а пожи, пистолеты, кромѣ ружей, принасли?

— Пожей нѣтъ, а пистолеты есть, — отвѣтилъ Дугановъ, показывая свой.

Старикъ, переваливаясь, пошелъ на свое мѣсто. Лѣсъ, впереди за озеромъ и вокругъ стрѣлковъ, замолкъ. Гонцы, очевидно, приближались къ мѣсту, съ котораго долженъ былъ

начаться общій гонѣ. Въ мертвой тишинѣ, вдругъ наставшей кругомъ, слышался только лай собакъ въ какомъ-то дальнемъ поселкѣ, да осторожное, едва уловимое ухомъ, переступаніе, въ кустахъ, забнувшихъ ногъ сосѣднихъ стрѣлковъ. Съ высокой ели беззвучно сыпался снѣгъ отъ прыгнувшей съ вѣтки на вѣтку бѣлки. Сухой валежникъ предательски хрустѣлъ подъ чьими-то валенками, а сосѣдь, въ отчаяньѣ присѣвъ, укоризненно махалъ неосторожному рукамъ. Дугановъ покосился на то мѣсто, гдѣ стоялъ Снесивцевъ. Онъ, поверхъ невысокихъ, можжевеловыхъ кустовъ, явственно разглядѣлъ его плотную фигуру, сѣрый бешиметъ и бѣлую баранковую шапку. Опершись о стволъ сосны, докторъ былъ виденъ до пояса. Пистолеть торчалъ у него изъ-за лацкана бешимета. Штуцеръ онъ держалъ въ рукѣ и, казалось, разсѣленно смотрѣлъ прямо, изъ-за березы, на озеро.

«О чемъ онъ мыслить?— подумалъ Дугановъ, — спокойно ли обсуждаетъ, что вотъ, моль, жалкій, обманутый мужъ предложилъ ему безразсудную, короткую раздѣлку, и презрительно въ душѣ издѣвается надъ шмъ? или спокойно разсуждаетъ о томъ, какъ онъ, обстоятельный и сдержанный человѣкъ, спокойно прицѣлится въ этого бѣднаго мужа, спустить, въ условленное мгновеніе, курокъ и влѣпить ему нулю прямо въ лобъ?»

Порывъ злобной ненависти и жажды мщенія охватилъ Дуганова. Руки его тряслись, ознобъ пробѣгалъ по спиинѣ. Онъ положилъ ружье на землю и взялся за пистолеть. Вдали какъ бы что-то ахнуло. «Начинается!»— подумалъ онъ, взглянувъ на Снесивцева. Докторъ не измѣнилъ своего положенія. Звуки росли; гонъ становился явственнѣе. «Да, участь моя рѣшена, — мыслилъ Глѣбъ, — я волнуюсь, а онъ совершенно спокоенъ, обдумалъ, какъ видно, все и ждетъ... Бей же! погаси эту мятущуюся, никому ненужную, жалкую жизнь».

За озеромъ, въ ближайшей линіи, послышалось нѣсколько выстрѣловъ: пафъ-пафъ въ одной сторонѣ, пафъ въ другой. «Разомъ вышли два звѣря», — подумалъ Дугановъ. Голоса кричанъ раздавались по всему лѣсу. Послышалось постукиваніе дубинъ о деревья, ближе и ближе. Гонцы, отгибая послѣднюю изъ обойденныхъ берлогъ, надвигались къ линіи, стоявшей передъ озеромъ. На берегъ выскочило и робкими прыжками пронеслось по льду нѣсколько зайцевъ. Выбѣжала, остановилась, нюхая воздухъ, и нанесось, вдоль цѣпи

стрѣлковъ, помчалась, разстилая хвостъ, спугнутая лисица. По нимъ, въ ожиданіи медвѣди, положено было не стрѣлять. Крики гонцовъ стали раздаваться у окраины озера. «Да гдѣ же берлога?—думалъ Дугановъ, глядя изъ-за куста навстрѣчу гонцовъ,—или звѣрь ушелъ ранѣе?» Онъ взвелъ курокъ пистолета и оглянулся на то мѣсто, гдѣ стоялъ Спесивцевъ.

Тамъ, за кустомъ, у высокой, суховерхой сосны, онъ увидѣлъ хмурое лицо и пристально-устремленные на него глаза какого-то, точно незнакомаго ему, человѣка. Этотъ человѣкъ, держа въ протянутой рукѣ пистолеть, цѣлился прямо въ него. За озеромъ, въ это мгновеніе, мелькнуло и выкатилось на ледъ что-то рыжеватое-черное и косматое. «Медвѣдь!»—сообразилъ Дугановъ: «но почему же въ него не стрѣляютъ? А, понимаю! онъ вышелъ между мною и Спесивцевымъ, а намъ не до него»... Отведя глаза отъ косматой фигуры, которая, сбивая снѣгъ съ кустовъ, катилась на мягкихъ лапахъ по льду, Дугановъ подумалъ: «Неужели время настало и мы должны стрѣлять? и также навелъ пистолеть на Спесивцева. «Бумъ! бумъ!» раздавалось, въ это мгновеніе, нѣсколько оглушительныхъ выстрѣловъ по линіи. Одновременно съ ними, послышались два негромкіе, пистолетные выстрѣла...

Отъ опушки лѣса на озеро, пересѣкая полосы бѣловатаго дыма, сбѣгались съ ружьями ближайшіе стрѣлки. Гонцы, справа и слева, тащили по льду огромныя медвѣжьи туши.

— Кто убилъ?—слышались голоса.

— Двухъ, на-поваль... Одною князь, медвѣдицу Семень Васильевичъ. Побѣжали, ловятъ медвѣжатъ.

«Боже! что я надѣлалъ! что случилось?—подумалъ Глѣбъ, быстро кинувшись съ своего мѣста, сквозь цѣпкіе, колючіе кусты,—неужели Спесивцевъ упалъ, умереть, и я, я его убійца?» Онъ ясно въпослѣдствіи вспомнилъ, что вслѣдъ за выстрѣлами по линіи, его рука нажала пружину, спустила курокъ, впереди его тоже мгновенно что-то сверкнуло и онъ, услышавъ трескъ вѣтокъ и паденіе чего-то тяжелаго, нѣсколько секундъ не сознавалъ, что именно упало. Онъ приблизился... Передъ нимъ, безъ движенія, лежалъ тотъ, котораго онъ за секунду такъ глубоко ненавидѣлъ. Сердце Глѣба дрогнуло, онъ наклонился къ лежащему и припод-

нялъ его за плечи. Глаза Спесивцева были закрыты; блѣдное и спокойное лицо его какъ бы говорило: «Все кончено; чего еще пужно тебѣ, мой ожесточенный, слѣпой и счастливый, въ своей злобѣ и мести, врагъ?» Острое, жгучее раскаяніе, презрѣніе къ себѣ и стыдъ за исполненное дѣяніе охватили Глѣба. Къ раненому сбѣжались другіе стрѣлки. «Бешметъ разстегните, что вы? голову сюда, повыше!»— слышались голоса. «Кто раненъ?» «Да самъ докторъ»... «Къ князю скорѣе»...

Охотники, столпясь вокругъ князя на озерѣ, разсматривали добычу. Счастливо улыбавшійся Орловъ, отирая вспотѣвшее лицо, въ распахнутой пубѣ и съ шапкой на затылкѣ, стоялъ въ подшвеняхъ. Егеря угощали гонцовъ. Толстый и важный дворецкій держалъ передъ княземъ за спину пойманнаго, забавно-рычавшаго медвѣжонка.

— Да, господа,—произнесъ Орловъ:—удача разлюбезная; и второй разъ... на томъ же самомъ мѣстѣ.

Къ князю подбѣжалъ, запыхавшись, безъ шапки, его любимый егерь.

— Ваше сіятельство,—сказалъ онъ:—раненъ одинъ изъ охотниковъ... и опасно-съ!

— Зови лѣкаря, скорѣе!

— Да лѣкарь-то и раненъ.

— Какой? тарбѣвскій?

— Онъ самый.

— По неосторожности?

— Должно статья.

— Вотъ они, эти торопыги. Гдѣ?

— Эвosi, въ тѣхъ кустахъ, ваше сіятельство, подъ тою вонъ сосной.

— Пошелъ туда!

XI.

Княжескія сани, окруженные гурьбой охотниковъ, двинулись по направленію къ указанному мѣсту. Здѣсь между можжевельныхъ кустовъ, опершись головой о стволъ сосны, лежалъ на снѣгу, поддерживаемый старикомъ-помѣщикомъ, блѣдный, съ закрытыми глазами, Спесивцевъ. Возлѣ него валялся штуцеръ и пистолетъ. Кровь, сквозь разстегнутый бешметъ, сочилась изъ груди его, окрашивая подъ нимъ притоптанный снѣгъ.

Орловъ всталъ къ нему изъ саней.

— Перевязку, бинтовъ! еще сани сюда!—обратился онъ къ окружающимъ раненаго и разстегивая свой кафтанъ.

— Простудитесь, ваше сіятельство, — говорилъ дворецкій:—мы, помилуйте, и сами!

Князь сорвалъ съ себя батистовое жабо; другіе подали ему платки. Сдѣлавъ пѣскоро перевязку раненому, его бережно подняли и уложили въ сани. Онъ медленно открылъ глаза и вздохнулъ. Станный хрипъ слышался изъ его груди.

— Что съ тобою, голубчикъ?—спросилъ его Орловъ, угадывая, что докторъ раненъ въ грудь.

— Пустиаки-съ... второяхъ уронилъ пистолеть, — чуть слышно проговорилъ Спесивцевъ:—падая, онъ куркомъ, вѣроятно, задѣлъ за кустъ... и выстрѣлилъ... арники надо бы, корнн...

«О лѣкарствахъ, о корнн вспомнилъ!—презрительно подумалъ Глѣбъ,—куда дѣлась *vis medicatrix naturae*?»

— Не безнокойся, — сказалъ раненому Орловъ:—нослали въ городъ за твоимъ коллегой.

Сани тихо двинулись. Спесивцевъ махнулъ дворецкому рукой. Тотъ подбѣжалъ и нагнулся къ нему.

— Этотъ господинъ,—прошенталь черезъ силу раненый, указывая на Дуганова, неподвижно и молча стоявшаго поодаль, среди другихъ стрѣлковъ.

— Позвать ихъ?—спросилъ дворецкій.

— Нѣтъ, замѣлъ? отдайте ему... пистолеть... я выпросилъ у него, на всякій случай, — онъ ссудилъ и, какъ видите...

— Все будетъ исполнено, — отвѣтилъ дворецкій, укрывая раненаго полетью:—главное, сударь, будьте спокойны.

— Ничего не жалѣть!—сказалъ дворецкому Орловъ, прожевая глазами увозимаго доктора:—дать помѣщеніе и все... несприятная оказія, да, авось, Богъ помилуетъ. А, Дугановъ!—произнесъ князь, увидя Глѣба, среди прочихъ охотниковъ:—у меня къ тебѣ дѣло, садись со мной.

Дугановъ, не помня еще себя отъ всего рокового, что совершилось передъ нимъ, поклонился и сѣлъ рядомъ съ княземъ.

— Каковъ случай, — замѣтилъ Орловъ:—и надо было, какъ вспомню, все это почти предвидѣть... съ вечера, вчера, мой комнатный меделянскій несъ, ну, вѣрннш ли, вылъ, какъ по покойнику!

«И въ этой смерти, если ей быть суждено,—думаль, замырая, Дугановъ:—я виноватъ!»

— Ты стоялъ въ этой же цѣни?—спросилъ князь.

— Въ этой,—отвѣтилъ Глѣбъ.

— Далекъ отъ него?

— Почти рядомъ, въ десяти, пятнадцати шагахъ.

— Какъ онъ еще не прострѣлилъ тебя самого? Охъ, ужъ эти штафирки! его позвали, какъ врача; такъ нѣтъ, не вытеривѣлъ, тоже сталъ съ оружіемъ, покажу, молъ, свою ловкость и храбрость.

Глѣбъ молчалъ. Ему вспоминались глаза Спесивцева и протянутый, въ направленіи къ нему, пистолетъ.

— Кстати, однако,—продолжалъ Орловъ:—медвѣдь медвѣдемъ, а я могу тебя поздравить и съ другой, убитой тоже на поваль, добычей,—съ медвѣдицей! Государыня вчера подписала резолюцію по дѣлу той московской барыни. Согласно съ прошеніемъ старухи Кордониной, велѣно все имѣнія, подаренныя ею обидчицѣ-дочери, отписать обратно за дарительницею, а ей самой, за дерзости и обиды, напесенныя матери, отправиться отсюда, подъ строгій надзоръ и отвѣтъ князя, въ Москву. Дѣлать тебѣ здѣсь болѣе потому нечего... Понимаю твое нетерпѣніе. Можешь обрадовать жену... Завтра или послѣ завтра выдадутъ тебѣ все пужныя бумаги, и поѣзжай, съ Богомъ. Къ князю буду писать самъ; передъ отъѣздомъ, впрочемъ, зайди,—наняшу черезъ тебя князю.

— Слушаю, ваше сіятельство, и приношу глубокую благодарность,—отвѣтилъ Глѣбъ:—но могу ли при этомъ беспокоить васъ еще объ одной милости?

— Говори, слушаю.

«Ну, къ чему я буду проситься на Дунай?—подумаль Дугановъ, —дѣло тамъ, того и гляди, скоро кончится; попрошусь лучше на службу лично къ нему»...

— Такъ какъ порученіе князя теперь исполнено и если на то будетъ его согласіе, могу ли утруждать ваше сіятельство о зачисленіи, переводомъ меня, въ штатъ лично служащихъ при вашей особѣ?

Орловъ разсѣянно слушалъ его.

— Хорошо, милый, хорошо!—отвѣтилъ онъ, оглядываясь на сани доктора, которыя показались въ это время изъ

лѣсу:—жалъ этого лѣкаря; говорить, неселый, хорошій человекъ, и вдругъ такой случай.

Болѣ Орловъ, до Гатчины, не говорилъ. Онъ думалъ вообще о превратностяхъ судьбы, предвидя роковыя перемѣны и для себя.

Въ Гатчинѣ Дугановъ отыскалъ Галахова и съ нимъ возвратился въ Петербургъ. За закуской, которую, отъ имени князя, предложилъ охотникамъ гатчинскій управитель, всѣ толковали о печальномъ приключеніи съ докторомъ.

— Пустяки,—сказалъ кто-то:—легкая рана въ плечо.

— Не умѣешь обращаться съ оружіемъ, лучше и не берись за него.

— Да почему вы знаете,—возразилъ сидѣвшій тутъ старикъ-помѣщикъ, въ сѣрой курткѣ:—да онъ, можетъ-быть, прирожденный охотникъ? какъ вышелъ ромъ! сейчасъ видно... да я съ нимъ, за секунду передъ тѣмъ, говорилъ. Случай, не больше; сорвалось и все... Да-съ, докторъ раненъ, за то мы вотъ всѣ цѣлехоньки... выпьемъ!

И всѣ выпили.

«И я уцѣлѣлъ, благодаря случайности, не болѣе!» думалъ, слушая общіе разговоры, Дугановъ.

На пути въ Петербургъ, Галаховъ замѣтилъ смущеніе Глѣба.

— Что, и тебѣ жалъ этого господина?—спросилъ онъ.

— Еще бы, старый знакомый, неожиданно встрѣтились.

— Да, вѣдь, у тебя и пистолетъ онъ, кажется, взялъ?

— Стояли рядомъ.

— Толкуютъ, пустое,—сказалъ Галаховъ:—хороши пустяки!

— А что, развѣ?..

— Его осматрѣлъ другой докторъ; говоритъ, пуля пробила плечо и задѣла легкое... ну, а ты знаешь, чѣмъ это пахнетъ... фью!..

— Кто это тебѣ сказалъ?—спросилъ Глѣбъ.

— Управляющій.

— И что же?

— Говоритъ, рана тяжелая и, по всей видимости, безнадежная.

Дугановъ помертвѣлъ.

«И неужели я, именно я желалъ его смерти, вызывалъ и торопилъ его къ ней?—думалъ Дугановъ, войдя, въ су-

мерки, въ свою комнату,—по зачѣмъ я молчалъ, какъ трусъ, тамъ въ лѣсу и за завтракомъ? почему не объявилъ всѣмъ, что я ранилъ его?.. Нельзя было иначе! Такъ было рѣшено, дѣло шло о чести женщины... Но восстановлена ли этимъ чья-либо честь? Можетъ ли быть, послѣ этого, близка для меня та, изъ-за которой гибнетъ онъ, дорогой ей человѣкъ, а мнѣ, очевидно, по ненавистной и несчастной для ней случайности, суждено жить? Безумное рѣшеніе, безумный конецъ»...

Черезъ нѣсколько дней, получивъ нужныя бумаги по дѣлу Корониной, Дугановъ воспользовался общимъ пріемомъ у князя Орлова и поѣхалъ къ нему въ городскую квартиру—откланяться.

— Чтѣ скажешь?—спросилъ князь, увидѣвъ его, среди другихъ посѣтителей.

— Ёду обратно въ Москву.

— Когда отправишься?

— Завтра.

— Ну, вотъ чтѣ,—сказалъ, подумавъ, князь:—теперь некогда; заѣзжай, по пути, ко мнѣ въ Царское Село,—я туда возвращусь сегодня же; у меня будетъ письмо, съ однимъ документомъ, къ твоему шефу, князю Волконскому,—тотъ документъ въ Царскомъ, и мнѣ нужно, чтобы ты лично передашь его въ руки князя Михаила Никитича.

Глѣбъ отвѣтилъ, что онъ исполнитъ желаніе князя. Ёхать въ Царское онъ рѣшилъ также въ тотъ же день, съ вечера, чтобы, переночевавъ тамъ, пораньше явиться къ Орлову. Вещи давно были уложены. Послѣ ранняго обѣда, Глѣбъ послалъ за почтовыми лошадьми, и когда ихъ подали, зашелъ проститься къ своему сожителю. На дворѣ шумѣлъ вѣтеръ, шелъ снѣгъ.

— Ну, до свиданія, Александръ Павловичъ,—сказалъ онъ, входя, въ дорожномъ нарядѣ, въ комнату Галахова.

Послѣдній, по обычаю, сидѣлъ у письменнаго стола, передъ грудой бумагъ, которыя онъ, при входѣ Глѣба, открылъ портфелемъ.

— Какъ? ты уже ѣдешь?—удивился Галаховъ.

— Да, необходимо, мнѣ назначенъ срокъ.

Пріятели дружески обнялись.

— До скорого, надѣюсь, свиданія,—сказалъ Галаховъ:—

по зачѣмъ ѣдешь противъ погоды? лучше бы завтра, съ утра... смотри, какая непогода, будетъ метель.

— Нельзя, — отвѣтилъ Глѣбъ: — князь Григорій Григорьевичъ, отпуская меня сегодня, пожелалъ, чтобы я завтра, по пути, заѣхалъ къ нему въ Царское: — ну, лучше, не правда ли, заранее прибыть туда и, тамъ обождавъ, явиться во-время?

— Разумѣется, — отвѣтилъ, какъ бы что-то обдумывая, Галаховъ: — видно, что-нибудь очень нужное, если князь, чуть не при ежедневной отпавкѣ фельдъегерей, пользуется оказіей съ тобой.

— А какъ полагаешь, гдѣ мнѣ придется его видѣть тамъ? тебѣ это должно быть извѣстно.

— Въ собственномъ, разумѣется, его флигелѣ, — справа отъ дворца.

— Въ которомъ лучше часу?

— Пораньше явись; встаетъ же онъ въ разное время — то съ разсвѣтомъ, а иногда и въ полдень.

— Хорошо, значитъ, что ѣду наканунѣ... Кстати, однако, — прибавилъ Глѣбъ: — столько времени мы прожили вмѣстѣ и я тебя не спрашивалъ... Скажи, если это не особый секретъ, по части какихъ вообще бумагъ ты работаешь для князя? военныхъ, придворныхъ или политическихъ? Если тайна, не смѣю спрашивать, и ты мнѣ не говори.

— О, пустяки! — отвѣтилъ, улыбувшись, Галаховъ: — частныя дѣла князя, — ну, больше по его имѣніямъ, — онъ плохой хозяинъ и считать почти не умѣетъ, — кромѣ того, семейная переписка... Ничего, увѣряю тебя, о чемъ бы стоило говорить, ни важнаго, ни любопытнаго.

— Ну, будь же здоровъ, не поминай лихомъ, — сказалъ, протянувъ руку, Дугановъ.

— Прощай, Глѣбъ Андреевичъ! не забывай и ты, да хоть изрѣдка пиши о себѣ.

Пріятели простились. Доѣхавъ до Царскаго Села, Глѣбъ переночевалъ тамъ на постояломъ и рано утромъ отправился къ князю Орлову. Дежурный камердинеръ объявилъ ему, что князь, возвратясь изъ Петербурга, вспоминалъ о немъ и приказалъ принять его, но съ вечера игралъ долго во дворцѣ въ карты и еще не вставалъ. Глѣбъ, по совѣту камердинера, пришелъ черезъ часъ. Передъ подъѣздомъ дворца и флигелемъ Орлова стоялъ уже рядъ придворныхъ и городскихъ экипажей.

— Князь только-что ушли во дворецъ и просили васъ звѣстаться туда,—сказаль камердинеръ Глѣбу.

— Куда же это? какъ пройти?—спросилъ Глѣбъ.

Камердинеръ указаль парадное крыльцо.

— Идите, сударь, прямо, — сказалъ опъ: — доложите тамъ,—князь, молъ, лично приказаль.

XII.

Дугановъ вошелъ въ обширныя темныя сѣни, наполненныя ливрейными слугами, дневальными и вѣстовыми. Придворный скороходъ, въ золотой шапкѣ, съ страусовыми перьями, провелъ его черезъ небольшую пріемную залу, гдѣ сидѣло нѣсколько лицъ, представлявшихся въ тотъ день государынѣ, и длиннымъ, полуосвѣщеннымъ коридоромъ нижняго яруса, потомъ рядомъ небольшихъ, внутреннихъ комнатъ, достигъ правой стороны дворца, окнами выходившей въ садъ. Дугановъ очутился въ угольной комнатѣ, съ китайскимъ бильярдомъ, зеркаломъ между оконъ и диванами вдоль стѣнъ. Предложивъ ему сѣсть, скороходъ сказалъ: «Здѣсь приказано подождать» — и ушелъ. — «Государынищъ бильярдъ! — подумаль Глѣбъ, съ благоговѣніемъ осматривая комнату,—она развлекается здѣсь, въ минуты отдыха, для моціона». — Стѣны комнаты были увѣшаны картинами, изображавшими сцены морскихъ и сухопутныхъ сраженій. На одной изъ нихъ масляными красками былъ нарисованъ бой подъ Полтавой, на другой—взятіе Нарвы. Прочія изображали походы и битвы крестоносцевъ. Дугановъ сталъ разсматривать ихъ. Кругомъ было тихо. Только отъ движенія экипажей, подъѣзжающихъ ко дворцу, изрѣдка слышалось позвякиванье стеклянныхъ призмочекъ, висѣвшихъ подъ потолочною, бронзовою люстрой. — «Гдѣ же теперь князь?—раздумываль Глѣбъ,—въ пріемной большею частью не важныя лица, а у подъѣзда столько придворныхъ экипажей. Не совѣтъ ли какой-либо собрался у государыни? и скоро ли освободится князь?» — Прошло полчаса, часъ и болѣе. На дворѣ вдругъ стемнѣло. Нашла туча, ворохами повалилъ снѣгъ. Съ вершинъ деревьевъ поднялась и стала кружиться, въ снѣжной пеленѣ, туча воронъ и галокъ. Глѣбу вспомнились пернатые полчища надъ садомъ въ Ракитномъ. Опъ перепесся мыслию къ матери. — «Здорова ли она,—думалось ему, — знаетъ ли о моемъ разрывѣ и разлукѣ съ женой? Надо бы провѣдать ее,—едва сдамъ дѣло главнокомандую-

щему, отпропущу въ отпускъ, навѣщу ее». Еще прошло нѣсколько минутъ. За дверью, противоположною той, въ которую вошелъ Дугановъ, послышались неслышныя, тяжелыя шаги. Дверь отворилась, на порогѣ показался князь Григорій Григорьевичъ. Лицо Орлова было возбуждено. Пятна румянца проступали на гладко-выбритыхъ щекахъ. Глаза были отуманены.

— А, ты здѣсь?—сказалъ онъ разсѣянно, мелькомъ взглянувъ въ зеркало и оправляя на себѣ кружевное жабо и манжеты:—очень радъ; иди за мной. Вотъ тебѣ письмо къ князю Михаилу Никитичу,—сказалъ онъ, подавая Глѣбу пакетъ:—но это не все... Государыня, узнавъ, что я пишу съ тобой къ князю, также пожелала лично, черезъ твое посредство, послать письмо къ князю и отъ себя...

Орловъ повернулся и пошелъ обратно. Дугановъ, замирая, молча послѣдовалъ за нимъ. Они миновали нѣсколько пустыхъ комнатъ. Одна изъ нихъ показалась Глѣбу уборною, другая была, очевидно, библиотекой, третья—нѣчто въ родѣ оранжерей, съ цвѣтущими растеніями на окнахъ и вдоль стѣнъ.

— Я за тебя, сударь, поручился, — строго сказалъ, идя далѣе и не оборачиваясь, Орловъ:—аттестовать, помни, тебя какъ скромнаго и усерднаго человѣка, способнаго соблюсти монаршее порученіе.

— Не знаю, ваше сіятельство, чѣмъ я удостоился и могу ли въ жизни хоть чѣмъ-либо заслужить столь великую милость?—отвѣтилъ, кланяясь, Дугановъ.

— Не я, впрочемъ, тебя указалъ, сама государыня услышала о тебѣ и рѣшила.

«Теперь уже князь не откажетъ взять меня къ себѣ,—подумалъ, слѣдуя за Орловымъ, Дугановъ, —исполнивъ порученіе, напишу ему изъ Москвы».

Шаги Орлова вдругъ затихли, точно куда-то исчезли, хотя онъ продолжалъ идти впередъ. Глѣбъ подъ ногами почувствовалъ нѣжный и мягкій, какъ пухъ, коверъ. Въ комнатѣ, куда они вошли, окна, въ виду наступившей, передъ тѣмъ, отъ падашаго снѣга темноты, были закрыты гардинами и комнату освѣщали восковыя розовыя свѣчи, въ красивыхъ фарфоровыхъ кенѣтахъ, висѣвшихъ по стѣнамъ. Стѣва, у двери въ слѣдующія комнаты, стоялъ высокій, съ коричнево-бронзовымъ лицомъ и такими же руками, арабъ,

въ ярко-пунцовой курткѣ, расшитой золотыми шнурками, въ зеленыхъ шараварахъ, желтыхъ туфляхъ и въ бѣлой, огромной чалмѣ.

— Побудь здѣсь, тебя позовутъ, — произнесъ Орловъ, указавъ Дуганову мягкую шелковую кушетку, у двери, возлѣ которой стоялъ стражъ.

Арабъ, склонясь, отворилъ дверь. Орловъ скрылся за нею. — «Такъ вотъ что, — съ цевольнымъ трепетомъ подумалъ, усѣвшись, Глѣбъ: — сама государыня удостоиваетъ меня высокой чести доставить ей строки главнокомандующему. Но вѣдь это, дѣйствительно, простая случайность; она узнала, что ѣдетъ нарочный, и пожелаала воспользоваться оказіей. Гдѣ въ эту минуту государыня? неужели невдали, даже, быть-можетъ, прямо за этою стѣною? И что здѣсь рядомъ за комната? пріемная для немногихъ, ближайшихъ къ государынѣ особъ, или собственный ея рабочій кабинетъ? Вотъ взглянуть бы, если тамъ нѣтъ никого... Каково убранство этой комнаты? Увидѣть бы ея кресло, рабочій столъ, за которымъ она рѣшаетъ дѣла великой имперіи».

Изъ-за двери, между тѣмъ, Глѣбъ разслышалъ звуки голоса. По соседству кто-то, казалось, говорилъ или что-то читалъ, смолкалъ и снова говорилъ. Кто говорилъ и о чемъ? докладчикъ ли излагалъ какое-либо сообщеніе, или изволила говорить сама императрица? — «Вотъ пріотворить бы дверь, посмотрѣть бы въ нее, хоть секунду, послушать бы! — пришло на мысль Дуганову: — нельзя! это губатое чудовище тутъ на-сторожѣ!» — Арабъ, между тѣмъ, прислонясь плечомъ къ притолку двери, стоялъ какъ вкопанный, не шелохнувшись и такъ спокойно, точно дремалъ. — «Неужели и впрямь дремлетъ? — досадливо мыслилъ Глѣбъ. Онъ обернулся къ нему. Черные, круглые глаза араба, съ желтыми бѣлками, пристально глядѣли на него. — «Попросить его? — подумалъ Глѣбъ, — а какъ откажетъ, да еще передастъ князю дерзкую мою просьбу?»

За дверью послышался серебристый звонокъ крохотнаго колокольчика. Арабъ встрепенулся, беззвучно шагнулъ за дверь и, вновь появившись обратно, съ бумагами, направился съ ними въ другую дверь. Дрожь охватила Дуганова... Голоса за дверью, изъ которой арабъ вынесъ бумаги, стали вдругъ до того явственны, что Глѣбъ слышалъ чуть не каждое слово говорившихъ тамъ. Арабъ, уходя съ бумагами,

очевидно, неплотно притворилъ дверную половинку. Глѣбъ тихо всталъ, подошелъ на цыпочкахъ къ двери и взглянулъ сквозь ея щель. Его сердце сильно забилося.

Онъ увидѣлъ круглый широкій столъ, покрытый зеленымъ сукномъ. На столѣ стоялъ канделябръ съ зажженными свѣчами. За столомъ, лицомъ къ двери, сидѣла императрица, въ сѣромъ шелковомъ платьѣ, съ жемчугомъ въ напудренныхъ волосахъ. Справа, возлѣ нея, помѣщался канцлеръ графъ Никита Ивановичъ Панинъ; слѣва—генераль-прокуроръ князь Александръ Алексѣевичъ Вяземскій; далѣе, въ полуоборотъ къ двери, сидѣли, — съ одной стороны князь Григорій Григорьевичъ Орловъ, съ другой — Григорій Александровичъ Потемкинъ и—уже спиной къ двери—бывшій гетманъ, графъ Кирилло Григорьевичъ Разумовскій и фельд-маршалъ, графъ Захаръ Григорьевичъ Чернышевъ. Дугановъ узналъ не только старыхъ, всему Петербургу извѣстныхъ, давнихъ пособниковъ Екатерины, но и новое, восходившее надъ придворнымъ міромъ, яркое свѣтило,—Потемкина, котораго онъ не разъ видѣлъ, въ проѣзды послѣдняго черезъ Москву.—«Тайный совѣтъ ея величества! экстренное собраніе!—пронеслось молніей въ мысляхъ Глѣба,—и я его вижу, услышу, можетъ-быть!»—Онъ оглинулся, прислушался, не возвращается ли услаанный страхъ, и, съ восхищеніемъ и ужасомъ за свою рѣшимость, припалъ глазомъ къ двери. Онъ слушалъ, мысленно повторяя: «Боже мой, Господи! и я дѣйствительно это вижу и слышу!» Черезъ минуту онъ опомнился.—«Но зачѣмъ я, безумный, такъ рискую? — подумалъ онъ,—арабъ можетъ каждую секунду возвратиться, застать меня здѣсь... вѣдь будетъ слышно и такъ!»—Онъ, въ несодolimомъ волненіи, опустился на ту же кушетку, у двери. И точно, каждое слово говорившихъ въ сосѣдней комнатѣ явственно, попрежнему, долетало до него изъ-за порога.

— Такъ вы, господа, не одобряете? — слышался, съ замѣтнымъ нѣмецкимъ акцентомъ, голосъ Екатерины: — не совѣтуете, чтобы я, какъ мнѣ хотѣлось, сама ѣхала для спасенія государства въ Москву и лично стала бы во главѣ войскъ, посылаемыхъ для истребленія злодѣя Пугачова? Что скажете, но откровенно, вы, графъ Никита Ивановичъ? не слѣдуетъ, по-вашему, нехорошо?

— Не только нехорошо, но, въ разсужденіи достоинства

и цѣлости имперіи, даже бѣдственно, — отвѣтилъ негромкій и вмѣстѣ твердый голосъ Панина:—эта поѣздка, увеличивъ небольшую еще въ общемъ опасность, только ободритъ и умножить мятежную чернь. А! скажутъ, вотъ какъ, сама государыня бросила столицу и сына и уѣхала къ войску, значить совсѣмъ неладно... она и въ Турцію къ Румянцеву, противъ самого султана, лично не выступала, а тутъ—противъ мужика... значить, и впрямь онъ вовсе не мужикъ!

Екатерина помолчала. Молчали и остальные.

— Согласна, уступаю, такъ и запишите, господинъ секретарь,—сказала Екатерина, обращаясь къ какому-то, кого Дугановъ не разглядѣлъ въ дверь, за секретарскимъ столомъ: — назначимъ, когда понадобится, изберемъ для того иное, съ полною силою и властью, лицо. А теперь объ иномъ, не менѣе важномъ... Вы слышали, — продолжала императрица:—князь Григорій Григорьевичъ считаетъ, что нынѣшній за Волгой, обширный и безпримѣрный, по дерзости и жестокостямъ, бунтъ черни главнѣйше выросъ и усилился, вслѣдствіе многихъ бѣдствій крѣпостного народа, угнетаемаго помѣщиками, монастырями и казной, и предложилъ мнѣ частно, а здѣсь при васъ и вторично—отмѣну крѣпостного состоянія... Что скажете на это?

— Мѣра гибельная и бѣдственная,—произнесъ, подумавъ, генераль-прокуроръ Вяземскій: — къ смутѣ одной губерніи прибавятся смуты въ остальныхъ, сказать проще — бунтъ цѣлой имперіи.

— Лучше умножить число войска за Волгой, — сказалъ фельдмаршалъ Чернышовъ:—послать въ распоряженіе князя Волконскаго еще нѣсколько полковъ пѣхоты, пушекъ и кавалерію.

— Именно, прежде надо истребить мятежь, и тогда уже подносить монархінѣ проекты новыхъ законовъ,—отозвался бывший гетманъ, графъ Разумовскій:—не въ бурю и не въ хозяйскую страду перестраиваются дома и хижины, а въ пору отдыха и полной тишины.

— Матушка, мудрая монархиня!—не вытерѣвъ, вскрикнулъ князь Орловъ:—не слушай ихъ, слушай своего сердца! Въ чемъ колебанія? Скажи одно слово — и цѣпи народнаго рабства рухнутъ, распадутся! Всѣ мы, владѣльцы крѣпостныхъ душъ, — и я, каюсь, не послѣдній изъ ихъ числа, — грѣшны и виновны передъ тобой и закономъ за подданныхъ

своихъ. Не мы ли проигрывали дарованныхъ намъ тобою и твоими предками крѣпостныхъ людей въ карты, мѣняли ихъ на рѣзвыхъ скакуновъ и роскошныя мебели? Не мы ли, стыжусь повторить, закладывали ихъ, какъ движимость, продавали, разлучая семьи, на переводъ,—въ дальнія окраины и въ зачетъ рекрутовъ? Скажи слово—и все высшее, все знатное, среднее и мелкое дворянство, какъ истые патриоты, ударитъ тебѣ челомъ, многомилостивая, своими вотчинами, селами и хуторами... Вери ихъ, для спасенія и замиренія отечества, обратню! Объявляй неотлагательно общую вольность нашихъ и твоихъ собственныхъ, казенныхъ рабовъ; церковь, съ монастырями, послѣдуетъ за тобой! Не будетъ у стѣсненнаго народа причины къ мятежамъ, бунтъ за Волгой утихнетъ, и сами крамольники придутъ и выдадутъ тебѣ головой своего вожда, на твое рѣшеніе и правый судъ.

Общее молчаніе было отвѣтомъ на слова Орлова. Всѣ ждали, чѣмъ выразится мнѣнію самой государыни, относительно небывадаго, по смѣлости, даже дерзости, предложенія, которымъ, какъ думали нѣкоторые, терпящій свое значеніе фаворитъ, очевидно, стремился съ этой стороны возстановить свое значеніе и силу.—«Тебѣ легко вольнодумствовать, на чужой счетъ! — мыслили противники Орлова, — ты, выскочка, давно ли списканъ помѣстьями и всякими благами, безъ числа? У тебя возмутъ, наверстаешь втрое... а мы, наследственные, исконныя дворяне, — намъ не до твоихъ акробатскихъ, головоломныхъ фокусовъ и скачковъ!»

Видя смущеніе, вызванное въ главныхъ членахъ совѣта словами Орлова, Екатерина молча вынула изъ кармана крохотную табакерку, раскрыла ее и поднесла къ носу, глядя на Потемкина, съ хмурымъ лицомъ нагнувшись и недобольно сопѣващаго надъ листомъ бѣлой, чистой бумаги, лежавшей передъ нимъ на столѣ.

— Смѣло и дѣльно, какъ всегда, выразились вы, князь Григорій Григорьевичъ,—сказалъ Потемкинъ, слегка сложивъ въ сторону Орлова и продолжая смотрѣть на листъ бумаги:—кто возразитъ противъ святой истины, что рабство недостойно нашего вѣка и славы свободолюбивой и великодушной нашей монархини? Нѣтъ спора, всѣ мы сочувствуемъ вамъ... не правда ли? — обратился Потемкинъ къ прочимъ членамъ совѣта.

Всѣ, нѣсколько смущенно, молча поклонились ему.

— Но кто поручится, — продолжалъ Потемкинъ: — что ваше добро не станетъ худшимъ зломъ для того же народа?

— Какъ это? почему?—опять не вытерпѣвъ, съ горячностью возразилъ Орловъ.

— А такъ, батюшка, ваше сіятельство, очень просто!— отвѣтилъ спокойнымъ, твердымъ голосомъ Потемкинъ:— неразвитаая, слѣпая и дикая чернь,—разнуздайте вы только ее, дайте ей вольную волюшку, и вы увидите, — она броситъ неблагодарный и тяжкій трудъ земледѣльца и бурнымъ потокомъ хлынетъ изъ селъ въ города. Что вы сдѣлаете въ то время? Кто будетъ воздѣлывать хлѣбныя нивы, платить оброки, давать рекрутовъ? Деревне опустѣютъ, поля зарастутъ сорными травами и лѣсомъ. Что скажете отечество, когда ему станетъ грозить голодъ, а преступленія всякаго рода, кражи, грабежи, насилія и убійства обратятъ великую имперію въ страну ирокѣзскихъ дикарей, чуть не людоѣдовъ? Кѣмъ вы станете укрощать буйства и мятежи? Войскѣ нечѣмъ будетъ комплектовать, — вольные люди не дадутся, чтобъ имъ брили лобъ... Не на манеръ ли Англіи станете вербовать охотниковъ на базарахъ и площадяхъ? О прочихъ, въ столь важномъ дѣлѣ, потеряхъ государства и частныхъ лицъ не говорю,—онѣ всякому извѣстны...

XIII.

«Ай да мастера!—думали, слушая Потемкина, старѣйшіе изъ членовъ совѣта, — такъ говорить и мыслить подь-стать хоть бы и многоопытному дѣльцу, убѣленному сѣдиной. Угадалъ, забилъ вольнодумца! далеко пойдетъ!»

— Не спорю о потеряхъ, не спорю! — вскрикнулъ Орловъ:—всѣ мы, отъ богачей до бѣдныхъ, сильно потерпимъ отъ предлагаемой мною мѣры, даже, быть-можетъ, разоримся въ конецъ. Но надо, государи мои, думать не о насъ лично, а объ отечествѣ и о славѣ великой монархини, которой мы обязаны служить до послѣдней капли крови. Не она ли, первая въ государствѣ, внявъ голосу и нуждамъ народа, еще недавно созывала, на вѣчную память о себѣ, комиссію для начертанія проекта новаго уложенія? и не тамъ ли, не въ этой ли комиссіи, впервые передъ всѣми, раздались заглушенные, впрочемъ, недальновидными слѣпцами, голоса, что назрѣло время подумать, коли не о полной отмѣнѣ, то хотя бы о сокращеніи узнительнаго рабства? Говорите противъ меня, возражайте; я остаюсь при своемъ: ранѣе подумали бы

о моей мысли, не было бы ни бунта за Волгой, ни Пугачова...

— Не было бы! не случилось бы! вотъ какъ! — произнесъ, глядя на Орлова, Потемкинъ: — все это, извините, ваше сіятельство, такія же загадки, какъ и этотъ чистый листъ бумаги... написать на немъ можно все, что угодно, какъ легко составить и издать всякій законъ... Да что вычитаетъ изъ этого писанія народъ? готовъ ли онъ ко всякой, хотя бы и мудрой, мѣрѣ? Вотъ вы тоже упомянули о комиссіи... но знаете ли...

— Позвольте, — возразила императрица, видя растерянность и затрудненіе остальныхъ членовъ совѣта, молча слушавшихъ препирательства соперниковъ-фаворитовъ: — лучше намъ о комиссіи здѣсь не упоминать... Вы, князь Александръ Алексѣевичъ, знаете, — обратилась Екатерина къ генерал-прокурору Вяземскому, бывшему председателю той комиссіи: — каковы, по истинѣ сказать, плоды упомянутого здѣсь собранія? Всемъ извѣстно, депутатъ столь важнаго учрежденія, янцкій сотникъ, Падуровъ, не только не останавливался и не вразумлялъ бунтовщиковъ, а самъ изъ первыхъ передался самозванцу и нынѣ, по слухамъ, командуетъ у него цѣлымъ полкомъ! Это ли не утѣшительный даръ нашего перваго опыта съ русскими парламентами?

Екатерина, опять поднеся къ носу табакерку, помолчала.

— Благодарю васъ, князь Григорій Григорьевичъ, и васъ, Григорій Александровичъ, — сказала она, обращаясь къ Орлову и Потемкину: — благодарю и всѣхъ васъ, — взгнула она на остальныхъ: — никогда я не сомнѣвалась въ вашихъ чувствахъ и въ вашей преданности отечеству и мнѣ, — но съ столь важнымъ дѣломъ, какъ предложеніе князя Григорія Григорьевича, надо, какъ я полагаю и какъ убѣждена, повременить.

— Но этотъ шагъ прославить и вознесетъ ваше величество на неизмѣримую высоту! — воскликнулъ князь Орловъ: — всѣ препятствія геній вашъ преодолѣетъ, какъ всегда, и затмитъ...

— Александръ Македонскій, — отвѣтила съ улыбкой Екатерина: — укорялъ память своего отца, Филиппа, говоря, что его родитель такъ много прославился и столько совершилъ великаго, что почти ничего не оставилъ для своего на-

слѣдника. Не все же дѣлать современникамъ, надо кое-что оставить на долю и своимъ преемникамъ, потомкамъ!

— Сама истина глаголетъ вашими устами! — произнесъ, склоняясь, князь Вяземскій.

— Немало чести приготовить славныя дѣла и для потомства!—прибавилъ канцлеръ Панинъ.

— Что же, повторяю, до выбора главнаго полномочнаго лица, по укрощенію бунта за Волгой,—сказала Екатерина:— то я, забывъ личное неудовольствіе, изберу и назначу достойнѣйшаго, и князю Волконскому я на этотъ предметъ напишу инструкціи...

Далѣе Дугановъ ничего не слышалъ. Мимо его, въ это мгновеніе, незамѣтно скользнулъ по ковру и опять сталъ у порога возвратившійся арабъ. Замѣтивъ, что дверь въ совѣтскую комнату пріотворена, онъ плотно закрылъ ее, и, по-прежнему, неподвижно замеръ у ея притолка. Голоса за порогомъ разомъ стихли. Такъ прошло еще нѣсколько минутъ. Дугановъ, пораженный тѣмъ, что дошло до его слуха, сидѣлъ, не помня, гдѣ онъ и что съ нимъ. Въ совѣтской комнатѣ снова раздался звукъ колокольчика. Арабъ вошелъ туда.

— Пожалуйте, васъ просятъ, — сказали онъ, возвратясь, Дуганову.

Глѣбъ вступилъ въ совѣтскую комнату, сдѣлавъ шагъ отъ порога и, вытянувшись, сталъ неподвижно. Прямо передъ нимъ была государыня. Справа за нею, близъ окна, у особаго столика, сидѣлъ тотъ, кого именovali секретаремъ и лицо котораго теперь ясно было ему видно. Глѣбъ взглянулъ на него и не вѣрилъ своимъ глазамъ. У столика, передъ зажженной свѣчой, сидѣлъ его недавній сожигатель, Галаховъ, съ которымъ онъ простился только вчера. — «Такъ вотъ твои тайныя занятія у князя Орлова!» — подумалъ Глѣбъ, въ волненіи ожидая, кто и что ему скажутъ теперь.

— Адъютантъ московскаго главнокомандующаго? — спросила Екатерина.

— Поручикъ Дугановъ, ваше величество, — отвѣтилъ Орловъ.

— Подойдите, господинъ поручикъ, и станьте ближе!—сказала императрица.

Глѣбъ мѣрнымъ шагомъ обошелъ стѣлу и приблизился къ креслу государыни.

— Вотъ письмо, господинь Дугановъ,—произнесла Екатерина, протягивая ему запечатанный пакетъ:—отдайте его лично князю Михаилу Пикитичу. Кланитесь ему и скажите, что я съ особымъ удовольствіемъ рѣшила дѣло его родственницы. Вамъ, кажется, княземъ специально было поручено это дѣло?

— Точно такъ, ваше величество,—отвѣтилъ Глѣбъ.

— Очень рада, — князю будетъ пріятно ваше усердіе... счастливаго пути!—сказала Екатерина, ласковою улыбкой и чуть замѣтнымъ склономъ головы показывая Глѣбу, что онъ можетъ удалиться.

Всѣ глаза были, какъ чувствовалъ Глѣбъ, обращены на него, когда онъ, повернувшись налѣво кругомъ, направился тѣмъ же мѣрнымъ шагомъ къ двери и скрылся за нею. Спрятавъ на грудь, подъ кафтанъ, пакетъ императрицы, онъ въ сопровожденіи араба, не слыша подъ собою ногъ, прошелъ тѣмъ же рядомъ внутреннихъ комнатъ до парадныхъ сѣней, одѣлся и вышелъ на крыльцо. Снѣгъ прекратился. Солнце ярко и весело свѣтило, красиво золотя розовымъ отблескомъ крыши дворцовыхъ зданій и опушенные серебристымъ исеемъ вершины садовыхъ деревьевъ. Дугановъ ничего этого не видѣлъ, не любовался ничѣмъ. Отъ его глазъ не отходила чудная улыбка, а въ ушахъ раздавался нѣжный и ласковый голосъ императрицы. Не помня себя, на верху блаженства, онъ посиѣнилъ на постоянный, приказалъ подавать обѣдъ и послалъ за почтовыми лошадьми.

«А Спесивцевъ? что съ нимъ?» — вдругъ пришло ему на мысль, когда онъ, наскоро закусивъ, узналъ, что лошади подапы уже. «Въ Гатчину! надо видѣть его, цавѣститъ! это кстати, почти и по дорог!»—сказалъ онъ себѣ и, выѣхавъ изъ Царскаго, приказалъ ямщику свернуть въ Гатчину.

Доѣхавъ туда, онъ отыскалъ врача, лѣчившаго Спесивцева, и узналъ отъ него, что раненый, заботами князя, помѣщенъ въ сосѣднемъ домѣ.

— Вонъ, черезъ улицу,—указалъ врачъ въ окно:—красная крыша и зеленая ставни.

— Могу ли я его видѣть?—спросилъ Глѣбъ:—хотя на минуту; мы старые знакомые, и я ѣду надолго, далеко.

— Больной въ безпамятствѣ, бредитъ,—сказалъ врачъ:—все равно, не узнаетъ васъ, да и опасно тревожить его.

Глѣбъ помолчалъ.

— Есть надежда на спасеніе?—спросилъ онъ

Докторъ поднялъ надъ головою палець.

— Тамъ на небѣ все, разумѣется, возможно, — сказалъ опъ:—а здѣсь,—докторъ опустилъ палець къ полу:—здѣсь могу сказать одно, рана такого рода, что вашъ знакомый, или даже можетъ быть пріятель, врядъ ли дотянется до весны.

Дугановъ постоялъ еще съ минуту передъ докторомъ, молча пожалъ ему руку, поклонился и уѣхалъ, въ смущеніи поглядывая на невысокій деревянный домишко, съ красною крышею и зелеными ставнями, гдѣ лежалъ, бредя, вѣроятно, о чемъ-либо счастливомъ и свѣтломъ изъ прожитаго, приговоренный къ печальному исходу Снесивцевъ.

«Да, судьба! — мыслилъ Глѣбъ, выѣхавъ изъ Гатчины на московскій почтовый трактъ:—но вѣдь такая же точно судьба могла постигнуть и меня!» И, неволью радуясь, что онъ во всякомъ случаѣ былъ цѣлъ и невредимъ, что его грудь, сердце и все его крѣпкое, пышащее жизнью тѣло было здорово, Глѣбъ плотнѣе усялся въ кибиткѣ, съ головою укутался въ теплую шубу и, измороженный суетой и тревогами послѣднихъ тяжелыхъ дней, крѣпко заснулъ. Почтовая тройка понеслась.

На гряди сутки безостановочной ѣзды, Дугановъ благополучно возвратился въ Москву.

Довольный успѣшнымъ окончаніемъ дѣла, главнокомандующій отъ души благодарилъ Глѣба и, давъ ему отдохнуть нѣкоторое время, сказалъ, что приготовилъ для него другое важное порученіе въ одинъ изъ уѣздовъ московской губерніи, гдѣ предстояло произвести слѣдствіе о поддѣлкѣ фальшивой монеты на фабрикѣ богатаго раскольника-кунца Сулова. Въ этомъ же уѣздѣ были имѣнія Коронной, присужденныя государыней ко взятію въ опеку. «Ты помоги рѣшенію этого дѣла, — сказалъ князь:—ты же наблюдаешь и за приведеніемъ его къ концу».

Москва охватила Дуганова скукой и тоской. Осиротѣлый, пустой домъ у Чистыхъ-прудовъ, гдѣ еще такъ недавно все было полно жизни, гдѣ парила женская, прямая предупредительность и раздавался смѣхъ и звонкій голосъ ребенка, былъ теперь для Глѣба невыносимъ. Онъ обѣдалъ въ клубѣ, домой едва заглядывалъ. Обѣздивъ кое-кого изъ знакомыхъ, онъ написалъ короткія письма къ матери и къ брату,

извѣстивъ ихъ, что едва кончилъ одну командировку, какъ пришлось ѣхать на другую, и сильно обрадовался, когда, дѣйствительно, наконецъ, выѣхалъ съ порученіемъ князя изъ Москвы.

Слѣдствіе о поддѣлкѣ монеты Дугановъ повелъ настойчиво и умѣло. Начались розыски и допросы на фабрикѣ Суслowychъ и въ уѣздномъ городѣ, гдѣ пало подозрѣніе въ подкупѣ и въ укрывательствѣ виновныхъ не только на полицію, но и на земскій судъ. Пришлось воевать съ исправникомъ и съ весьма ловкимъ и вліятельнымъ уѣзднымъ судьей, который, по слухамъ, былъ долженъ по горло заподозрѣнному Суслову и потому особенно мирволилъ ему. Все это Глѣбъ разслѣдовалъ и разобралъ, а въ промежуткахъ розысковъ составилъ опись имѣніямъ Кординой и сдалъ ихъ въ опеку. Кончивъ слѣдствіе, онъ написалъ князю рапортъ, съ требованіемъ уличеннаго Суслова арестовать и доставить на судъ, не иначе, какъ въ Москву, вслѣдствіе того, что мѣстныя власти относительно его не безъ грѣха.

При одномъ изъ послѣднихъ допросовъ, собирая на фабрикѣ свѣдѣнія о прошломъ и настоящемъ образѣ жизни и о родныхъ вдругъ разбогатѣвшаго Суслова, онъ неожиданно услышалъ фамилію Прядышева, съ которымъ Сусловъ оказывался въ близкомъ родствѣ.

Это имя кольнуло Глѣба. Онъ вспомнилъ бѣгство Серафимы въ Кіевъ, свою поѣздку туда, переговоры съ нею, а затѣмъ и собственный разладъ съ женой.

— Какой это Прядышевъ? — спросилъ онъ суловскаго приказчика, стоявшаго передъ нимъ на допросѣ.

— Савва Ильичъ, — отвѣтилъ свидѣтель.

— Развѣ онъ родня твоему хозяину?

— Свояки — съ. Аграфена Марковна, супруга Саввы Ильича, выходитъ, двоюродная сестрица нашему Доримедонту Кузьмичу.

— Не отъ свояка ли Суслова, въ такомъ случаѣ, пошло и все состояніе самого Прядышева? — спросилъ Глѣбъ.

— Никакъ нѣтъ-съ, ваше благородіе, — отвѣтилъ свидѣтель: — тятенька Аграфены Марковны изстари былъ первостатейный московскій купецъ, а онѣ у него состояли единственною дочкой; и у ихняго тятеньки не гокма первый подъ Москвой изстари колокольный заводъ, а за Ураломъ еще богатѣйшіе рудные прииски.

— Кстати, почтенный,—сказалъ, подумавъ, Дугановъ:— у Придышевыхъ, помнится, былъ тоже единственный сынъ,— не знаешь ли, что съ нимъ и гдѣ онъ нынче?

Свидѣтель помолчалъ.

— Вѣрно-съ, изволите говорить, — есть сынъ, Федоромъ звать, — отвѣтилъ онъ: — и мы сами видали ихъ, вотъ еще какимъ махонькимъ, когда оттуда колоколь брали сюда на соборъ... Не наша сторона хозяйскія дѣла... а жаль...

— Что же именно?

— Свертѣли молодца гулянки да колобродства, и пошлѣ онъ родителю на искусь, поставленъ былъ въ простые, какъ есть, черноработіе, въ молотобойцы... этакого богача-магдга сынъ и въ такой чернотѣ!

— Онъ и теперь на этой работѣ?—спросилъ Глѣбъ.

— Мать увидѣла его, оборваннаго, да въ сажѣ, въ окно,— возрыдала сердечная и заступилась; слышно, отослали его, ношѣ зимой, въ дальнюю поправку, на ихніе Куршавинскіе заводы, за Уралъ. Да что? сильно, сказываютъ, огорчился малый вообще, зашилъ тамъ и въ горести чуть рукъ на себя не наложилъ. Наши сильно жалѣють его.

— Отчего же отецъ не держитъ его при себѣ?

— Видно, думка такая, исправится, моль, на дальней работѣ.

Въ концѣ великаго поста Дугановъ возвратился въ Москву. Князь Волконскій одобрилъ всѣ его дѣйствія, Сулова вытребовалъ къ себѣ и посадилъ въ московскій острогъ. Дугановъ, за успѣшное веденіе слѣдствія о поддѣлкѣ монеты, былъ представленъ къ награждѣ крестомъ.

— Твоя жена еще у родныхъ?—спросилъ князь.

— Такъ точно.

— Гдѣ она? въ Малороссіи?

— Нѣтъ, на Волгѣ, у брата.

— Не хочешь ли проѣхать туда?

Глѣбъ промолчалъ.

— Постоянно, какъ знаешь, туда оказіи теперь, — продолжалъ князь, не замѣтивъ смущенія Глѣба:—недавно посланы гусары, а на-дняхъ отираваю пѣхоту и пушки... ты могъ бы проводить ихъ до Казани, а оттуда завернулъ бы и къ своимъ.

— Усерднѣйше благодарствую, ваше сіятельство,—отвѣ-

тилъ Дугановъ: — по моя жена, какъ полагаю, вскорѣ выѣдетъ оттуда.

— Ну, какъ знаешь, любезный. Во всякомъ же случаѣ, встрѣтится нужда, просись, — не откажу. Приѣмъ имѣнный будетъ не ближе іюня; тогда опять поѣдешь въ уѣздъ.

Близилась Пасха. Въ воздухѣ потемнѣло. Настало водополье.

Возобновивъ свои обычныя занятія у князя, Дугановъ не замѣчалъ, какъ текло время. Переписываясь иногда съ матерью, онъ зналъ, что въ Ракитномъ все благополучно. О Горкахъ и ихъ обитателяхъ онъ старался не вспоминать. «Не пишутъ оттуда, стало быть, все хорошо! — съ горечью думалъ онъ, — а не спрашиваютъ, почему мы разстались, значить, жена не смѣетъ признаться, что у насъ вышло. Ну, и Господь съ нею».

Вернувшись въ Петербургъ, бывшая страсть къ азартной бильярдной игрѣ болѣе не напоминала о себѣ Глѣбу. Все прошлое въ немъ, казалось, успокоилось, заснуло и какъ бы умерло. Въ домѣ у себя онъ уже не томился, проводя время здѣсь только въ кабинетѣ и въ столовой. Въ спальню, уборную жены и дѣтскую онъ болѣе совсѣмъ не заглядывалъ, и двѣри туда были постоянно на замкѣ. Портретъ жены, висѣвшій въ гостиной и когда-то съ такою любовью заказанный знаменитому живописцу Тимбейну, онъ покрылъ кисеей и перенесъ въ запертую на ключъ уборную. Но все это наружное спокойствіе далеко не соответствовало внутреннему состоянію. Нѣчто въ родѣ раскаянія начинало сказываться въ его душѣ. Правъ ли онъ былъ въ своемъ рѣшеніи насчетъ жены? Не увлекся ли онъ ошибочнымъ подозрѣніемъ? И дѣйствительно ли была измена, или только совпаденіе уликъ, въ сущности не доказывающихъ ничего? Неувѣренность въ правотѣ, относительно разрыва съ женой, начинала тяготить его; ну, какъ она женщина ни въ чемъ и онъ все это сдѣлалъ въ порывѣ раздраженія, не имѣя на то права? Передъ Пасхой Глѣбъ получилъ письмо, въ нѣсколько строкъ, отъ брата, съ поздравленіемъ и извѣщеніемъ, что всѣ живы и здоровы, что зима была студеная и что наступило тепло. На это онъ отвѣтилъ столь же краткою отпиской, что, молъ, также живъ и здоровъ и что думаетъ перемѣнить службу. Онъ дѣйствительно написалъ въ Петербургъ Орлову; отвѣта не приходило.

Въ концѣ Вербной недѣли, на обычномъ утреннемъ пріемѣ у главнокомандующаго, Глѣбъ получилъ отъ Волконскаго порученіе—сѣздить къ митрополиту, и лично у него испросить указаніе и совѣтъ по одному духовному дѣлу. Дугановъ поѣхалъ, долго дожидаясь владыки: въ то время служившаго гдѣ-то въ дальнемъ монастырѣ, а когда возвратился, съ нужными указаніями отъ митрополита, пріемъ у князя уже кончился.

Дугановъ прошелъ въ кабинетъ князя, доложилъ ему справку, принялъ отъ него для передачи въ канцеляцію закончившіяся безъ него бумаги и откланялся. Проходя изъ кабинета князя опустѣлыми залами, онъ въ сторонѣ, въ боковомъ коридорѣ, услышалъ страннѣйшій шумъ, какъ бы споръ. Заглянувъ туда, Глѣбъ увидѣлъ растрепанную и лысую фигуру невысокаго, пожилого кунца, въ долгополомъ кафтанѣ и съ медалью на шеѣ, стоявшаго передъ килескимъ слугой Размахивая руками, кунецъ о чемъ-то, съ поклонами, просилъ; официантъ заграждалъ ему дорогу.

— Да вотъ ихъ милость, господниъ адъютантъ, рѣшать,—сказалъ официантъ, указывая просителю на Дуганова:—и какъ это можно безпокоить князя, когда объявлено болѣе не принимать никого?

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ, подходя, Дугановъ.

Кунецъ оглянулся. Дугановъ узналъ въ немъ Савву Ильича Прядышева, — но въ какомъ видѣ? Сытой, презрительной чванливости и дерзости, съ которою онъ когда-то въ Кіевѣ, у цыганъ, обливалъ водою сына и стригъ ему косу, не было и слѣда. Куда дѣлись складки жирнаго подбородка, красный, плотный затылокъ и объемистый животъ? Худыя, костлявыя плечи уныло торчали изъ-подъ широкаго, точно чужого кафтана. Борода была включена. Потускнѣлые глаза умоляюще и жалобно смотрѣли на Глѣба.

— Ваше... ваше высокородіе, — вскрикнулъ онъ, хватая Дуганова за руки и вдругъ падая передъ нимъ на колѣни:— спасите, не погубите.

— Чтѣ съ вами, Савва Ильичъ? Успокойтесь!—произнесъ Глѣбъ, поднимая его:—вы, вѣроятно, о родственникѣ вашемъ, о Сусловѣ, насчетъ монеты?

— Господь съ нимъ, — отвѣтилъ, отирая слезы, Прядышевъ:—Сусловы не подростки; коли не по винѣ угодили въ острогъ, сами себя отстоять.

— Въ чемъ же ваше дѣло?—спросилъ Глѣбъ:—пріемъ у князя, дѣйствительно, конченъ; если у васъ неотложная, важная нужда, скажите, я передамъ ему, онъ приметъ васъ завтра.

— Поздно будетъ, поздно! — простоналъ Придышевъ: — коли милость князя, штафетъ бы или иное что, да не отъ всякаго берутъ. Только, вотъ, нынче извѣстилъ по почтѣ.

— О комъ говорите?

— Ѳедоръ-то мой, Ѳедя... что въ Кіевѣ, помните...

— Знаю; онъ, слышно, у васъ за Ураломъ?

— Тамъ-то окаянный, тамъ, да спятилъ, какъ есть, съ ума. Охъ, матушки вы мои, охъ, родные! — всхлиывая, бормоталъ Придышевъ: — и кто ожидалъ экаго божескаго наказанія? Прогнѣвали мы Господа. Мать съ горя захворала, померла; нынѣ срамитъ весь нашъ родъ...

— Да что стало съ вашимъ сыномъ? Сядьте, расскажите.

Глѣбъ увелъ Придышева въ залу и усадилъ его на софѣ. Руки старика тряслись, губы силились что-то выговорить и не могли. Онъ беспомощно поникъ головой.

— Отступился окаянный,—проговорилъ онъ:—извѣщаютъ, задумалъ передаться злодѣю, Пугачу!.. Да что, баринъ, на, читай!—заклучилъ Придышевъ, вытаскивая изъ кармана и подавая Дуганову скомканный обрывокъ толстой синей бумаги:—сорокъ дѣнь не прошло со смерти покойницы, а тутъ такая напасть.

Глѣбъ сталъ читать письмо къ Придышеву его заводскаго приказчика. «А нашъ отъ Ѳедоръ Саввичъ,—выводилъ каракулями приказчикъ:—забылъ Божескія заповѣди и отцово наставленіе; какъ узпалъ о смерти родительницы, пуще зашилъ, а въ прошлую среду, супротивъ ночи, отбилъ замѣкъ въ каморѣ, гдѣ, по приказу вашему, его хмѣльнаго держивали взаперти; тайно забралъ пожитки, казну и соболью твою новую, данную ему на дорогу, шубу, да съ Апронькой, да съ Борькой-кривымъ, запретъ лучшихъ, ѣзовыхъ жеребцовъ и сбѣжалъ съ завода. Сказываютъ, подался въ горы, къ демидовскимъ, да бѣлорѣцкимъ заводамъ, рѣшилъ передаться оному окаянному проду и злодѣю, самозванцу Пугачову. Апронька, дьячій сынъ, съ нимъ и остался, а кривой чортъ, Борька, вернулся нынѣ на зарѣ, быдто въ совѣсть пришелъ, а въ тайности—сманивать остальныхъ заводскихъ, и мы его, изловимши, связали и держимъ взаперти. И ска-

зываетъ Борька-паршивецъ, быдто Ѳедоръ-то нашъ Саввичъ, забывъ оныя Господни заповѣди, въ точности поѣхаль, невѣдомо для какой нужды, сирѣчь, къ тому, окаяннику и злодѣю, и повезъ ему казну, да твою шубу, и быдто тому отступнику всѣ уже присягаютъ и цѣлуютъ руку, а самъ продъ отошелъ намерши отъ Оренбурга къ Магнитной и скоро-де объявится на заводахъ и въ нашихъ мѣстахъ. Мы день и ночь, батюшка, Савва Ильичъ, на-стѣрожѣ, рвы норыли и огородились рогатками; да ружей мало, пушчонка была одна, и ту, намердись,—чаю, вѣдомо тебѣ,—о масляной, какъ салютъ въ твою честь чишили,—разорвало на части. Просимъ, милостивецъ, о присылкѣ защиты. Войска тутъ и въ поминѣ нѣту-ти. Ой, плохо намъ, грѣшнымъ, свѣтъ не милъ. До дна, благодѣтель, дошли, гибнемъ въ концецѣ!»

— Чтѣ же вамъ нужно отъ князя?—спросилъ Дугановъ, дочитавъ письмо.

— Хоть бы штафетъ въ Куршавино, на заводъ, пытался, не берутъ,—твердилъ, кланяясь, Прядышевъ:—граматку бы къ Ѳедору, не одумается ли? Дай охрану, или такой листъ, не токма изъ своихъ кого послалъ бы, одно дѣтище, — самъ бы поѣхаль туда.

Глѣбъ прошелъ къ князю. Волконскій, уже въ шлафрокѣ и вмѣсто парика, въ бѣломъ, съ розовою лентой, колпакѣ, сидѣлъ за чтеніемъ новыхъ нѣмецкихъ газетъ. Дугановъ доложилъ ему о просьбѣ Прядышева.

— Гони его, голубчикъ!.. съ ума онъ сошелъ!—вскрикнулъ князь:—сынъ дерзнулъ измѣнить,—не далеко, знать, ушелъ и его батюшка; подъ надзоръ его! Боже, Господи, что за дѣла! Взгляни, что печатають о насъ берлинскіе газетиры! Мерзавцы! Не даромъ ихъ сѣкъ, на унтеръ-день-Линденъ, Чернышевъ, по взятіи Берлина! теперь публично завѣряють, будто этотъ приговоренный къ плетямъ каторжникъ, этотъ казакъ-воришка, и впрямь... Да нѣтъ, чтѣ же это? свѣтопреставленіе!

Князь закрылъ лицо руками. Глѣбъ сталъ просить за старика Прядышева.

— Ну, ты правъ, милый, правъ!—одумался князь, бросая подъ столъ газеты:—этого сына навѣрно спьяна совратили, иначе какъ же?.. Вѣдь, я, помню, своими глазами видѣлъ его у Архаровыхъ, Мелецкихъ, — смиренный такой, менуэты

отплясываль... Ступай, Глѣбъ Андреечъ, устрой тамъ, что можно, для отца.

Дня черезъ три, Придышеву, за скрѣпой главнокомандующаго, выдали охранный листъ и письмо къ казанскому губернатору, фонъ-Брандту. Савва Ильичъ рѣшилъ ѣхать за Уралъ лично. Собравшись и распорядившись по заводу, онъ засунулъ за пазуху изрядный свертокъ денегъ, отслужилъ напутственный молебень, сѣлъ въ идшеви, съ тѣми же двумя здоровенными литейщиками, съ которыми, годъ назадъ, ѣздилъ въ Кіевъ, и завернулъ проститься на Чистые-пруды.

— Въ опасный путь пускаетесь, — сказалъ ему Дугановъ: — что ни день, какія извѣстія! Пугачовъ усиливается... все Зауралье въ возстаіи...

— Богъ милостивъ, доѣду, сына спасу.

Въ Казани Прядышева нагнала эстафета московской ея конторы. Онъ вскрылъ ее, прочелъ и упалъ безъ чувствъ. Контора извѣщала его, что сынъ, какъ стало нынѣ извѣстно, окончательно бѣжалъ къ самозванцу, съ жалобой на родителя за захватъ, будто бы, материнскихъ заводовъ и другихъ имѣній. «Господь взялъ жену, — подумалъ, придя въ себя, Прядышевъ, — надо ѣхать, охранить хоть заводъ, горное начальство просить; а Ѳедькѣ, каторжному искаріоту, вспомнется, видно, на томъ свѣтѣ и тутъ!..»

Губернаторъ, однако, остановилъ его. Къ Уральскимъ горамъ уже не было свободнаго проѣзда. Пугачовъ, грабя и выжигая все по пути, близился лѣсами по сю сторону горъ.

Настала пасхальная недѣля. Москва, несмотря на слухи о Пугачовѣ, веселилась. Главнокомандующій, въ раззолоченной, голубой коляскѣ, выѣхалъ съ племянницами подъ качели, на Дѣвичье поле. Увидѣвъ здѣсь, среди гуляющихъ, Дуганова, онъ подозвалъ его къ себѣ. Глѣбъ протискался мимо знакомыхъ и незнакомыхъ, толпившихся вокругъ князя, и подошелъ къ нему.

— Ну, что, довольны въ народѣ нашею нынѣшнею публикаціей? — спросилъ Волконскій, нагнувшись къ Глѣбу изъ коляски, стоявшей въ это время противъ балагана, гдѣ на балконѣ кувыркались и смѣшили зрителей акробаты.

— Еще бы, ваше сіятельство, — отвѣтилъ Дугановъ: —

только и слышно, прославляютъ новую, славную побѣду Михельсона надъ злодѣемъ.

— Да! разбить подъ Магнитною, притомъ какъ счастливо! — улыбнулся князь, обратясь къ племянницамъ: — избавилъ Господь! исчезъ, разсыянъ безъ слѣда. Ну, да вамъ это не любопытно... Брамбилла и арлекины у васъ въ головѣ.

— Mon oncle! можно ли! развѣ мы не патриотки? — обидѣлась старшая изъ племянницъ, лорнируя публику, тѣспившуюся передъ балаганомъ, гдѣ акробатовъ смѣнили пьеро и коломбаина.

— Такъ иди же, голубчикъ, — обратился князь къ Дуганову: — всемъ говори, — злодѣя, моль, гонимъ, — скоро и въ конецъ его истребимъ. А тебѣ съ Оминой въ отъѣздъ; барыня извѣстила, будетъ въ имѣніи къ концу Пасхи, она желаетъ быть при ихъ сдачѣ.

Коляска главнокомандующаго двинулась далѣе. Дугановъ снова зашелъ за канатъ, ограждавшій пѣшихъ отъ экипажей; но, едва онъ вмѣшался въ толпу, кто-то, слѣдившій за нимъ глазами, пока онъ говорилъ съ княземъ, тронулъ его за плечо. Глѣбъ обернулся. Передъ нимъ стоялъ высокій и тонкій, съ впалыми, блѣдными щеками, морской офицеръ, въ отставномъ мундирѣ.

— Извините, — сказалъ, касаясь шляпы, морякъ: — вы стоите при князѣ?

— Такъ точно.

— Дугановъ?

— Къ вашимъ услугамъ.

Незнакомецъ сильно закашлялся.

— Отойдемъ къ сторонѣ, здѣсь такъ тѣсно, — сказалъ онъ: — у меня къ вамъ личное дѣло. Вчера, какъ пріѣхалъ, я былъ у князя на дежурствѣ, но пріемъ, по поводу праздниковъ, былъ отмѣненъ.

Глѣбъ и морякъ вышли изъ толпы.

XV.

— Въ Петербургѣ, — продолжалъ морякъ: — то-есть, подъ Гатчиной, минувшею зимой, если помните, была охота... и я находился тамъ...

— Охота, дѣйствительно, была, — отвѣтилъ Дугановъ: — по, извините, васъ я не помню.

— Да, мы не видѣлись, — продолжалъ морякъ: — я былъ съ другимъ, съ докторомъ. Спесивцева изволите знать?

— Знаю... онъ раненъ тамъ, — отвѣтилъ Глѣбъ.

Морякъ промолчалъ.

— Живъ онъ? — спросилъ Дугановъ.

— Живъ-то еще живъ, только вотъ чтò — отвѣтилъ, сдерживая порывы кашля, морякъ: — я, видите ли, мало его знаю, но пришлось тогда спать въ одной комнатѣ... Уѣзжая на охоту, онъ разбудилъ меня и оставилъ мнѣ записку, я спросонья сунулъ ее куда-то и о ней совсѣмъ позабылъ. Охоту проспалъ. О ранѣ доктора услышалъ уже въ Гатчинѣ, когда всѣ туда возвратились, да не до того было самому: слуга въ суетѣ, видно, не притворилъ, какъ слѣдуетъ, двери, или охватило отъ плохо вставленнаго окна, только кашель усилился, пошла кровь горломъ. — ну, и все, какъ слѣдуетъ, — очутился въ госпиталѣ. Да уже тамъ сунулъ руку въ карманъ шинели, вижу письмо, и на немъ надпись — Дуганову. Какой такой, извините, Дугановъ? Насилу вспомнилъ и то, кто и когда далъ мнѣ это письмо. Хотѣлъ обратиться къ тому доктору, сталъ о немъ разспрашивать, говорить, его уже нѣтъ...

— Гдѣ же онъ?

— Чахотка, что ли, развилась у него, отъ раны въ груди, или вообще плохо стало, только тотъ больной богачъ, Тарбѣевъ, у котораго онъ жилъ, взялъ его и увезъ съ собой въ чужіе края.

— Что же съ нимъ теперь?

— А Господь его знаетъ... должно, померъ! рана въ это самое мѣсто, на-вылетъ, — показала морякъ на свою тощую впалую грудь: — тутъ, батюшка, заплещь поневолю...

Онъ снова закашлялся.

— Какъ же вы узнали обо мнѣ?

— Думаю, докторъ умеръ, а въ письмѣ-то, пожалуй, что нибудь важное. Другъ онъ вамъ?

— Да, мы были знакомы...

— Ну, передъ выходомъ изъ госпиталя, я и написалъ въ Гатчину, къ управляющему князя Орлова, кто, молъ, такой Дугановъ, чтò былъ тогда на охотѣ? онъ и отвѣтилъ. Меня посылаютъ въ Кіевъ, на поправку, къ отцу; думаю, буду ѣхать черезъ Москву и лично отдамъ. Вчера васъ не нашель, а сегодня — тепло прелестъ, не утерпѣлъ — взглянуть

на гулянье,—Богъ и привелъ. Сейчасъ съѣзжу за письмомъ... гдѣ живете?

— Очень вамъ благодаренъ,— отвѣтилъ Глѣбъ: —но зачѣмъ же вамъ беспокоиться? я и самъ къ вамъ заѣду завтра, надняхъ.

— О, нѣтъ, если уже вы сами, такъ ѣдемъ теперь. Я завтра уже въ Кіевъ, нашелъ и попутчика... И что, представьте, странно,— я совсѣмъ здоровъ,— добавилъ морякъ, закашливаясь до синевы лица: —иногда вотъ только еще першитъ; а доктора увѣряютъ, Богъ знаетъ что.

Глѣбъ отыскалъ свою лошадь и поѣхалъ съ морякомъ. Дрожки остановились въ переулкѣ, за Сухаревою башней. Войдя по черной, узкой лѣстницѣ, на антресоли закоптѣлаго деревяннаго дома, стоявшаго въ глубинѣ двора, наполненнаго извозчиками, неразгруженными возами и всякимъ хламомъ, морякъ отворилъ низенькую дверь и вошелъ въ душную, крошечную комнату.

— Это я у того попутчика, что договорились до Кіева,— сказалъ онъ, въ одышкѣ, опускаясь на стулъ:—блаженный край, солнце, зелень, молоко... ребенкомъ бѣгали тамъ... Ну, и признаться, невѣста... это уже родитель приготоилъ. Вы сами, извините, женаты?

— Да, я семейный человѣкъ.

— Великое счастье и нѣтъ выше его!—произнесъ, надрываясь отъ кашля, морякъ:—однако, что же я это баласы точу?

Онъ пересилилъ себя, вытащилъ изъ-подъ кровати чемоданъ, досталъ изъ него свертокъ бумагъ и, порывшись въ немъ, подаль Глѣбу смятое, съ полусломанною печатью, письмо.

— Извините,— сказалъ онъ: —долго вездѣ таскалъ его, ну и примараль.

Глѣбъ узналъ руку Спесивцева. Поблагодаривъ моряка и пожелавъ ему счастливаго пути и скорого выздоровленія, онъ вышелъ за ворота, сѣлъ на дрожки, вскрылъ письмо и прочелъ слѣдующее: — «Вы меня вызвали на поединокъ,— писалъ Спесивцевъ: — такъ тому и быть; я принялъ вашъ необычный вызовъ. Черезъ часъ, черезъ два, раздадутся два выстрѣла, и одного изъ насъ, какъ надо полагать, не станетъ на свѣтѣ. Оставьте безумное рѣшеніе, образумьте васъ, — я не въ силахъ, да и къ чему? Избранный вами способъ и предлогъ къ этой раздѣлкѣ останутся тайной для всѣхъ. Если погибнуть суждено вамъ, клянусь въ эту минуту.

я всю жизнь буду о томъ жалѣть. Шевельнется ли, однако, въ васъ сожалѣніе, если погибну я, не думаю. Но есть еще одно существо — ваша жена. Слышалъ я и скорбѣлъ, — вы съ нею разошлись. Зная васъ, думаю, что этотъ разрывъ не шуточный; вы порвали душевныя связи навсегда. Но правы ли вы? Становясь подъ вашу пулю, рискуя съ свѣтомъ умереть, я рѣшилъ не себя оправдывать, а сказать вамъ: вы преступникъ передъ вашею женой. Да, да! и вы это узнаете, если я не останусь въ живыхъ и не возьму обратно у случайнаго своего сосѣда этихъ своихъ строкъ. Жертва недостойной ревности, либо злонамѣренной клеветы, вы не задумались бросить и тѣмъ заклеить передъ свѣтомъ любящее, безгранично вамъ преданное, существо. Знайте же, злой, ослѣпленный ревнивецъ: ваша жена, клянусь, неповинна передъ вами. Она достойна одного — глубокаго, безмѣрнаго вашего уваженія. За нее никому отомстить. Вашъ вызовъ принимаю, какъ возмездіе вамъ. И если *мнѣ* суждена смерть, охотно прощаю васъ, моего убійцу. За меня, праваго передъ вами, и за вашу неповинную передъ вами жену воздастъ вамъ ваша совѣсть! Клянусь, говорю въ этотъ мигъ святую истину. — *З. Спес—овъ*».

«Да что же это такое? — мысленно воскликнулъ Дугановъ, дочитавъ письмо, — или новый обманъ? Нѣтъ, онъ писалъ это, готовясь умереть. Но ея письма къ нему? въ нихъ говорилось другое... Тамъ прямо, безповоротно сказаны страшныя, позорныя слова»... — Рой мучительныхъ сомнѣній, съ новою силою, поднялся въ душѣ Глѣба, терзалъ и жегъ его. Онъ понукалъ кучера, глядя на прохожихъ, на вывѣски и дома, и не узнавалъ, гдѣ онъ ѣдетъ.

Очутившись у своего крыльца, Глѣбъ быстро прошелъ въ сѣни, въ кабинетъ, открылъ потайной ящикъ рабочаго стола, гдѣ лежала пачка, угрозой когда-то вытребованныхъ у Спесивцева, писемъ Маріи. Онъ, задыхаясь отъ волненія, дрожащими руками сорвалъ ленточку, которою они были связаны, сѣлъ къ окну и снова сталъ ихъ читать. Прочелъ одно, другое и отшатнулся на спинку кресла. Комната заходила въ его глазахъ. Онъ опять сталъ перечитывать письма и не узнавалъ ихъ. То, что когда то, подъ влияніемъ подозрѣній, казалось постыдною измѣною, преступленіемъ, теперь являлось въ другомъ видѣ; что тогда раздражало, мучило и жгло его, было теперь такъ просто и такъ

объяснимо. Любящая мать молила доктора, въ котораго вѣрила, о спасеніи сына; подразумѣвая мужа, выражалась этому доктору «нашъ сынъ», то-есть, сынъ ея и мужа. Гдѣ же тутъ измѣна, гдѣ лживыя, проклятыя улики, гдѣ оправданіе жестокой семейной бѣды.

«О, я, безумный, злой слѣпец!»—воскликнулъ Дугановъ, хватаясь за голову. Онъ рвалъ на себѣ волосы, глядѣлъ на письма и силился сообразить, что именно, въ тѣ безобразныя, тяжелыя минуты, произошло между нимъ и его женой. Забытая сцена вспоминалась ему до мелочей.—Ты хочешь знать, злой человекъ,—сказала тогда Марі:—виновата ли я? изволь, узнай... ты самъ это сказали!—Глѣбъ вскочилъ съ кресла, сталъ ходить по комнатѣ.—«Ясно, ясно,—повторялъ онъ себѣ:—это она, огорченная, несправедливо обиженная, такъ говорила отъ отчаянія, въ отместку! О, все теперь понятно—и мое нравственное передъ нею ничтожество, и ея душевная непорочность и чистота! Какъ теперь поправить дѣло? какъ воротить потерянное счастье? Простить ли она?»

Глѣбъ прошелъ рядъ комнатъ и повернулъ ключъ въ дверяхъ уборной. Ключъ звонко щелкнулъ въ тишинѣ. Глѣбъ вошелъ въ уборную, поднялъ опущенную оконную штору, сдернулъ кисею съ портрета жены и сѣлъ передъ нимъ. Заходящее солнце золотило миловидное лицо, съ розой въ свѣтло-пепельныхъ волосахъ. Большіе голубые глаза привѣтливо и ласково смотрѣли съ этого портрета. Глѣбъ не помнилъ, гдѣ онъ и что съ нимъ. Радостныя, горячія слезы текли по его лицу... «Она великодушнѣе, чище меня,—говорилъ онъ себѣ:—она все забудетъ, все проститъ! Злой я, сухой, это правда, и не стою этой дивной, безконечной доброты... Но,—если все забудется,—Боже, какъ я буду снова дѣлать ее и любить!»

Въ началѣ апрѣля, Травкинъ рано утромъ пріѣхалъ въ Горки. Торопливо осведомясь въ прихожей, гдѣ господа, и узнавъ, что всѣ были внизу, за чаемъ, онъ, не снимая верхняго платья, быстро прошелъ туда и, въ волненіи, замеръ на порогѣ. Всѣ съ изумленіемъ взглянули на него.

— Ура!—крикнулъ онъ, не помня себя и отъ радости размахивая шляпой:— ура!

— Да говорите, что такое?—спросили его.

— Ура! Пугачовъ разбитъ, — кричалъ и махалъ шляпой Травкинъ: — поздравляю, Оренбургъ спасенъ отъ осады... спасены и мы всѣ!

Крики общаго восторга встрѣтили эту радостную вѣсть. Всѣ бросились обнимать и цѣловать ликующаго старика.

— Кто сообщилъ? гдѣ узнали? да говорите же скорѣе! — приставали къ нему и тормошили его.

— Дайте отдохнуть, уфъ! — отвѣтилъ онъ, опускаясь къ изнеможенію на стулъ и обмахиваясь платкомъ: — верхомъ прискакалъ... Одно вѣрно и точно: злодѣй разбитъ и бѣжалъ, въ самый день Благовѣщенія... вотъ ужъ именно благая вѣсть, — праздникъ изъ праздниковъ, чудо!

— Да откуда же, не мучьте, вы это узнали?

— Изъ Саратова, родные мои, изъ города, становой пынче, чуть разсвѣло, промчался мимо меня; встрѣтились мы съ нимъ подъ садомъ, у мельницы, — сукновальню это я пустилъ, — онъ все и объяснилъ... Къ губернатору вчера утромъ гонецъ прискакалъ изъ Оренбурга... Охъ, не могу, соколики, духъ замираетъ, дайте отдохнуть... А вѣдь Сергѣй-то вашъ, — обратился Сила Ѳомичъ къ Алексѣю: — раньше проюхалъ; говорю моимъ на мельницѣ, а они, — знаемъ, молъ, вчера еще Серѣжка дугановскій сказывалъ, не устояли казаки, за горы ушли.

— Какъ Сергѣй? да развѣ онъ возвратился? — съ удивленіемъ спросили Алексѣй и Марі.

Травкинъ недоумѣвающимъ взглядомъ окинулъ присутствующихъ.

— Но развѣ вы не знаете? — произнесъ онъ: — Сергѣй, возвращаясь изъ Свйблова, послѣ вчера вечеромъ отъ Саратова пѣшій, притомился и отдыхалъ у насъ на сукновальнѣ... Да неужели его еще нѣтъ?

Послали справиться. Оказалось, что Сергѣй возвратился еще къ ночи, но ждалъ у ключника, пока господа кончатъ чай.

— Сюда его, сюда! — приказали хозяева.

Сергѣй вошелъ, низко всѣмъ поклонился и подалъ Марі письмо. При взглядѣ на его огрубѣлое, обросшее бородой лицо и на потертый дорожный зипунъ, трудно было узнать его. Онъ походилъ теперь скорѣе на рыбака или хлѣбнаго ключника, чѣмъ на недавняго столичнаго слугу, и держался тоже не по прежнему, а какъ-то понуро и мужицки-туно. — «Отъ болѣзни» — подумала, взглянувъ на него, Марі.

— Что тетунка?—спросила она, прочитавъ поданное ей письмо.

— Здоровы-сь, кланяются вамъ, сударыня, и всѣмъ, и просятъ къ себѣ.

— Гдѣ же ты такъ долго пропадалъ?—спросилъ, вглядываясь въ него, Алексѣй.

— Еще бы, судьба-сь! всю зиму, почитай, хворый пролежалъ на печи,—отвѣтилъ Сергѣй, не поднимая глазъ:—ознобился, полагать надо; думалъ—пришелъ смертный часъ.

Онъ, заложивъ руки за спину, тихо вздохнулъ.

— Расскажи-ка, милый, — обратился къ нему Травкинъ:—какъ это ты, говорятъ, слышалъ насчетъ самозванца? вѣдь его разбили? правда, вѣдь, прогнали Пугачова? онъ бѣжалъ?

Сергѣй молча глянулъ на господь.

— Это точно-сь, въ Саратовѣ, на постояломъ, у Давыдыча, и на базарѣ сказывали,—отвѣтилъ онъ, переступивъ съ ноги на ногу:—будто онъ и все казачество отступили... А въ Свиблово, тоже правда-сь, приходили съ Бѣлой мужички; ну, они толковали вовсе иное... Жить — Богу служить... а кто велий-сь яко Богъ?

— Ну, оставь поговорки; что же именно они говорили?—спросилъ, вживаясь глазами въ слугу, Травкинъ.

Сергѣй посмотрѣлъ на свои сапоги.

— Разное слышно, а главное, будто у него уже сто двадцать тысячъ войска и сто пушекъ.

— Ну, и что же изъ того? — спросилъ, привскочивъ, Травкинъ:—и все-таки его разбили!

— Разное толкуютъ,—загадочно отвѣтилъ Сергѣй:—другъ по другѣ-сь, а Богъ, значить, по всѣхъ.

— Иди себѣ, иди, отдыхай,—сказала Маря.

— Да эту бороду свою соскобли,—прибавилъ Алексѣй.

Сергѣй пошелъ, но остановился у порога.

— Монашка тоже одинъ сказывалъ,—прибавилъ онъ:—будто его, Пугачова-то, и пули не берутъ, ружья въ него не стрѣляютъ... Безъ Бога-то, видно, и червякъ сложеть...

— Да уходи же, полно пустяки-то болтать,—съ сердцемъ крикнулъ Алексѣй:—вотъ, дуралей, наслушался вранья.

Сергѣй вышелъ. Всѣ нѣкоторое время, по уходѣ его, молчали.

XVI.

— А что, господа?—произнесъ Травкинъ:—вѣдь, мы главное забыли... не послать ли за отцомъ Василиемъ, да не отслужить ли благодарственный молебенъ?

— И правда! именно!—отозвались всѣ.

Дали знать священнику. Онъ послалъ звонить и отперъ церковь. Всѣ радостно и торжественно направились туда. Молча подошли молеельщики и изъ деревни. Алексѣй объявилъ всѣмъ радостную вѣсть и, послѣ молебна, подзвавъ старосту, приказалъ все село на три дня избавить отъ работъ. Къ вечеру и на другой день стали сѣзжаться сосѣди. Всѣ толковали о счастливомъ событіи, передавали много подробностей и пророчили близкій конецъ бунту и смутамъ. Время катилось незамѣтно. А тутъ, кстати, настали теплые, ясные, безоблачные дни. Весна вдругъ разыгралась со всѣми своими прелестями.

Марі, получивъ письмо отъ тетки, думала было, черезъ день—два, укладываться и ѣхать въ Свиблово. Убѣждаемая хозяевами Горокъ, она рѣшила, однако, остаться еще на время въ Горкахъ. Серафима и Алексѣй, еще съ осени, предполагали совершить поѣздку къ крестной матери Серафимы, къ Варварѣ Ивановѣ Туровцовъ, въ ея помѣстье подъ Казанью, Красный-Куть. Туровцова въ каждомъ письмѣ напоминала объ ихъ обѣщаніи. Въ виду прибытія Марі, они рѣшили навѣстить ее съ дѣтьми, ко дню ея рожденія, въ началѣ іюля.—«Мы отправимся въ Красный-Куть,—убѣждала Серафима Марі:—тогда и ты сѣздишь въ Свиблово; а теперь погости еще, дорогая, пробудь съ нами». — Марі согласилась. Да ей, кстати, было здѣсь такъ хорошо. Погода стояла превосходная. Всюду начинала проявляться зелень и луговины зашестрѣли цвѣтами. Еще непокрывшійся листьями садъ наполнился птицами. Толкался между оголенныхъ вѣтвей жимолости и сирени, скворцы, малиновки, сѣрые и черные дрозды вили гнѣзда въ незримыхъ затиныхъ. Звонкою свирѣлью отзывалась зелено-желтая иволга, взлетая и ныряя между зацвѣтавшихъ яблонь и грушъ. По мшистой, корявой березѣ, отыскивая ожившихъ червей, прыгалъ и долбилъ носомъ дятель, то складывая, то распуская вѣеромъ свой хохолокъ. Съ вершины могучаго, еще безлистаго дуба, на всѣ садовые заросли и тайники куко-

вала кукушка, и съ утра до ночи въ нижнемъ, а частью и въ верхнемъ саду гремяли соловьи.

— Ахъ, Серафимочка, какъ у васъ здѣсь хорошо! — вскрикивала Марі, вслушиваясь въ эти свисты и крики: — хорошо и въ Ракитномъ; но тамъ степь, мало воды, а здѣсь, эта Волга...

Накинувъ на голову косынку, Марі, безъ мантильи, выходила съ Серафимой на просохшія аллеи верхняго сада и спускалась, по набитой щебнемъ дорожкѣ, къ обрыву надъ рѣкой.

— Смотри, какая прелесть! — указывала она на синіе подснежники и желтые одуванчики, выглядывавшіе изъ-подъ старыхъ листьевъ и мха: — вотъ восторгъ... А воздухъ... такъ и оныяняетъ, — а этотъ видъ отсюда... Волга, бѣгущія суда...

Присѣвъ на дерповую скамью, Марі по часамъ любовалась широкимъ разливомъ Волги, подопедней къ Горкамъ и далеко затонившей противоположныя, синѣющіе берега.

— Что это? — спрашивала она, указывая Серафимѣ чуть видныя точки за рѣкой.

— Прямо — рыбацкая слободка, — отвѣчала Серафима: — вправо, видишь миковку церкви? — то на холмѣ монастырь.

— А это будто лѣсъ, или горы?

Серафима объясняла. Марі едва слушала.

Ея мысли носились далеко.

«Все обняла и все потопила могучая рѣка, — думала она, — бѣтъ другимъ мѣста, одна она. Но пригрѣетъ солнце, воды спадутъ, обсохнутъ берега... Горе людское злѣе; оно неукротимо, топить все на пути и не отступаетъ...» — Вспомнилось Марі недавнее прошлое, жизнь въ Ракитномъ, ожиданіе мужа, встрѣча съ нимъ, возвратъ изъ Ракитнаго и тихая, радостная жизнь въ Москвѣ. Гдѣ же все это теперь? Откуда взялся страшный и грозный потокъ и куда онъ унесъ всѣ эти радости, все счастье? — «О, этому горю, одиночеству не будетъ конца!» — мыслила она: — «счастье, какъ молодость, приходитъ разъ въ жизни и больше не повторяется».

— О чемъ думаешь? — спрашивала ее, въ такія минуты, Серафима.

— Такъ, вспомнила, что давно пора ѣхать въ Свиблово... да вотъ кончится половодье, просохнутъ дороги, тогда и въ путь.

— Полно, Машенька, выкинь эти мысли из головы, оставайся у насъ, июнь не за горами... тогда разомъ и уѣдемъ.

— Ахъ, дорогіе мои, не то,—отвѣчала Мари, утирая катившіяся слезы:—не то въ мысляхъ... Правъ былъ великій писатель, изъ котораго читалъ Сила Ѳомичъ:—нѣтъ полнаго счастья на землѣ, оно только поманить и скроется; ищешь его и видишь — оно уже не здѣсь, а въ загробной жизни, въ небесахъ.

— Да полно отчаяваться,—утѣшала ее Серафима:—всякому горю бываетъ конецъ... посуди сама, ты молода, безупречна. То, что совершилось, какой-то странный, невѣроятный сонъ.

— Итъ, нѣтъ, оставь меня, ни слова!—отвѣчала Мари:—донесу крестъ до гроба, а счастья не воротить.

Въ такія минуты Серафима смолкала и незамѣтно оставляла Мари.

«Пусть выплачетъ подступившія слезы», думала она, возвращаясь въ домъ. Проходилъ часъ-другой. У балкона мелькала кисейная косынка. Мари медленно входила на крыльцо. Вскорѣ, изъ раскрытаго въ садъ окна ея комнаты, доносились звуки клавикордовъ. Тихая и нѣжная мелодія народной итальянской канцонеты переходила въ бурную фугу Баха и завершалась страстною, точно плачущею, серенадой Моцарта.

— Старается успокоиться, бѣдная! — говорила Серафима мужу, указывая на комнату Мари:—ужъ я ей и то, и другое, толкуетъ одно—горе мое безъ конца! Не ожидала я и отъ Глѣба... Ты знаешь ихъ размолвку; вѣдь чистые пустики; какъ молчать столько времени? не говорю о насъ, о женѣ, хоть бы о ребенкѣ ласково вспомнилъ... написалъ два раза по пяти строкъ, да и то—словно на казенный запросъ отвѣтилъ.

— Да, онъ упоренъ и не по лѣтамъ суровъ,—отвѣтилъ, почему-то краснѣя, Алексѣй:—бываютъ такія натуры. И это не зло и не черствость души; скорѣе—чрезмѣрное самолюбіе, мнительность.

Серафима нѣжно, съ любовью, слушала мнѣніе этого огромнаго, со включенною головой, человѣка, близорукими глазами смущенно глядѣвшаго въ это время въ раскрытую передъ нимъ книгу, и думала: «такъ, милый, добрый, такъ! ты великодушно, честно простилъ когда-то меня... Всѣ ли

способны быть такимъ возвышеннымъ и прощающимъ, какъ ты?»

Садъ окончательно зазелѣлъ. Старыя липовыя и березовыя аллеи стемнѣли. Маріи брала зонтикъ и книгу и ходила на любимую лужайку, надъ спускомъ въ нижній садъ; здѣсь она ежедневно сидѣла, читая и любуясь выходящими изъ воды полянами и холмами зарѣчной, луговой стороны. Тамъ теперь ясно виднѣлись очертанія пристаней, овраговъ и лѣсовъ. Серебристо-голубыми лентами между луговъ извивались еще полные весеннихъ водъ ручьи и озера. У берега и по окрестнымъ холмамъ паслись стада. Сѣрые дымки, пророча долгое вѣдро, медленно поднимались надъ чуть видными посѣлками. Съ плывущихъ на Волгѣ барокъ доносились пѣсни и крики рабочихъ, сплавыившихъ лѣсъ и хлѣбъ на низъ.

Однажды Маріи, кончивъ чтеніе, съ книгой подъ мышкой, медленно возвращалась по саду домой. Вечерѣло. Въ росистомъ, тепломъ воздухѣ пахло отцвѣтавшей въ то время сиренью. Соловьи перекликались со всѣхъ сторонъ. Одинъ изъ нихъ, въ концѣ верхняго сада, пѣлъ особенно восхитительно. Маріи, остановясь, послушала его и рѣшила подойти къ нему ближе. Она, осторожнымъ шагомъ, миновала одну дорожку, другую. Плодовый садъ смѣнился рощей дикихъ деревьевъ, растущихъ на его краю. Пройдя по мосту черезъ ручей, отдѣлявшій садъ отъ рощи, Маріи взяла вправо и очутилась у остатковъ ветхой изгороди, окружавшей поляну, гдѣ когда-то стоялъ пчельникъ. Это мѣсто теперь было заброшено и заросло кустами, крапивой и лопухомъ. Дорога отъ моста вправо шла лѣвѣе. Соловей, такъ чудно гремѣвшій здѣсь гдѣ-то, за минуту назадъ, смолкъ, очевидно, перелетѣвъ въ другое мѣсто. Маріи остановилась, глядя на этотъ дикій, пустынный уголокъ, и невольно вздрогнула. Въ густицѣ кустовъ, за изгородью, ей послышался странный шорохъ, какъ бы кто-нибудь рылъ и тихо отбрасывалъ землю. Маріи замерла. — «Вѣрно собака роется за кротомъ, — подумала она, слушая, — а что, если не собака, а волкъ? здѣсь, можетъ-быть, его нора...» — Она уже хотѣла опростелить объять обратно, какъ явственно услышала вздохъ и чьи-то слова. Она обошла кусты, за которыми слышался шорохъ, и увидѣла бѣлую шапку и худыя плечи кого-то, согнувагося у изгороди надъ травой. Маріи узнала стараго кучера Корнея,

давно жившаго, при горецкой усадьбѣ, на покоѣ. Возлѣ него, кроясь за кустомъ, стояла сѣдая, сгорбленная старуха. Двинувшись къ изгороди, Марі въ этой старухѣ узнала хворавшую въ теченіе всей зимы, тоже отставную, птичницу Дарью, жену Корнея. Она ласково оклинула ихъ.

— Чтѣ вы это копаете?—спросила Марі, подходя къ нимъ.

— Ой, какъ вы, барыня-матушка, испугали насъ,—отвѣтила Дарья, крестясь и опуская какой то узелъ въ траву.

Корней, снявъ шапку, смущенно почесывалъ въ бородѣ.

— Зелье какое или грибы?—спросила Марі.

— Какое зелье! а грибамъ время ли?—отвѣтилъ Корней:— не выдай, матушка-сударыня, добро свое закапываемъ.

— Зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ, барыня ты наша хорошая? антихристь пародился; сколько губить, калѣчить и грабить неповинныхъ душъ! Былъ въ оны годы, сказываютъ, сто лѣтъ назадъ, въ тутошнихъ мѣстахъ душегубъ-разбойникъ, Стенька Разинъ, — тоже всѣхъ истязалъ. Да вѣдь на то онъ и былъ разбойникъ, бурлакъ, по-разбойничьи и жилъ. А вѣдь этотъ, спаси, Господи, и помилуй, эо дѣло затѣялъ, царское имя на себя взялъ... не по просту жить хочеть. Ему все мало, все подай.

— Что же, Корней, его бояться? слышно, его уже разбили, прогнали за горы, за Уралъ.

— Не разобьютъ такого, болѣзная, и не прогонять,—отвѣтилъ, покачавъ головою, Корней:—онъ по всему царству тайно ходилъ, все развѣдывалъ; бѣлый да черный порохъ дѣлалъ... черный бы еще ничего, у солдагъ есть, а бѣлый, сказываютъ, тайно палить, а огня не даѣтъ.

Марі улыбнулась.

— Не смѣйтесь, барыня, — укоризненно сказалъ Корней, глянувъ на Дарью: — въ него и пушки не стрѣляютъ; это наведутъ на него, фитиль къ затравкѣ приложить, а бомба хоть вылетитъ, да къ ногамъ, какъ яичко, и прикатится!

— Полно, Корней, это все глупыя расказы, нарочно сбиваютъ народъ.

— Не нарочно... Не токмо мы, рабы, многіе господа и попы уже признали его, крестъ ему цѣлуютъ, а на ектеніяхъ, не царицу нашу, Катерину Ликсѣвну, а уже супружницу его, какую-то, прости, Господи, Устинью поминуютъ.

— Откуда ты все это знаешь?—удивилась Марі.

Корней опять глянулъ на Дарью; та сердито отвернулась.

— Какъ не знать? оно точно, мы тутъ сидимъ, какъ въ норѣ, — отвѣтилъ старикъ: — а спросите хоть Сергѣя; онъ былъ въ людяхъ и слышался. И сказываетъ всѣмъ тотъ Пугачъ: разорю и покорю — не токмо Яикъ и Каму, всю Волгу; пойду къ Москвѣ, какъ глава къ главѣ, и всѣ ко главѣ моей преклонятся и мнѣ присягнуть. Охъ, матушка, явится злодѣй, антихристъ, и въ нашихъ мѣстахъ... Какъ не бояться и не хоронить добра? Только ты-то, барыня, никому не сказывай.

— Не губи, милостивая,—обрагилась къ Марі и Дарья, кланяясь ей въ поясъ:—всяко бываетъ; хорони до случнаго часа, свои пожитки, добро.

XVII.

Задумалась Марья Родіоновна надъ тѣмъ, что увидѣла и услышала, и до времени рѣшила объ этомъ помолчать. А дня черезъ два увидѣла, что и другіе слуги, въ сумерки, тайкомъ уходили съ узлами въ роуцъ и на деревню, съ цѣлью, очевидно, припрятать болѣе цѣнныя вещи. Примѣтила она, наконецъ, что и Сысоевна, долго засидѣвшися за чаемъ, въ каморкѣ ключницы, прійдя отъ нея, стала какъ-то особенно внимательно копаться въ хламъ своего дорожнаго сундука. Она отбирала и откладывала изъ него въ особый свертокъ разныя вещи: два шерстяныхъ, праздничныхъ цвѣтныхъ платка, шелковое платье, свадебный подарокъ матери Глѣба, парадный кисейный чепецъ, съ оборками и бархатною лептою, мѣшочекъ ладану, которымъ она любила въ праздники курить, и складной походный образокъ.

— Что это, няня, ты дѣлаешь? — спросила Марі, входя въ дѣтскую.

Сысоевна тяжело вздохнула и, продолжая копаться, ничего не отвѣтила.

— Развѣ и ты собираешься что прятать?—спросила Марі.

Старуха обернулась.

— А ты, матушка, думаешь, — сердито отвѣтила она: — что такъ-то имъ, извергамъ, и оставлять на показъ всѣ наши похоронки, какъ сюда налетятъ?

— Да неужели, няня, ты думаешь, что злодѣи могутъ явиться и въ эти мѣста? Такая, во-первыхъ, даль, а они бѣжали еще за семьсотъ верстъ отъ Оренбурга, въ Башки-

рію, и во-вторыхъ, чтобы добраться сюда, имъ надо вновь пройти мимо крѣпостей, гдѣ уже ихъ разбили и куда посланы новыя войска.

— Эхъ, матушка, итенчикъ ты молодой,—отвѣтила старуха, прикрывъ сундукъ и присѣвъ на него: — тутощніе старики не то говорятъ; есть промежь ихъ вонъ какіе древніе, хоть бы Романъ Сухоня, или охотника Пармѣна дѣдъ, по сту лѣтъ и болѣе живутъ. Они царя перваго Петра видѣли и помнятъ, а отъ отцовъ - дѣдовъ слышали о Разинѣ. Тотъ, сказываютъ, леталъ по низу, какъ черный воронъ, пададю не брезгалъ; этотъ же летаетъ высоко, какъ орелъ. Тотъ грабилъ барки, да купцовъ, по-мужицки жилъ; этотъ норовитъ — на царство сѣсть. Ты пойми, матушка: съ чего ему, царю-то мужику, надо было начать? — спросила Сысоевна, понизивъ голосъ и оглядываясь: — разсуди сама... Онъ объявилъ черни, всѣмъ мужикамъ — не быть за помѣщиками, не быть за монастырями, дворцами и казной, а всѣмъ стать вольными. А черни того и надо. Стали убивать старость, приказчиковъ, а нынѣ, прости, Боже, и господь!..

— И, няня! бываютъ тяжкія времена, да милостивъ Богъ... Будемъ молиться; бунтъ, слышно, совсѣмъ затихъ. Воевода на-дняхъ самому Алексію Андренчу сказалъ, — нечего моль, болѣе, бояться, отъ злодѣевъ не осталось и слѣда.

— Дай-то, Господи, — раздумчиво крестясь и опять раскрывал сундукъ, сказала старуха: — а я, все-таки, подарки твои и твоей свекрови отъ тѣхъ убивцевъ схороню, гдѣ знаю... Да и тебѣ совѣтую, не ровень часъ, припрятать, что подороже, — алмазныя серьги, — зачѣмъ ихъ носишь, по всякъ день? колечки, зѣнчугъ, да хоть и Васенькинъ, отъ бабушки, золотой, съ бирюзами, крестикъ. Хоть и ѣхать намъ въ Свиблово, на дорогѣ могутъ отнять.

Марі задумалась отъ этихъ словъ.

— Гдѣ же тутъ спрятать? — спросила она.

— Отдай отцу Василю; онъ Богу служитъ, его не тронутъ, въ церковной оградѣ, полагать надо, и для душегуба святъ человекъ.

— Охъ, няня, такъ ли это? впрочемъ, подумаю, — отвѣтила Марі.

Вспомнивъ о Сергѣѣ, она выбрала минуту и рѣшила разспросить его подробнѣе. Но на всѣ ея вопросы, сбившіи

бороду и попрежнему служившій въ домѣ, Сергѣй отвѣчалъ одно: «Что намъ, сударыня, знать! мы люди темные, темныхъ и слушали... мало ли что толкуютъ!» Такъ Маріи и не добилась отъ него никакихъ разъясненій. Но какъ она ни была убѣждена въ томъ, что никакія опасности въ то время болѣе не грозили Поволжью вообще, а Горкамъ въ особенности, однако, передъ отъѣздомъ въ Свиблово, нѣкоторыя свои цѣнныя вещи оставила на храненіе отцу Василию.

Выѣздъ хозяевъ въ Красный-Кутъ, а гости въ Свиблово назначался и отмѣнялся нѣсколько разъ подъ-рядъ. Все уже оказывалось вынесеннымъ и уложеннымъ; слуги ждали и запряженные экипажи стояли у крыльца, но вдругъ являлась какая-нибудь нежданная преграда,—не удавались прожки на дорогу, во-время не просохло и не было, какъ слѣдуетъ, выглажено все бѣлье дамъ и дѣтей, или кто-либо изъ множества слугъ, на прощанье, оказывался до того пьянъ, что боялись обронить его на пути,—и опять лошади отпрягались, путники, уже одѣтые, снова входили въ комнаты, и отъѣздъ отлагался. Наконецъ, выбрали самый удобный день,—не понедѣльникъ, не среду и не пятницу, но вторникъ,—и рѣшили, уже безъ всякой отмѣны, пуститься въ дорогу въ этотъ день.

Путниковъ, по обычаю, собрались провожать многіе сосѣди. Весь дворъ въ Горкахъ, съ утра, наполнился экипажами. Ранѣе всѣхъ, разумѣется, явился Травкинъ, съ своимъ племянникомъ, Борей. Пріѣхалъ и Лантевъ, съ дочерьми и скрипкой. Отслужили напутственный молебенъ. Послѣ завтрака, когда экипажи стояли у крыльца и слуги сносили въ нихъ послѣдніе укладки, ящики, свертки и узлы, Маріи присѣла за клавикорды, а Серафима, подъ ея игру, спѣла арію изъ Антигоны: «Впередъ, проводникъ, впередъ!»—Сила Ѳомичъ схватилъ изъ передней привезенный имъ футляръ съ виолончелью, Лантевъ принесъ скрипку, Борисъ взялъ флейту и проводы завершились квинтетомъ Буккеріни.

Алексѣй приказалъ подать венгерскаго, налилъ бокалы и самъ ихъ разнесъ. Всѣ пили, желая отъѣзжающимъ счастливаго пути и скорого, благополучнаго возвращенія. Пили также за находившихся въ Ракитномъ, Красномъ-Кутѣ и Свибловѣ. Алексѣй вспомнилъ о Москвѣ и предложилъ выпить за здоровье Глѣба. Онъ взглянулъ на Марію: у нея слезы стояли въ глазахъ.

— А ну, Сила Оомичъ, веселенькую!—обратился онъ къ Травкину, указавъ ему на Мари.

Старикъ не заставилъ долго ждать себя. Онъ подошелъ къ крестнику, оправилъ на немъ коричневый шерстяной камзолчикъ, откинулъ ему кудри за уши, шепнулъ: «Ну, Боря, не осрамись... Варвѣрушка!»—и, шевеля плечами и подмигивая ему и своей вторѣ, Лаптеву, сталъ пиликать на виолончели нѣчто веселое и подхватывающее. Боря уставилъ руки фертомъ въ бока, вытянулся, сдѣлалъ нѣсколько тихихъ и плавныхъ движеній, живо метнулъ въ воздухъ одною ногою, потомъ другою, поднесъ флейту къ губамъ, проигралъ на ней отвѣтную трель и, взявшись снова подъ бока, ухарски взглянулъ на дядю. Согнувшійся надъ пузатою виолончелью, Травкинъ быстрѣе задвигалъ смычкомъ по струнамъ и, продолжая шевелить плечами, отвернулся въ сторону. Въ комнатѣ слышался звукъ пріятнаго, нѣжнаго, хотя нѣсколько дрожавшаго баритона. Мари, съ удивленіемъ, оглянулась, не зная, чей это голосъ. Пѣлъ старикъ Травкинъ..

«Сударушка, Варвѣрушка,
Не гнѣвайся на меня,
Что я не былъ у тебя...»

Боря, подъ это пѣніе, зачастилъ ногами, пронесся волчкомъ въ одинъ конецъ комнаты, потомъ въ другой и, въ самомъ разгарѣ музыки, вновь замирая на мѣстѣ, взглядывалъ на дядю и ждалъ. А дядя, еще ниже сгибаясь надъ виолончелью и подмигивая не только Борѣ и Лаптеву, но и всѣмъ остальнымъ, подхватывалъ:

«Сударь, баринъ, приходи,
Подарочки приноси —
Подарочекъ не простой,
Перстенечекъ золотой».

— Bravo, bravo!—раздались восторженные возгласы, когда Боря кончилъ.

Изъ коридора и прихожей выглядывали радостныя лица слугъ, шептавшихъ: «ай да молодець, барченокъ! вотъ такъ отхваталъ Варвѣрушку!»

— Да какой же у васъ и голосъ пріятный,—повоселѣвъ, обратилась Мари къ Травкину, скромно принимавшему общія похвалы себѣ и Борѣ: — ужъ вотъ подарили, и не ожидала!

— Э, да ты многого еще въ немъ не знаешь,—улыбался Алексѣй:—онъ и самъ лихо пляшетъ.

Всѣ окружили Травкина, прося и его на прощанье про- танцовать.

— Нѣтъ ужъ, други мои, нѣтъ, — отговаривался Сила Ѳомичъ, утирая платкомъ лысину и лицо: — не тебѣ, въ другой разъ, какъ всѣ вернетесь. А вамъ, скажу, пора и ѣхать. Вонъ солнце зашло за облако; еще сберутся тучи, не быть бы грозѣ.

— И въ самомъ дѣлѣ, какъ потемнѣло!—сказала Нинѣтъ, ѣхавшая въ Свиблово, съ Маріею, и сильно боявшаяся грозы: — лошади готовы, ѣдемъ.

Всѣ взглянули на окна. На дворѣ, дѣйствительно, какъ бы померкло.

— А что, не остаться ли намъ до завтра?—вдругъ ска- зала, посмотрѣвъ на мужа, Серафима.

— Нѣтъ, нѣтъ! — закричали всѣ: — все уже вынесено и уложено... Легкій день и при томъ сѣренькая, нежаркая погода.

— А ѣхать, дѣйствительно, такъ и ѣхать, — объявилъ, наконецъ, Алексѣй: — что, все готово? — обратился онъ къ слугамъ.

— Все-съ,—отвѣтили тѣ съ порога.

Хозяева и гости сѣли по стульямъ, помолчали и, вставъ и крестясь, начали прощаться. — «Не забыли ли чего?» — «Все взято и вынесено». — Путники вышли на крыльцо и стали снова прощаться.

— Да что же мы,—улыбнулась золовкѣ Серафима:—вѣдь до города намъ всѣмъ одинъ путь.

И дѣйствительно, до Саратова всѣ ѣхали вмѣстѣ. Далѣе ихъ пути расходились. Пока экипажи миновали деревню и выбрались въ поле, грозы не было. Изъ надвинувшихся тучъ унало только нѣсколько капель дождя. Но едва пут- ники, поднявшись въ гору, выѣхали на почтовый трактъ, шедшій по берегу Волги, подулъ свѣжій, порывистый вѣ- теръ, на дорогѣ поднялись и закружились столбы пыли, уда- рилъ громъ, и обильный дождь косымъ ливнемъ зачастилъ и загудѣлъ надъ полями.

— Благодать! счастье! дорогу смочить! — весело толко- вали путники, прячась подъ кузовами каретъ, колясокъ и бричекъ.

— Подвинь-ка ноги, тѣсно, — сказала Сергѣй горничной Аннушкѣ, сидя съ нею подъ синимъ холщевымъ зонтомъ, сзади кареты Маріи.

— Самъ, чортъ, лапница разставилъ, а тоже командуетъ, — сердито огрызнулась Аннушка, видя, что дождь мочить ея новое, розовое, тарлатановое платье.

— Но командую... другой надъ нами командиръ!

— Какой это еще другой?

— Не видишь, развѣ, ливня, грозы? Откуда все взялось? царя нашего, батюшку, не уважаютъ... Господь-то и гнѣвается. Въ малѣ Богъ и въ велицей Богъ... Живъ Богъ, жива душа моя... Мало ли еще чему быть!

— Ну, врѣ, толстомордый, пока не урѣзали языка... Да ты что это весь зонть заграбасталъ на себя? давай, — крикнула Аннушка, оттаскивая покрывку зонтика на себя: — мое платье не твоему сукніицу чета, опять же только-что пошиты башмаки.

— Воздастся вамъ за грѣхи, воздастся! — ворчалъ, подъ брызгами дождя, Сергѣй: — Богъ по ны, никто же на ны... о, Господи, всевидецъ, укротитель и судія!

Путники благополучно и въ свое время добрались какъ въ Красный-Куть, такъ и въ Свиболово. Они разстались въ Саратовѣ, гдѣ заѣзжали къ знакомому профессору, астроному Ловицу, у котораго отдохнули около часа. Это былъ добродушный, очень мало обрусѣлый нѣмецъ, совершившій путешествіе въ среднюю Азію и въ Гурьевѣ, пять лѣтъ назадъ, наблюдавшій прохожденіе Венеры черезъ солнце.

— Bitte, bitte... уфъ августъ, — сказала Ловиць: — у меня отличне телескопъ, увидите кольца Сатурнъ.

Въ Красномъ-Кутѣ Алексѣй и Серафима были встрѣчены со слезами радости. Крѣстная Серафимы не знала, какъ лучше ихъ угостить. Особенно она восхищалась ихъ дѣтьми. Прошло около двухъ недѣль. Алексѣй написалъ обо всемъ въ Свиболово, откуда въ Красный-Куть также пришло письмо.

— А наши вояжеры не обошлись безъ приключенія, — сказалъ Алексѣй, прочитавъ на балконѣ въ саду это письмо: — Маріи, представьте, сообщаетъ, что ихъ слуга, этотъ - то Сергѣй, едва прибывши въ Свиболово, исчезъ безъ слѣда.

— Куда же онъ пропалъ?—спросила Варвара Ивановна Туровцова, удивленно оглядывая всёхъ въ лорнетъ.

— Марі только и пишетъ, что едва онъ пріѣхалъ, внесъ и распаковалъ вещи, отпросился, будто бы, къ роднымъ, на деревню, и исчезъ!

— Какая, однако, причина? его притѣснили? обижали, или онъ шель?—спросила Туровцова.

— Воли, видно, захотѣли, понюхалъ воздуха тамошнихъ степей.

— Да, не даромъ онъ у васъ, какъ я была въ Москвѣ, все священныя книжки читалъ, — замѣтила Варвара Ивановна: — охъ, не люблю я этихъ слугъ-грамотѣевъ; глядитъ въ книжку, едва разбираетъ по складамъ, а у самого мысли далеко, и все дурныя.

— Полноте, шамал, — возразила Серафима: — вѣдь сама Марі учила его грамотѣ; онъ читалъ все святаыя книжки, Богу все хотѣлъ послужить... Будь-ка образованъ нашъ народъ, — ну, хотя бы, какъ наши сосѣди, саратовскіе колонисты... Отъ чего же и всё грубыя страсти и преступленія народа?..

— Отъ ѳѣдности и нравственной тьмы! — отозвалась Нинѣтъ.

— Ну, старая пѣсня, Нина Александровна, — съ неудовольствіемъ возразилъ Алексѣй: — вамъ, извините, только бы изучать философовъ, да вольнодумствовать о мнимыхъ ѳѣдствіяхъ чернаго народа. А чѣмъ онъ у насъ здѣсь, или въ Свѣбловѣ, стѣсненъ или отягченъ? все у васъ, извините, фантазія! — заключилъ Алексѣй, барабаня пальцемъ по столу и думая, между тѣмъ: «а все ли, однако, у насъ въ деревняхъ такъ благополучно и хорошо?»

Оглавление.

XV ТОМА.

	стр.
Черный годъ. (Пугачовщина). Романъ.	
Часть первая. Разоренный улей.	3
Часть вторая. На Волгѣ.	145



INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PANI
BIBLIOTEKA
30-050 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-43

F

24.137
f. 13-15

file:///c:/...